

Мелуары
Вертинский

В **КРАЯХ**
ЧУЖИХ

1 9 6 2

**В К Р А Я Х
Ч У Ж И Х**

**ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
С Б О Р Н И К**

**К О М И Т Е Т
за возвращение
на Родину и развитие
культурных связей
с соотечественниками**
1 9 6 2

О Т Р Е Д А К Ц И И

С каждым годом расширяются и крепнут культурные связи Комитета с нашими соотечественниками из многих стран мира. В последнее время мы получили много писем от писателей, поэтов и художников. Предлагаемый вниманию читателя сборник «В краях чужих» был подготовлен по их инициативе и с их участием.

Среди авторов сборника — люди разных поколений, различного жизненного и творческого опыта. Наряду с такими известными в эмиграции писателями и художниками, как М. Вега и Е. Яконовский (Франция), В. Арнаут и С. Щербаков (США), М. Возлинская и О. Синявер (Бельгия), В. Шлямин (Англия) и А. Чайковский (Канада), в нашу редакцию прислали свои произведения начинающие прозаики и поэты — А. Воскресенский (Канада), Л. Головатенко (Бельгия), С. Востокова (Марокко), Е. Ситникова (Югославия). Из Советского Союза мы получили стихи от бывших эмигрантов — поэта и художника Ю. Б. Софиева и профессора Московского государственного университета И. Н. Голенищева-Кутузова. Единственным материалом, который был позаимствован нами из журнала, издающегося в СССР, являются воспоминания Александра Бертинского.

Говорить о содержании книги нет смысла, читатель сам познакомится с нею и сделает свои выводы. Мы укажем лишь на одну особенность: почти все произведения, вошедшие в сборник, проникнуты горьким ощущением чужбины и светлой мечтой о Родине, о мире. В этом мы видим большое воспитательное значение книги, особенно для эмигрантской молодежи. Вместе с тем это дает нам уверенность, что сборник такого рода не будет последним.

РОССИИ

Возьми мой талант и мои неуставшие руки,
И опыт, и память, и гнева отточенный меч,
И верное сердце, что выросло в долгой разлуке,
И строгую лиру, и мягкую женскую речь.

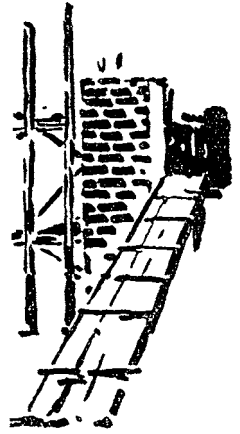
И посох возьми, что стучал о холодные плиты
Чужих городов, и годами накопленный клад,
И краски моей, нищетой расцветченной палитры,
И парус скитальца, лохматый, в узоре заплат.

Сложи их на площади, в снежном твоём Ленинграде,
Костер запали, пусть огонь высоко заблестит,
И легкими стаями к небу взвываются тетради,
Как желтые листья, когда леденеет гранит.

Ведь только из страшных горений рождается слово,
И если ты спросишь, стихом моим греясь живым:
«Готова ли дважды сгореть?» — я отвечу: «Готова!»
И русская муза протянет мне руки сквозь дым.



М. ВОЗЛИНСКАЯ (Бельгия). Молодая мать.



Х Л Е Б
И З Г Н А Н И Я

Р А С С К А З

С ВЫСОТЫ седьмого этажа хорошо были видны голубоватый Дунай и желтая Сава. За темной линией леса на противоположном, левом, берегу Дуная зеленела бесконечная равнина, сливавшаяся с бледно-голубым небом на далеком, подернутом дымкой тумана горизонте.

Совсем близко, внизу, темнели деревья Каломегданского парка.

От вида воды и темно-зеленых вершущек платанов предполуденный зной и кирпичная пыль, наполнявшая рот, нос и уши, казались еще нестерпимее. Засохшие губы потрескались, душил кашель.

Любоваться Дунаем и парком не было времени. Огромный, звероподобный десятник наблюдал за бесконечной цепочкой людей, подносящих кирпичи. На отстающих или задерживающихся он строго покрикивал.

Белград, до войны захолустный балканский городок, наминавший турецкую деревню, после войны превращался в столицу большого государства. Он лихорадочно строился. Город заполнили шумадийские крестьяне-сезонщики. Они спали на базарных площадях, в подворотнях домов, в городских парках. Питались деревенским козьим сыром и за гроши нанимались на любую работу. Вот почему на стройках больших домов, с ваннами, лифтами, почти не было видно подъемных кранов и механических агрегатов для бетона, а по шатким и крутым сходням бесконечной молчаливой цепочкой поднимались с грузом кирпича на спине шумадийские селяки-сезонщики и, босые, месили внизу деревянными лопатами бетонную массу.

Там, где месили бетон, больше платили, да и тень защищала от палящего солнца. Кроме того, рядом была вода, и можно было подставить под кран руки, освежить лицо, напиться свежей воды.

Выйти из цепочки, подойти к крану, подставить под струю голову и руки он боялся, как боялись это делать шумадийские селяки, его товарищи по работе. Он только с завистью смотрел на кран, когда проходил мимо.

Работал здесь он уже неделю, но до сих пор не мог привыкнуть ни к жажде, ни к смертельной усталости, которая увеличивалась с каждым днем, хотя опытные люди уверяли, что с третьего дня ему обязательно станет легче, ни к чувству голода, не проходившему, несмотря на ужины, которые он получал в кредит в русском общежитии на улице короля Александра в счет будущей полочки.

Правда, днем он не ел ничего, а только, забравшись куда-нибудь в тень, подальше от людей, чтобы не видеть, как они ели козий сыр с краюхами душистого серого хлеба, курил папиросы, свернутые из подобранных окурков. Зато в перерыв он вволю, почти до тошноты, напивался пахнувшей ржавчиной воды и, сняв пропитанную потом и кирпичной пылью рубашку, подставлял под холодную струю голову, руки, спину.

Шумадийские крестьяне смотрели на него с ленивым удивлением и молчаливым порицанием. Сами они работали, не снимая расшитых гарусом цветных жилетов из грубого домашнего сукна. Но у русов, по-видимому, были другие нравы, и, в конце концов, это касалось только их самих. Вот и местные белградские рабочие тоже жили по-другому.

Когда кончалась работа, он снова мылся, терпеливо

ожидая своей очереди, полоскал свою единственную рубашку с двумя дырками на левом плече, оставшимися от сквозного пулевого ранения под Перекопом. До сих пор он не только не смог приобрести новую рубашку, но не имел возможности даже заштопать дырки.

На старом английском френче дырки затянула суровой ниткой сестра из севастопольского госпиталя. Она же оттерла бурые кровавые пятна.

С тех пор как он начал работать, он снял с френча погоны корниловского поручика и отпорол голубой щит с белым черепом. С фуражки, тоже английской, снял кокарду.

На субботу у него была приготовлена целая программа. Нужно было купить носки и носовые платки, непременно сходить в турецкую баню, о которой рассказывали чудеса. До бани побывать у парикмахера, как-то почистить и разгладить английские рейтузы, навести глянец на солдатские ботинки. И тогда, впервые после лагеря в Дубровниках, он почувствует себя человеком.

Все произошло из-за перекопского ранения. Не будь его, он не попал бы в госпиталь, не эвакуировался бы в Константинополь, а добрался с полком прямо до Галиполи. Конечно, он тоже был виноват. После госпиталя нужно было явиться к военному агенту, и тот бы отправил его в полк. Вместо этого он послушался какой-то медицинской комиссии.

— Отправляйтесь-ка, голубчик, в Югославию, на Адриатическое море. — Доктор похлопал его по плечу и сказал секретарю: — Путевку поручику.

Тут-то и следовало проявить свой характер. Во-первых, какой он «голубчик» для доктора? А во-вторых, нужно было потребовать направление к военному агенту. Всю жизнь он подчинялся чьей-то воле, он, Вася Кострицын, произведенный четыре года назад, чуть ли не с гимназической скамьи, в прапорщики.

До восемнадцати лет была мама. Мама все знала, все делала, обо всем заботилась. После мамы был ротный командир школы прапорщиков, потом ротный командир в окопах времен Керенского. Каждый от него требовал чего-то. Мама — хороших отметок, строевые офицеры в школе прапорщиков — хорошей выправки, ротный командир на фронте — хорошей службы. А так как он был мальчиком серьезным и старательным, то в гимназии он получал хорошие отметки, школу прапорщиков окончил портупей-

юнкером, а на фронте очень скоро стал старшим офицером роты, а потом и батальонным адъютантом. Теперь он слушался доктора и ехал в какую-то Югославию отдыхать от ранения, которое его уже несколько не беспокоило.

В Дубровнике было изумрудное море, тишина, своя кровать; он знал, что утром ему дадут кружку чая с хлебом, в двенадцать позовут обедать, в семь — ужинать, что каждую пятницу он сможет вымыться в бане. Он пополнил, окреп, избавился от насекомых. По ночам его изводили сытые двадцатилетние сны. Молодые дамы с ним кокетничали, называли букой, а он краснел.

Обитатели лагеря, важные люди — врачи, инженеры, журналисты — относились к нему снисходительно. Они говорили о возможностях получить визу в другую страну, пренебрежительно отзывались о корпусе российских офицеров, по их мнению захлестнутому во время войны посторонними элементами, к которым они, вероятно, причисляли и самого Васю Кострицына.

Нужно было возвращаться в армию, в Галиполи. Там было все просто и ясно. Новый командир роты, горнист, играющий по утрам зорю, офицерское собрание после строевых занятий, приказы по полку и когда-нибудь, теперь уже, может быть, совсем скоро, десант на кавказском побережье.

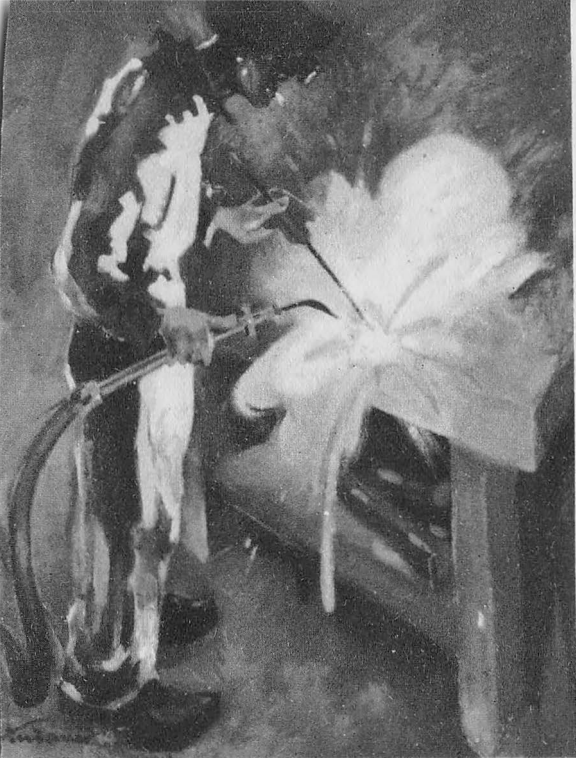
Но адъютант военного агента в Белграде, уже облачившийся в штатский костюм, вежливо смеялся:

— Отправить вас в Галиполи? Когда все оттуда удирают при первой возможности?

Нет, никто не посчитает поручика Кострицына дезертиром! Его даже возьмут на учет у военного агента. А большевики падут сами, без всяких десантов, и очень скоро.

Да, очень легкомысленно он оставил русскую колонию в Дубровнике. Офицер в штатском костюме объяснил, что провинциальные русские колонии получают государственное пособие вперед и что теперь поручику придется как-то перебиться месяца три, пока все не уладится, так как ему не только нужно было нагнать аванс, но и выполнить кучу формальностей. Положительно, поступок поручика был легкомысленным и чреватым для него самыми неприятными последствиями!

Адъютант военного агента перестал уже вежливо смеяться, и лицо его приняло озабоченно-сочувственное выражение. Единственное, в чем он мог помочь корниловскому поручику, это во временном прибежище.



**О. СИНЯВЕР (Бельгия).
Ацетиленовая свар-
ка.**



**О. СИНЯВЕР (Бельгия).
Заводской натюр-
морт.**

— Вот вам записка к барону Т., заведующему общежитием на улице короля Александра. Да... Еще можно пойти в американский Красный Крест. Там дадут немного белья, между прочим, у них чудесные парусиновые пижамы, которые здесь переделывают на летние костюмы. — При этом он раскрыл бумажник и вынул кредитку в пятьдесят динаров. — Желаю удачи.

Любезная улыбка офицера и протянутая бумажка означали, что аудиенция окончилась.

Русское общежитие помещалось в старом трамвайном депо на пыльной и сонной улице. В бывшей конторе вплотную друг к другу стояли дощатые кровати. Люди спали не только в узких проходах, но даже под кроватями.

Гвардейский ротмистр, такой же приветливый и вежливый, как адъютант военного агента, только разводил руками:

— Сами видите, поручик! Люди спят на дворе или вот там. — Барон кивнул головой в сторону полуразрушенного депо со старыми трамваями. — Три дня покормим вас, а потом придется платить двадцать динаров за обед или ужин... — Ротмистр перешел на строгий и поучительный тон: — Не понимаю, почему люди едут в Белград? Ведь командование вас предупреждало, что делать здесь нечего и что каждому воинскому чину надлежит оставаться при своей части до распоряжения. Всякое отсутствие понятия о дисциплине! За талонами на обед зайдете попозже в канцелярию.

От такого разноса было очень стыдно. Как это он не сообразил сказать, что попал в Сербию раненым? Стоял, как гимназист перед классным наставником, чувствуя, что от стыда краснеют уши. Хорошо хоть не он один оказался в положении полудезертира, которого вот-вот могут предать военному трибуналу. В трамвайном депо на улице короля Александра донашивали обветшалые формы врангелевской армии сотни таких же, как сам Вася Кострицын, молодых людей в офицерских погонах. Лето помогало разместиться многим. Первую ночь он спал на дворе, прямо на голой и твердой городской земле. Потом знакомый подпоручик устроил его в трамвае.

— Все-таки под крышей будете! А вот что нас ждет зимой? Те, что в общежитии, клопов и блох терпят, лишь бы закрепить за собой место на зиму.

В разговор вмешался элегантный дроздовский капитан:

— К зиме части корпуса придут сюда. Я точно знаю. А весной двинемся обратно через Чехословакию.

Вася недоумевал. У Чехословакии не было общей границы с Россией. Может быть, капитан не знал этого, а может быть, просто думал, что войска потом пройдут через Польшу?

Он постарался представить себе, как все это произойдет. Раннее утро в белорусской деревне, еще по-весеннему холодное... Знобит, нужно делать усилия для того, чтобы не дрожали губы, то ли от утреннего холода, то ли от волнения. Запрещено курить и разговаривать, приняты все меры, чтобы двигаться бесшумно... Вот тогда он будет знать, что ему делать, а статский советник из Дубровника, председатель русской колонии, называвший его молодым человеком и отговаривавший от поездки в Белград, будет с нетерпением ждать сводок главного командования и при встрече с Васей оставит свой покровительственный тон. Интересно, какая будет форма? Наверное, французы дадут серо-голубое сукно. Корниловские погоны на серо-голубом — даже красиво.

Дроздовского капитана и знакомого подпоручика он пригласил в кафану, и они выпили на все пятьдесят динаров, полученных у военного агента. Капитан важничал, намекая на свое знатное происхождение. Он явно путал коньяк «фин-шампань» с шампанским и придумывал несуществующие княжеские фамилии, с юными и прекрасными носительницами которых он заводил интриги, достойные романов Дюма, что, впрочем, не мешало ему всегда оставаться джентльменом и щадить девичью честь.

Вместе с ними в трамвае жил гусарский ротмистр.

— Тронутый какой-то, а может, кривляка, — объяснял капитан. — Молчит иногда днями, а потом как прорвется, как прорвется! Выпить тоже не дурак!

При гусарском ротмистре дроздовский капитан не рассказывал о своих великосветских похождениях и говорил почему-то сдавленным шепотом. Ротмистр даже не ответил на поклон Васи и только сделал недовольную гримасу, когда капитан сказал ему игриво-почтительным тоном, что, мол, вот они подобрали бездомного поручика, так сказать, подкидыша, вроде малютки из известной песенки.

— Располагайся, малютка! — обратился он к Васе на «ты» и похлопал его по плечу.

На следующий день обед свой Вася поделил между собой, капитаном и знакомым подпоручиком.

— Надо учиться промышлять, — рассуждал капитан, — вот получишь у американцев бельишко, загонишь на толкучке, глянь — сыт и пьян и нос в табаке пару дней. Ха-ха! Только бы до зимы продержаться. А у ротмистра жена с дочкой на «Живом» погибли в прошлом году. Только он того, немного погибает. Все спрашивает: «Может быть «Живой» мертвым?» Игра слов, литературщина! Каждый по-своему дурака валяет. Один бороду отпускает в двадцать лет, другой вид себе этакий задумчивый придает, а наш в сумасшедших ходит. Но ротмистр — ничего не поделаешь! Семья чуть ли не от Рюрика! А воспитание! Ты посмотри, как он папиросу двумя пальцами держит!

Собственно, причиной всему был дроздовский капитан. Это он уговорил Васю пойти в американский Красный Крест за бельем и продуктами.

— Какой мы шоколад вертим из какао и сгущенного молока! Пальчики оближешь! И потом это твое право, — он окончательно перешел на «ты», — не какая-то там подачка. Из парусиновой пижамы сделаешь китель. Здесь чех этим занимается. Тоже наш, из саперов...

Американское белье продали на толкучке, оставив только парусиновую пижаму. Не носить же теплые кальсоны и толстые шерстяные носки летом! К зиме всех должны были одеть с ног до головы, и дроздовский капитан предполагал, как и сам Вася, что офицеров оденут во французское, и на этот раз — не то, что было при Деникине, — в настоящее офицерское обмундирование.

Зашли к чеху, который устроился в деревянной будке недалеко от общежития. В армии чех был фельдфебелем, и Васе было странно, что фельдфебель так свободно и даже фамильярно разговаривал с офицерами. Чех советовал сшить штатскую одежду.

— Ну зачем вам носить погоны в Белграде? — Чина он не прибавлял, а просто говорил на «вы», даже без какого-нибудь штатского обращения вроде «господин», «сударь» или «барин». — А в штатской куртке всюду можно, да и сербы внимания не будут обращать.

Чех говорил, как говорят хорошо знающие русский язык иностранцы-славяне, с неправильными ударениями. Васе неприятно было слышать от иностранца, что на русские погоны смотрят с досадливым равнодушием и что не стоит ими привлекать к себе внимание.

Сердиться на чеха и спорить с ним было, по меньшей мере, нечестно. Вот ведь ходили же в штатском и адью-

тант военного агента, и заведующий общежитием гвардейский ротмистр. Сговорились о том, что чех сделает закрытую до шеи куртку с накладными карманами и пришьет большие пуговицы штатского образца.

На деньги, вырученные за проданное белье, пошли в русский ресторан. Знакомого подпоручика не пригласили. Сначала его не оказалось в трамвайном депо, а потом, когда решили пойти именно в этот ресторан, со столиками в саду, отговорил капитан. Вдвоем интимнее. Капитан подмигнул:

— Да и интрижку завести легко. Один познакомился, представил другого, а у них, у женщин, всегда в запасе есть подружки. Пошепчут друг дружке в ушко, и сразу хи-хи-хи, ха-ха-ха! Позвольте представить вам мою подругу. Дальше уже каждый работает за себя, но товарища поддерживает. Ах, малютка, — капитан хлопнул Васю по плечу, — поучись у опытного человека! А то, наверное, еще только мечтаешь?

Вася краснел. Опыта, действительно, ему не хватало, хотя офицером он был вот уже четвертый год. Так уж вышло. Сначала мама, потом батальонный командир школы прапорщиков, фронт. Он даже в настоящем ресторане никогда не был. «Капля молока», офицерская столовка где-нибудь в Ростове или Севастополе, в просторечье — обжорка, никак не подходили под это название, и летний русский ресторан в Белграде, в который уговаривал его пойти дроздовский капитан, представлял для него еще неизведанную прелесть. Его волновало даже название: пожарские котлеты! Не простые, а пожарские! Из-за необычного названия он не замечал, что котлеты были самые обыкновенные и не очень вкусные.

У брюнетки кельнерши были нежные усики на верхней губе, и ему казалось, что она как-то удивительно ласково улыбается. И улыбается именно ему, Васе, а не его опытному в житейских делах спутнику.

Капитан целовал кельнерше руку и говорил банальные, немного пошлые комплименты, а когда она ушла с заказом, поздравил Васю с удачей и дал практические советы.

— Я же тебе говорил! Смотри, какая прелесть! Нужно обязательно пригласить ее к столику и предложить выпить. Пьяная женщина — наполовину твоя! Обо мне не беспокойся! — Капитан состроил разочарованно-презрительную гримасу.

Они быстро захмелели. Захмелели от постоянного недо-

едания, от непривычки к спиртным напиткам, от песенок Вертинского, которые исполнял полный блондин в русской морской тужурке, от теплого летнего вечера, опустившегося на раскаленные камни города, от кусочка почти настоящей жизни, которая вдруг раскрывалась в замороженной водке, пожарских котлетах и молодой женщине с усиками на верхней губе.

Было очень поздно, когда они вышли из ресторана, счастливые и пьяные. Шаги их гулко отдавались по тротуарам пустых, безмолвных улиц. Они пели — капитан приятным басом, Вася тенором:

**Частица черта в нас
Заложена подчас,
И сила женских чар
Будит в душе пожар...**

Работу на стройке нашел ему чех. Он же дал ему денег взаймы. Было очень стыдно брать их. До сих пор Васе приходилось занимать только папироску или несколько кусочков сахара. Подняв глаза к небу, чех мысленно высчитывал, сколько понадобится Васе денег до первой полочки, и загибал пальцы на левой руке.

Работа оказалась тяжелой. Питаться одними сливами было нельзя. «Придется брать с собой кусочек сала, этак с четверть фунта, и козьего сыра — он самый дешевый, — размышлял Вася, — ну и, конечно, порядочную краюху хлеба. И сливы тоже — они дешевые. Это на обеденный перерыв. Вечером можно будет заказывать мясной борщ в столовой общежития, а по утрам придется самому себе готовить чай на спиртовке».

Необходимо было строго придерживаться экономии и правильного режима. Тогда с первой полочки останется достаточно денег на следующую неделю работы, а потом он сможет даже купить подержанный штатский костюм.

Чех явно симпатизировал Васе и явно недолюбливал дроздовского капитана, а особенно — сумасшедшего ротмистра.

— Несерьезный человек, — говорил он о капитане, — шуточками хочет жить, а деньги шуток не любят. Вот ему я работы не предложил бы. Да он утром и не поднялся бы. Пропаций человек!

Ротмистра он не любил по другой причине.

— Кончилось дворянство его, господин Кострицын! И нечего на людей смотреть и их не видеть! Руки подать не хочет, как будто крепостной я его! Не поблагодарит даже!

Чех злился, краснел от волнения и заикался, передразнивая высокомерного ротмистра, его манеру говорить, цедя сквозь зубы и картавя.

Все это было ужасно сложно и мало понятно поручику корниловской дивизии.

— Вы серьезный молодой человек, господин Кострицын, — говорил чех, — и я вам дам деньги вперед. А когда вам понадобится костюм, я найду вам хорошую пару в распродажу.

Он подвел итог и отсчитал засаленные и мятые кредитные билеты.

— Вот!

Денег было так много, что Васе боязно было к ним прикасаться, и чеху пришлось почти насильно вложить их ему в руку. Потом он долго и подробно объяснял, когда и куда ему следовало пойти, кого спросить и как представиться, сказав, что он пришел от пана Штефанека. Слово «пан» чех произнес с гордостью.

— Работы не бойтесь. Каждый человек должен работать! — И прибавил серьезно: — Все это глупство, — так и сказал по-чешски: «глупство», — что этот господин вам рассказывает! Никуда вы не поедете, работать придется! У нас, в Праге, все работают, и все деньги имеют.

Под «господином» чех подразумевал несерьезного дроздовского капитана, перед которым год назад стоял навзрыд, и Васе стало обидно. Вот взять и распечь его! Как вы смеете говорить таким тоном об офицере? Станьте смиренно, я тоже офицер! И мне совершенно безразлично, что у вас, в Праге, все имеют деньги! Швырнуть ему его динары на пол! Нет, не швырнуть, а просто отдать и никогда больше сюда не приходить.

Но у чеха оставалась его парусиновая пижама, за переделку которой нужно было платить. Тогда пришлось бы не только отдать сейчас же эти деньги, но и не выйти в понедельник на работу! Не пойти на работу — означало отказаться от ресторана в субботу, от пожарских котлет и от улыбки кельнерши с усиками на верхней губе. Последнее было самым важным, так как Вася влюбился, хотя и не отдавал себе в этом отчета.

Дерзости чеха он стерпел совсем не из-за своей незлобности или мирного склада характера, а именно потому, что, поступи он иначе, ему пришлось бы отказаться от ресторана и таким образом от улыбки.

А теперь вдруг новая мысль родилась у него в голове, и от этой мысли его залило горячей радостной волной. Ведь он мог пойти туда сегодня же на деньги, одолженные ему чехом. Это было его право. Просто он будет хуже питаться на неделю, не покупать, например, сала и сыра, довольствоваться только сливами и хлебом!

А позже, когда он шел к центру города по размякшему от жары асфальту, он подумал, что хорошо было бы пойти туда одному, без капитана. Без капитана будет, конечно, очень неловко. Ну как он войдет в ресторан один и сядет за столик? Он попробовал представить себе эту картину. Все люди, сидящие за столиками, мужчины и женщины, насмешливо смотрят на корниловского поручика в потрепанном кителе, не знающего от смущения, куда деть руки, и от этого глупо краснеющего. Насмешливо смотрит и хозяин, толстый человек с золотой цепочкой на животе, с выпуклыми рачьими глазами и с усами щеточкой. Смеются кельнерши.

Самое страшное и трудное — выбрать столик и дойти до него, не очень краснея. Нужно идти с папиросой в рот и сделать гримасу, как будто его раздражает дым. Но тогда куда деть руки? А может быть, нести развернутую газету и делать вид, что читаешь ее? Эта идея ему понравилась. Лишь бы не ошибиться столиком и не сесть там, где она не обслуживает! Для этого придется очень внимательно присмотреться к расположению мест еще с улицы.

С капитаном было бы гораздо легче, но зато черненькая кельнерша говорила бы только с ним, улыбалась бы на его шутки, смешно поднимая верхнюю губу, ту самую, на которой росли усики и которая так нравилась Васе. И капитан, как в прошлый раз, говорил бы двусмысленности, рассказывал не совсем приличные анекдоты, от которых сам же раскатисто смеялся. Одно неприятно было — выходило это как-то не совсем по-товарищески.

Он долго ходил по пустынным улицам, останавливаясь у витрин магазинов мужского платья. Как хорошо было бы войти и купить вот эту белую в широкую черную полоску рубашку, эти голубые носки! Носки, наверное, стоили совсем недорого, да когда-нибудь и нужно же было начинать обзаводиться штатским платьем.

В магазин Вася вошел совершенно неожиданно для себя и, краснея и путаясь в очень схожих с русскими и одно-

временно таких странных сербских словах, спросил у продавщицы, сколько стоят голубые носки.

Черноволосая, похожая на армянку продавщица презрительно, как ему показалось, посмотрела на него и лениво назвала цифру. Цифра была неожиданно высокая и сразу спутала все его расчеты. Но не купить голубых носков он уже не мог.

Эта неприветливая длинноногая женщина злорадно смеялась бы вечером, рассказывая, как в магазин вошел нищий рус и спросил ее о стоимости шелковых носков, которые покупают сыновья министров и депутаты Скупщины! И зачем ему голубые носки, когда он носит старые солдатские ботинки с обмотками? А в ботинках, наверное, не носки, а какие-нибудь старые тряпки!

— Заверните мне одну пару, — сказал он строго, чуть сдавленным от волнения голосом.

— Какой ваш размер? — спросила женщина по-сербски, но он не понял. Тогда она повторила вопрос, заменив слово «размер» «величиной». На этот раз Вася понял и смутился, так как не знал размера своей ноги, и этой, ставшей вдруг любезной, барышне, естественно, должно было показаться, что он никогда себе ничего не покупал в магазине.

Продавщица спасла офицера, взяв его руку и сложив пальцы в кулак. Он глупо и растерянно улыбался, не понимая, что делала с его рукой длинноногая барышня, но не решался отнять у нее руку из-за своего постоянного и немного боязливого преклонения перед женщинами, а отчасти из любопытства. Зачем ей понадобилась его рука, да еще сжатая в кулак? Барышня смеялась, что-то быстро рассказывала по-сербски и не казалась больше враждебной и насмешливой. Она по очереди развертывала аккуратно сложенные носки и прикладывала их к сжатому кулаку.

— Вот, — сказала она наконец, — это ваш размер, господин! Вы уже очень хорошо понимаете по-сербски.

Ему стало стыдно за то, что он так скверно подумал о барышне. Она была очень любезна и предупредительна, а ему почему-то обязательно хотелось, чтобы она его презирала и насмеялась вечером среди своих знакомых над нищим русом! Нельзя быть таким впечатлительным и безвольным. Может, нужно поцеловать ей руку? Но он вспомнил, что целовать руку барышням не полагалось.

Носки он хотел именно эти, самые дорогие. Пусть себе думают, что вот он, на вид нищий рус, имеет деньги и хочет одеться в штатское. Может, он уже заказал костюм у хорошего портного и ходит в поношенном военном кителе только потому, что костюм еще не готов?

Нравится ли ему Белград? Ну как скажешь, что не нравится или что, например, Харьков гораздо лучше и веселее?

— А сербские женщины? — спросила продавщица и лукаво улыбнулась при этом.

Не говорить же ей, что он не любит брюнеток? Подумав о брюнетках, он ужаснулся сам себе. А брюнетка из русского ресторана с пушком на верхней губе и ласковыми, грустными глазами? Да-да! Конечно, брюнетки ему нравились. Нет, он не был женат, — он показал все десять пальцев, с ужасом заметив, что только недавно почищенные спичкой ногти снова стали грязными. Смутился, быстро спрятал руки в карман и сделал вид, что торопится. Расплатился мятыми, небрежно склеенными билетами чеха и около самой двери церемонно отдал честь, чуть наклонив голову и приложив руку к матерчатому козырьку пропотевшей английской фуражки.

Длинноногая продавщица посмотрела на него грустно, удивленно и сказала:

— С богом, господине!

Начинало смеркаться, синее небо бледнело, чуть розовея высокими перистыми облаками. На главных улицах зажигались витрины магазинов и богатых кафан, появлялись фланирующие прохожие, громче и нетерпеливей звонили кондуктора трамваев, из большой гостиницы на площади Терезии волнами доносилась симфоническая музыка. Играли что-то очень красивое, то печальное, то бравурно-радостное. Кто это? Бетховен, Вебер? Было досадно, что он не мог точно определить, кого именно играли. Было досадно и страшно за жизнь, которая проходила. Четыре года над головой жужжали пули, шелестели снаряды, визжали осколки, каждый из которых таил в себе смерть! И это вместо Бетховена и Вебера!

Когда он входил в сад, полный моряк в тужурке без погон пел новый романс. Может быть, поэтому на Васю не обратили внимания. Он сел за самый дальний столик, предварительно даже не убедившись, что ему будет прислуживать именно она. И с радостью, вдруг охватившей его, он

увидел, как она, заметив нового клиента и еще, по-видимому, не узнавая его, направилась к нему.

Она приближалась с любезной и в то же время усталой улыбкой, и в ласковых глазах ее росло удивление. Почему так радостно, совсем как если бы они были старыми друзьями, улыбался ей молоденький поручик? Что-то знакомое было в этом лице. Клиент? Но их столько прошло за последнее время! Да к тому же клиенты так не улыбаются.

— Простите, — сказала она растерянно, — никак не узнаю, — и окончательно сконфузилась. В странном смешанном свете потухающего дня и подвешенных на проволоке желтых электрических лампочек ее покрасневшие щеки казались синими, как на футуристических портретах.

— В прошлую субботу ... — Вася растерялся.

Боже, какой он все-таки... не то что глупый, а так себе, простачок! Видел ее один вечер, напился, пел песни, словом, вел себя не совсем прилично и решил, что они уже старые знакомые! Сколько таких Вась и капитанов проходило за неделю? Кроме того, в субботу капитан говорил за двоих, любезничал и целовал ей ручку, а он сидел, как мешок, и не спускал с нее глаз.

— В прошлую субботу мы были здесь с одним капитаном, помните?... Он в английском офицерском френче и в желтых сапогах. Вы к нам даже подсели на минутку...

— Ах, вспоминаю. — Она тихо и облегченно засмеялась. Какой он милый и смешной, этот молоденький офицер. Смотрел на нее украдкой весь вечер и не проронил ни слова. — Что же вы теперь один?

Вопрос застал его врасплох. Почему он один? Сбиваясь, краснея, мучительно страдая оттого, что ему нужно было лгать, и чувствуя, что лжет не очень удачно, он объяснил, что друг его, капитан, сегодня не в Белграде и что он вообще не видел его несколько дней, а зашел сюда совершенно случайно... надо же было где-то поужинать.

Он старался говорить непринужденным тоном, будто ужин в ресторане был для него обыденным и даже скучным делом. Брюнетка слушала его рассеянно, думая о своем.

Наконец она прервала его совсем прозаическим вопросом:

— Вам, наверное, водку и закуску?

Вася обрадовался возможности изменить тему разговора.

— Да-да, пожалуйста! Маленький графинчик и пожарские котлеты.

И тут она вдруг наклонилась к нему. Это было так неожиданно — ее духи, волосы, голубоватая от неестественного освещения кожа, летнее декольте, — что у него на мгновение потемнело в глазах, и он невольно отпрянул.

— Что с вами? Какой вы смешной! — Брюнетка с ласковыми глазами смотрела на него с любопытством.

— Не бойтесь, я не такая. Я только хотела сказать вам на ухо, что котлеты у нас всегда из вчерашних объедков и часто просто несвежие... Видите, выдаю вам кухонные секреты! Возьмите лучше шницель по-венски, в сухарях и с кусочками лимона. Ну, мне надо работать... Один шницель! — крикнула она в сторону открытого окна и пошла к буфету.

От водки, от смущения, от стыда и, наверное, оттого, что он был влюблен, Вася быстро захмелел. С хмелем прошло смущение, развязность заменила стыд.

Он ел, пил, слушал песни Вертинского, цыганские романсы и с замиранием сердца ждал, когда она подойдет к его столику. Затем он начал подряд заказывать новые блюда, мясные после сыра, холодные между двумя горячими. Заказывал не только потому, что каждый раз подходила она, но и оттого, что вдруг почувствовал сразу голод, все недоедания последних лет. И чем больше он пил, тем больше хотелось есть. Каждое новое блюдо было вкуснее предыдущего, и скверный, почти нищенский ресторан для беженцев превращался в фантастическую Стрельну из довоенных романов и рассказов бывалых людей.

Опьянев, Вася бурно аплодировал, хрипло кричал певцу: «Бис!» Полный моряк издали поклонился ему и, кончив свой номер, подсел к его столику, церемонно и чуть высокомерно представился:

— Мичман Гаврилевский, гвардейского экипажа.

Мичман врал, так как при Керенском вышел в Каспийскую флотилию, а уже с константинопольских времен жил при ресторанах, напевая романсы Вертинского и цыганские песни, и привык к мысли, что клиенту можно было подавать все, что угодно, но под видом самого лучшего. Шипучку с наклейкой вместо дорогих марок шампанского, кошку вместо зайца, из вчерашних объедков котлеты под названием пожарских.

Привык он также «накрывать» пьяных, втягивать их в расходы, получая проценты с «пробки» — проданной под видом шампанского шипучки.

Иногда, просыпаясь поздним утром с головной болью и мерзким вкусом во рту от выпитого вина и водки, он с омерзением смотрел в зеркало на свое опухшее и зеленое лицо и, пользуясь тем, что другие обитатели комнаты ушли на работу и он оставался один, вслух говорил: «С... проститутка в штанах! Морду тебе бить надо!» — и плакал, потому что знал, что не выдержал испытания и что больше никогда не станет человеком.

Но время шло, и он все реже и реже смотрел в зеркало и уже почти никогда не плакал. Раньше он «накрывал» только хорошо одетых людей, стариков — стариками для него были все, кому за сорок, и те, кто приходил с молодыми женщинами.

Теперь он не стеснялся «накрывать» даже вот такого поручика в заштопанном френче, у которого случайно появились деньги. «Не будь дураком! Не будь фрайером! — Слова из блатного жаргона больше его не шокировали. — Вот именно, не будь фрайером!»

— Голосовые связки устают, — пожаловался он снисходительно. Что мог понимать корниловский поручик в пении? — Очень приятно, что мое исполнение вам так нравится.

— Чудно, — загорелся Вася, — я так люблю... можно вам водки?

— О, нет! Я никогда не пью во время моего выступления. Вот разве шампанского? Здесь оно совсем недурное, прямо из Франции...

Не дожидаясь согласия своего пьяного соседа, он хлопал в ладоши и крикнул:

— Ниночка! Сюда флакон, пожалуйста, и два бокала.

Итак, ее звали Ниночка.

«Ниночка! Ниночка! — прошептал Вася в восторге. — Как хорошо, что ее зовут Ниночкой!»

Но Ниночка подошла к ним с сердитым, почти злым лицом.

— Шампанского нет, — сказала она категорическим тоном, обращаясь к певцу.

— То есть как это? — возмущенно спросил певец.

— А вот так!

— Но позвольте!

Но она уже повернулась и не слушала его.

— Безобразие! — возмущался Васин собутыльник. — Шампанского полон погреб! Я пойду пожалуйюсь Федору Ивановичу. Нахальная девчонка! Если корчишь из себя недотрогу, так уж корчи до конца и не вмешивайся в чужие дела! — И он поднялся.

— Не надо, ради бога, не надо! — Вася поймал его за рукав тужурки и потянул так сильно и резко, что полный блондин едва не упал.

— Что не надо? — спросил он раздраженно.

Вася на всякий случай назвал его не совсем определенно — не то поручик, не то капитан.

— А ну ее к черту! — сердито выругался моряк и, не попрощавшись, отошел от стола.

Фу, как это все нехорошо получилось! Да еще голова кружилась. Он с отчаянием чувствовал, что обязательно упадет, если попытается встать.

Почему лейтенант не любил ее и позволял себе быть таким грубым? Назвал ее недотрогой! Это, наверное, хорошо? Вася счастливо засмеялся. От смеха голова стала кружиться еще больше, и тогда он обхватил голову руками и закрыл глаза.

Когда он открыл их, она стояла у столика.

— Вам плохо? — спросила она строго, но участливо. — Как не стыдно так тратиться, вот у вас... — Она хотела сказать: вот у вас до сих пор солдатские ботинки, а вы хотели поить шампанским этого господина...

Но вместо ответа Вася поймал ее руку и поцеловал. Рука была мягкая. Он с наслаждением приложил ее к горячему лбу, провел по щеке. Кельнерша настолько растерялась, что не догадалась сразу отнять у него руку. Но, может быть, не отняла сразу и потому, что этот милый пьяный поручик с лицом херувима — такое определение она дала ему еще в первый раз — был совсем не похож на обычных ресторанных ухажеров, которых она сначала так боялась и которые теперь ее только раздражали, а иногда смешили.

— Где вы живете? Как же вы доберетесь домой в таком виде? Ах, как не стыдно, как не стыдно! Ну, что теперь делать? — Она искренне волновалась.

Он не помнил, как очутился на кухне. Кто-то, должно быть, очень сильный, так как Вася чувствовал железный обхват мускулов, держал его над тазом. Холодная вода

заливалась за воротник, щекотала ледяными струйками спину, струилась по щекам, забегала в глаза и рот.

— Ну вот, этак лучше! — сказал сильный человек, державший его за талию, и добродушно засмеялся. — Эх, сунок!

— Вы думаете, он пришел в себя? — спросил с тревогой женский голос, и Вася узнал ее голос и понял, что это она держала его голову и лила холодную воду.

— Дайте-ка нашатырю, пусть понюхает! Вот там, на полочке справа, большой флакон. — Добродушно смеявшийся человек резким движением выпрямил Васин корпус и круто повернул его в свою сторону.

— Ай да герой! — Он сказал это так, что охвативший было Васю стыд как-то вдруг растаял, растворился с последним звуком коротенькой фразы и осталось только ощущение необыкновенного счастья, причина которого еще ускользала.

— Понюхайте вот это, — сказал женский голос.

Ах, вот в чем дело! Ощущение счастья было оттого, что она держала его голову. Он повернулся и едва не упал. Нина стояла с пузырьком в руках, со счастливой, чуть укоризненной улыбкой. Глаза ее казались темно-золотыми.

Домой его отвел донской вахмистр, которым оказался человек с железными мускулами и добродушным смехом. Он крепко держал Васю за руку — так-то лучше.

— А то что получится? Заберут братушки в управу и отлупят! Хорунжего-то русского! Оно как-то неудобно. А ты, господин хорунжий, так не пей! Не дома мы, не в России. И хлеб чужой горький, и вино злое. Нина? Вдова она, Нина-то наша. Муж ее от тифа на корабле помер в прошлом году. Ваш, армейский, был. Там я и узнал ее. Убивалась бедная очень, одна с ребеночком осталась. Где ребеночек? В Панчеве при русском госпитале живет, ну а ей работать надо. Говорю же тебе, горький хлеб наш, не одним потом, а и слезами заработать его надо. А ей замуж бы следовало. Ну что за жизнь такая! И ребеночку отца нужно. Да все прощальги подлаживают, того и гляди пить взаправду научат. А тогда пиши пропало. Без ответа они, женщины-то пьющие. Вот был бы постарше, господин хорунжий. А то уж больно молодой. Какой из тебя муж в наше время? Завтра не приходи. В Панчево Нина-то наша едет, к сыночку. А и не благодари! Как офицера могу

я оставить выпившего в такое время на улице, когда городовые их чумазые погон российских не признают?

С трудом держась на ногах, Вася добрался до дома. В темноте спотыкался, хватался за стены.

— Черт знает, что такое! — воскликнул ротмистр, неизвестно к кому обращаясь.

— Ты пьян, малютка? — шептал капитан, не решаясь повысить голос. — Ишь, как водкой от него разит! Эгоист! Свинья! — В голосе его чувствовались обида и зависть. — Я тебе это припомню!

Продолжать он не мог, так как ротмистр на этот раз обратился не к черту, а к нему:

— Милостивый государь, имею я право спать спокойно?

Сквозь пьяный звон в голове Вася слышал, как капитан что-то шептал совсем тихо. Наверное, ругал ротмистра. Какие они оба глупые! Ну разве можно всерьез сердиться и быть злым, когда у Ниночки такие прекрасные глаза?

Он вдруг громко и счастливо захохотал, но на этот раз ротмистр ничего не сказал. Неизвестно, поразила ли его наглость подпоручика или в этом хохоте он услышал что-то, неожиданно его согревшее?

И у капитана прошла обида. Он гладил Васю по плечу и говорил по-прежнему шепотом:

— Какой же ты еще дурак, малютка! Как тебе не стыдно!

Прошла неделя с того вечера. Ныли мускулы, от кирпичной пыли першило во рту, дразнил широкий Дунай с прохладной каймой леса на противоположном берегу. Ночью он ворочался, стонал, что-то бессвязно говорил. Утром его расталкивал повар общежития. Вася упирался, поворачивался на другую сторону, протестовал по-детски жалобно. Ему очень хотелось спать, зачем его будили? Кто посмел его будить?

Повар настаивал, тряс за плечо, щекотал пятки:

— Вставайте, господин поручик! На работу пора...

Только это слово заставляло его подниматься. Он вскакивал еще совсем сонный, во власти кошмаров, и смотрел на повара ничего не видящими глазами. Потом, ежась от утренней июньской прохлады, вздрагивая от резких трамвайных звонков, быстро шел по пустынным улицам.

Под конец недели он уже знал многих пешеходов в лицо. Такие встречи доставляли ему удовольствие, ему казалось, что это очень близкие, разделяющие его судьбу люди. И уже меньше болели набухшие, затвердевшие муску-

лы и не так невыносимо горчила во рту едкая кирпичная пыль.

«Вот я и стал рабочим!» — подумал Вася. Он представил себе рабочего таким, каким видел его раньше, еще мальчиком, в России. Рабочему говорили «ты», он был существом из другого мира, немного страшным и одновременно жалким. Вася вспомнил, как он стеснялся маляров, полотеров, как не решался с ними заговорить.

Всю неделю он мечтал о субботе. Поднимаясь по мягко прогибающимся деревянным мосткам этажей, смотря на гору кирпичей, он отсчитывал шаги, переводил их в секунды, минуты, часы. Наверху, разгрузив свою поклажу, он поворачивался, чтобы так же мерно, за тем же пожилым селяком спуститься вниз. Он видел Дунай, а где-то вправо, за темным лесом, должно было находиться Панчево, городок, где жил ее сын, к которому она ездила по воскресеньям и которого он уже полюбил.

Он будет днями, если нужно, годами носить кирпичи на седьмой этаж и глотать едкую пыль. Они найдут комнату, и Нина не будет больше работать. Не будет подставлять свои руки для пьяных поцелуев.

Время близилось к полудню. Совсем скоро десятник крикнет непонятное слово, наверное, турецкое, означающее конец работы. Интересно, как будут платить, тут же, на седьмом этаже, в живой очереди?

Вечером он ей все скажет. Но как? А вдруг он будет молчать, как молчал неделю назад? Неужели нужно снова напиться, чтобы признаться ей в любви? И откуда он взял, что она ждет этого признания? Донской вахмистр мог шутить или ошибаться. Но она так ласково на него смотрела, так нежно поддерживала его голову над умывальником, беспокоилась, как он доберется домой...

Нужно обязательно успеть привести себя в порядок. Может быть, надеть полотняный китель из перешитой пижамы? Но тогда неудобно надевать на фуражку кокарду... Ужасно сложная штука жизнь!

Он сплевывал пыль, вытирая рукавом пот с лица, отсчитывал шаги на прогибавшихся мостках. Хорошо, если остановят работу, когда он взберется наверх. А то придется лишний раз подниматься на седьмой этаж. Он старался подсчитывать, сколько раз в день приходилось ему подниматься. Три шага в две секунды, девяносто в минуту. Получалось ужасно много и даже не верилось, что он мог подняться на эту высоту с таким грузом. Совсем как бед-

ный ослик из блоковского «Соловьиного сада»! Хорошо, что он мог еще вспоминать стихи! Шумадийские селяки, которые шли впереди и сзади тяжелым и размеренным шагом, не знали Блока, не мечтали о Нине с золотыми глазами, а только чувствовали свинцовую тяжесть в ногах, увеличивавшуюся с каждым шагом.

Ему повезло. Подниматься наверх не пришлось. Новая человеческая цепочка образовалась перед деревянным ящиком, у которого сидели десятник и маленький человек в пенсне, одетый по-городскому в темный костюм, рубашку с целлулоидным воротничком и вязаным галстуком, наверное, бухгалтер.

Люди подходили, называли фамилии. Человек отмечал в списке и быстрыми, профессиональными движениями, время от времени слюнявя пальцы, отсчитывал кредитные билеты из толстого портфеля.

— Следующий, следующий! — хрипло кричал, почти лалял звероподобный десятник.

Рабочие толпились, стараясь быстрее попасть в очередь, толкались, мешали друг другу. Вася долго оставался в стороне. Привыкнув к стройным и четким военным построениям, он инстинктивно боялся людской толпы, беспорядочной и грубой. Он сидел на кирпичах и смотрел на Дунай, Каломегданский парк, на оживленную улицу. От высоты приятно кружилась голова. Кровь отливала от ног, напряженно пульсируя в раздувшихся венах, и это ощущение наполняло все его существо незнакомым блаженством. Наверное, это чувство и было тем противоядием, которое позволило человеку примириться с тяжелым физическим трудом, заставляло забывать о нем, как морфий, уносило память о только что испытанных страданиях.

Деньги, которые вот сейчас он должен был получить, тоже были таким противоядием. Не жалованье, которое ему выдавал когда-то полковой казначей, не почтовый перевод от мамы, а деньги вот за эти кирпичи, которые он поднял на седьмой этаж и из которых выросла кладка. Эта кладка будет расти дальше от новых кирпичей, которые он принесет.

Русский барчук, корниловский офицер и почитатель Блока, стал таким же рабочим, какими были странные люди, маляры и полотеры его детства. Это сознание наполняло его стыдливой и гордой радостью, похожей на гордую радость детства, когда он почувствовал, что больше не ребенок, не подросток, а молодой мужчина, такой

же, как все остальные мужчины на свете, молодые и старые, создающие жизнь и ее направляющие.

Толпа рабочих у столика бухгалтера быстро уменьшалась. Глупо было оставаться последним. Он очень волновался. Ему казалось, что сердце прыгало в разные стороны, билось о грудную клетку, проваливалось куда-то вниз. Все это было ужасно глупо. Ведь не волновались же его товарищи по работе. Некоторые спорили, доказывали, что им неправильно подсчитали часы, а десятник грубо прекращал разговор:

— Айда, бре! — Иногда подталкивал: — Следующий! Имя! Айда!

С трудом, чужим голосом, он произнес свою фамилию.

— Как? — переспросил бухгалтер.

— Кострицын, — повторил он, стараясь произносить по-сербски, с ударением на «о». Бухгалтер заводил пальцем по мятому списку. Палец был худой, длинный, с узловатыми ревматическими суставами, с грязным коричневым ногтем.

— Тебя здесь нет, — наконец сказал он.

Конечно, это было ошибкой, но все-таки от неожиданности у Васи остановилось дыхание.

— Айда! — сказал десятник. — Следующий!

— То есть как?.. — обратился к десятнику Вася, стараясь произносить русские слова на сербский лад. — Вы мэнэ знаэте, я тута работал.

Боже! Как неделя по-сербски? Нужно сказать, что он работал всю неделю и сотни раз проходил мимо десятника с кирпичной кладкой.

— Тэбэ нэ знам, айда! — звероподобный человек смотрел на него исподлобья, старательно избегая его взгляда.

Рабочие стояли кругом, вдруг притихшие, делая вид, что происходящее несколько их не интересовало, а касалось только молодого руса, который так любил плескаться в воде и говорил сейчас на странном, малопонятном языке.

— Товарищи, — Вася обратился к ним, — вы же меня знаете. Я с вами работал шесть дней, с самого понедельника. Вот он шел передо мной все сегодняшнее утро. — Вася схватил пожилого селяка за плечи. Но селяк медленным движением освободил свои плечи и сказал, хмуро смотря в сторону:

— Я тэбэ нэ знам.

Ему жалко было молодого руса, которому бухгалтер и десятник не хотели платить за неделю, но что мог он по-

делать, шумадийский сезончик в турецких чикчирах? Если он хотел принести домой динары, ему оставалось только молчать. Иначе десятник скажет: убирайся вон, грязный селяк, паси своих свиней, работы для тебя нет! Он повторил:

— Тэбэ нэ знам, — и прибавил для того, чтобы десятник убедился в его желании продолжать носить кирпичи: — Я его вижу в первый раз.

А затем тихо, чтобы никто не слышал его, он попросил прощения у святого Николы за то, что он всего лишь бедный сезончик, за то, что ему нужно купить хлеба на зиму и корову.

— Иди, иди себе с богом, — сказал десятник примирительным тоном, смотря в сторону Дуная.

— Но как вы можете? Я же... — От волнения и охватившего его отчаяния Вася заикался. Все, что происходило, было слишком несправедливо и чудовищно, хотя совершенно очевидно, что ему не хотели платить.

Нина! Чех, одолживший ему деньги только потому, что он казался ему серьезным, не похожим на дроздовского капитана и на высокомерного ротмистра! Парусиновый китель! Ресторан на улице королевы Натальи! Комната, которую он должен был нанять! И опять Нина, Нина, Нина!

Все смешалось в его голове. Может быть, попробовать доказать? Спокойно и вежливо. Даже улыбаясь. Ведь это просто недоразумение?

— Господине, — начал он, улыбаясь жалкой улыбкой. — Господине!

Господином он называл низколобого человека, от которого, казалось ему, зависела вся его жизнь.

— Этот старик ошибается. Спросите у других! Тех, которые были в цепочке сзади меня...

— Убирайся вон! — закричал десятник, поднимаясь и на этот раз смотря ему в глаза. Глаза десятника сверкали бешенством.

— Вон! — Он наступал на Васю огромной тушей, отесняя его к мостками. У самых мостков он резким движением повернул Васю к себе спиной и толкнул в шею. Вася быстро побежал, с трудом удержавшись на ногах. Кто-то наверху засмеялся, но сразу же осекся.

Он продолжал бежать по шатающимся мосткам от этажа к этажу машинально, раздавленный отчаянием, беспомощ-

ностью и позором. Так же машинально он надел свой заплатанный английский мундир.

Полуденные улицы были наполнены веселой, оживленной толпой. На террасах кафан беспечные, смеющиеся люди пили пиво, вытирая платками потные лица. Звенели трамваи, шуршали автомобильные шины.

Вася шел, и по его лицу текли слезы. Слезы смешивались с кирпичной пылью и грязными ручейками стекали по щекам за воротник мундира. Попадали в рот, и он чувствовал на сухих губах их горько-соленый вкус.

Он не знал, куда идет. Остановился он только у знакомой деревянной решетки ресторана сада. За пыльными листьями акаций виднелись столики. Толстый моряк ходил, заложив руки за спину.

— Пожарские и графинчик водки! — крикнула Нина. От ее голоса он пришел в себя. Вытер рукавом слезы, одернул мундир, повернулся и медленно пошел прочь...

Париж. 1956.



ИЗ ЭМИГРАНТСКИХ СТИХОВ 1930—40-Х ГОДОВ

МОЙ ПУТЬ

На туманные Крымские горы
Тихо падал сухой снежок,
И чернели морские просторы —
Это наш короткий пролог.
А потом в прозрачной лазури
Я увидел зеленый Босфор.
Сердце радовалось до дури
Теплоте сиреневых гор.
Загудели гнездом осиным
Европейские города.
Развернулись повестью длинной
Поучительные года.
Время шло. В тяжелой заботе —
Легче летом, труднее зимой —
Жизнь раскрылась мне в черной работе,
Трезвой, честной, нелегкой, иной.
В эти жесткие годы впервые
Жизнь увидел по-новому я.
К трудовой потянулись России
Ее блудные сыновья.
Так фабричный гудок и лопата,
Трудный опыт, прошедший не зря,
Нам открыли, жестоко и внятно,
Смысл и чаянья Октября.

Париж. 1936.

* * *

Вот нищий ждет с протянутой рукою,
И нам при нем в довольстве жить нельзя.
И век наш виснет тучей грозовою —
Борясь, страдая, гневаясь, грозя.
Не нам жалеть о гибнущем покое,
Покоя мы не знали никогда!
Там, где случайно соберутся двое
Во имя лучшего — спешим туда.
Все чаще тянутся неустойчиво
К своей стране озябшие сердца,
И правда новая нам стала зрима
В чертах ее сурового лица.
С упрямою и твердою надеждой
В еще неясную мы смотрим даль,
И ветер будущего, ветер свежий
Летит в лицо, и прошлого не жаль.
Так мы стоим с раскрытою душою,
Приветствуя эпохи грозный век,
Но человечностью и теплотою,
Поэты, озаряйте жесткий век!

Париж. 1936.

ДРУГУ

Ты помнишь, как бежали мы с тобой
По снегу рыхлому на шведских лыжах.
Проваливался в снег по брюхо Бой —
Твой пес в подпалинах волнисто-рыжих.
Стояли новгородские леса,
Отягощенные мохнатым снегом.
Белесые ложились небеса
Над нашей жизнью и над нашим бегом.
Потом мы юность провели в седле,
В тулупе вшивом, на гнилой соломе,
И, расстилая на сырой земле
Потник, почти не думали о доме.
Потом расцеловались на молу
И разошлись бродить по белу свету.
И вдруг столкнулись где-то на углу
Парижских улиц, через двадцать лет!
Должно быть, для того, чтоб в тишине
Ловить приемником волну оттуда.
Тогда в жестоком кольцевом огне
Лежала Русса каменною грудой.
Нас не было с тобой — плечом к плечу —
Когда враги ломались в наши двери.
И я, как ты, теперь поволочу
До гроба нестерпимую потерю.
И только верностью родному краю,
Предельной верностью своей стране,
Где б ни был ты — в Нью-Йорке иль в Шанхае —
Смягчим мы память о такой вине.

Париж. 1946.

СТИХИ ИЗ ЦИКЛА «ЗА РУБЕЖОМ» (1937—1944)

* * *

Двадцать лет по лестницам чужим,
Двадцать лет окольными путями
К цели не известной нам спешим.
Наш народ давно уже не с нами.
Он велик, могуч и молчалив.
Хоть бы проклял нас, но нам ответил.
Мы забыли шум родимых нив.
Всуде трижды прокричал нам петел.
Отреклись мы от родных глубин
И прервали связь святую сердца.
Дожили до роковых седин
С кличкой иностранца, иноверца.
Чем отверженности смыть печать,
На какую смерть идти и муку,
Чтобы сердцем снова ощущать
Круговую верную поруку?

1937.

* * *

Когда-нибудь, чрез пять иль десять лет,
Быть может, через двадцать, ты вернешься
В тот небывалый, невозможный свет —
Ты от него вовек не отречешься.
Увидишь Родину. Но как понять
То, что от первых лет тебя пленило.
Ты иначе уже привык дышать,
Тебе давно чужое небо мило.
Как будто из гробницы ты восстал,
Перешагнув века и поколенья,
И Родины сквозь роковой кристалл
Едва поймешь обычные явленья.
Согбенный и восторженный старик
В заморском платье странного покроя,
Прошедшего торжественный двойник,
О, как ты встретишь племя молодое,
Привыкшее размеренней дышать
И чуждое твоим любимым бредам,
Стремящееся мир пересоздать,

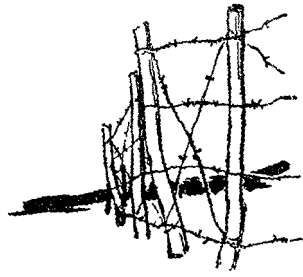
Ведущее к светилам и победам!
Подслушаешь с надеждой и тоской
Порыв, задор в кипучей юной песне
И побредешь, качая головой,
Сокрыв в груди, все глубже, все безвестней
Безумные, бесцельные мечты.
Минуя улицы и площади столицы,
За городской чертой увидишь ты,
Где тают в далях призраки и лица,
Просторы древние. И где-нибудь в тиши,
Где тракторы еще не прогремели,
У позабытой дедовской межи
Ты остановишься, достигнув цели.
И ты поймешь — земной окончен путь,
Вот ты пришел в назначенную пору,
Чтоб душу сбереженную вернуть
Бескрайнему родимому простору.

1938.

БАЛЛАДА О ПЯТИ ПОВЕШЕННЫХ

Огромное небо исполнилось ветром восточным.
И августа дрему нарушил крылатый пришлец,
И было все странно в то утро и зыбко неточно —
Порывистой волны Дуная и резче биенье сердец.
Степей черноморских дыша раскаленною силой,
Пять трупов повешенных ветер в лазури качал.
И небо казалось огромною братской могилой.
Но, гнев затаивши в груди, я стоял и молчал.
Кто были они, молодые, за дело святое
Отдавшие жизнь, завершившие краткий свой путь?
Не знаю. Но, верно, славянское имя простое
Исполнит волненьем потомков стесненную грудь.
И там, где сливаются югославянские реки,
Свой путь направляя к великой Советской стране,
На перекрестке эпох они опочили навеки,
Но тень их висит надо мною, но голос их слышен во мне.
И глядя спокойным и судящим взором поэта,
Сдержав возмущенье в груди и отчаянья стон,
Свидетелем стал для еще не рожденного света.
И живы во мне мертвецы, чтоб ожить для грядущих
времен.
И видел над площадью рабской, где гнется покорная шея,
Где сердце оковано страхом и торжествует тевтон,
Грядущие ветры с Востока несут, пламенея,
Полотнища алых и непобедимых знамен.

Белград. Август 1941.



Ф И Ш Б О Р Н

Р А С С К А З

НА ЗУБАХ иссохшего рта хрустит дорожная пыль. Болью сковано тело. Болью скована мысль... Безоблачное, голубое небо, а на нем — солнце — громадный огненный шар. Едва переступают, будто вылитые из свинца, стертые до крови ноги. Двенадцать тысяч израненных, измученных, плененных. Тысячесердная масса крови, пота, грязи, боли и ненависти. Третий день — ни куска хлеба, ни капли воды... Позади десятки, сотни километров пути и сотни расстрелянных.

Потрескавшиеся от жары и жажды губы сжаты.

«Солнце! Как безжалостно ты! Твои лучи мучительны, в них адский огонь...»

— Los, los! Ab, ab!* — раздаются повелительные возгласы.

«Сойди с высоты, сокройся! Оставь нам немного сил. Дай вдохнуть вечерней свежести. Может, прохлада ночи

* Живо, живо! (Нем.)

освежит нас... В ее темноте так много надежд... Может, звезды укажут нам путь к свободе, к друзьям...»

— Los, los! Verflixt noch einmal!**

Нередко позади колонны раздаются выстрелы...

— Vorwärts, ihr Asiaten!***

Молча, тяжело, кровотока и изнемогая, ползет тысяче-ликая масса...

* * *

Фишборн — небольшая деревня в Восточной Пруссии, расположенная на отрогах невысоких холмов, спускающихся к речушке. Когда я впервые увидел сквозь заросли ивняка и тополей зеркальную гладь воды, мне показалось, что красивее этой речушки я не встречал. Манила тень высоких деревьев, кусты нежной зелени и живительная влага... Но между мною и желанным — двойная сеть колючих проводов.

За речушкой — Родина. Из-за колючей проволоки видны родные русские поля и сосновые рощи. Пустые поля. Посеревшие деревянные домики. Все будто вымерло: ни людей, ни дыма над трубами. От ближней рощи доносится неумолкающий гул шумящих сосен, печальная и грустная песня сосен родного края...

У входа в лагерь привязан к колючей проволоке юноша, избитый до полусмерти, с разорванным до ушей ртом. Он отказался снять с пилотки алую пятиконечную звездочку.

Нас, военнопленных, в лагере — тысячи. Грязные, в тряпье, полуодетые, босые. Шинели и обувь отобраны. Пища — непромытая, неочищенная, изрубленная лопатами недоваренная смесь свеклы и турнепса — слишком мало для жизни и слишком много для быстрой гибели. Воды для питья и умывания нет.

Большинство из нас уже не чувствует ни голода, ни жажды. С тоской устремляем мы взоры за мостик, за речушку, откуда, как нам кажется, должно прийти избавление. Эта надежда дает силы, даже когда мы падаем на землю; надежда на избавление не покидает нас.

* * *

Первые холодные ночи сентября заставляют нас вкапываться в землю. Ночами лагерь пустеет: люди, подобно привидениям, исчезают в своих ямах, для многих оказав-

** Давай, давай, черт бы вас побрал! (Нем.)

*** Марш вперед, вы, азиаты! (Нем.)

шихся могилами. Лишь стоны умирающих да вскрики, от которых стынет кровь, слышатся из тьмы.

Устанавливаются караульные вышки, на них — прожекторы, пулеметы. Внутри лагеря, у ворот, стоят два фургона для трупов. Напротив лагеря, через шоссе, — бараки немецких солдат, двухэтажный каменный домик — комендатура. Из открытых окон комендатуры целый день звучат вальсы.

Многие сходят с ума от этого кошмара.

И вот грязь и вши восторжествовали. Над лагерем царствует тиф.

Дымится вошебойка. Для тифозных воздвигнута полевая брезентовая конюшня.

Я не чувствую холода первых заморозков. Мое тело — в пожаре тифа. Температура 41°. Я, как и сотни других, ползаю по сырой соломе, набросанной поверх промерзшей земли. Измученные, изнуренные голодом, сжигаемые пламенем тифа и холода, тела больных, едва укрытые тряпьем, невольно и судорожно сдвигаются в бесформенную, трепещущую кучу. Над нею — непрерывные стоны и вскрики.

Несмолкаемый стон окружающих измучил меня. Чувствую, что-то давит на грудь, голову. Мир действительности блекнет, образы тускнеют, окружающее становится расплывчатым, тяжелым туманом. Я — в мире снов и бредов...

...Далекий юг. Стройно и молчаливо высятся пальмы. Бесконечно глубокой и приятной кажется лазурь теплого неба. Зеркальная гладь неведомых озер манит живительной влагой. Спешу сквозь кустарник и заросли... Я должен пройти к озеру, к воде... Это избавление от палящей жажды.

Но, увы! Когда, как кажется, я достиг зеркальной поверхности, озеро исчезает, подобно миражу. Вместо него остаются заросли невысоких деревьев, на ветвях — зеленые листья, зеленые плоды. Лимоны!.. Как хочется кислого!.. Я мечусь между деревьями, срываю зеленые лимоны, десятки, сотни... Запихиваю их в карманы брюк, за пазуху... Мне нужно много лимонов — так мучает жажда! Тщетно пытаюсь раскусить один из них — я слишком слаб. Я слишком слаб... Еще несколько раз пытаюсь откусить. Напрасно. Я совершенно бессилён.

Потом вижу себя здесь, в лагере. Колочая проволока.

Тысячи голодных, погибающих людей. Они тоже хотят пить, им также нужны лимоны.

Но кому бы я ни предлагал лимончики, все отказываются... Я прячу их в солому, в снег. Я прячу их, где могу. Их слишком много... лимоны... лимоны... Передо мною опускается темная пелена, в ней исчезают образы людей, снег, солома, лимоны. Передо мною ничто, во мне — ничто, пустота...

Как долго я находился в таком состоянии? День? Неделю? Две? Три? Не знаю.

Страшная боль и в голове, и в ушах, и в ногах. Слишком тяжела голова, очень трудно поворачивать ее из стороны в сторону. Не слушаются руки и ноги. Будто прикован к земле, к сырой, смердящей соломе.

«Я жив», — думаю я.

Посредине палаты — чугунная печь, около нее — санитар и несколько тифознобольных. Там теплота. Я голоден до безумия. Мне хочется есть... Мне так хочется есть... Хочу позвать санитара, но голос беззвучен. Никто не слышит меня, никого не слышу я... Я оглох... Быть может, и это бред? Нет, нет. Кругом меня — больные, беспомощные, оправляющиеся под себя, на солому... Это зловоние... Подобное не может быть видением...

Проклятая слабость, проклятое тело, не повинующееся мне. Каждое движение вызывает дикую боль во всем теле. Лучше смерть, чем такие муки! Но вот жажда и голод заставляют меня забыть о боли. Я хочу есть, пить. Мне холодно! Мне хочется туда, к чугунной печи, к теплу, к сидящим вокруг печи, вырвавшимся из когтей гибели... Жажда, страшная жажда...

— Дайте мне воды! — кричу во весь голос.

Ни санитар, ни больные у печи даже не повернулись в мою сторону. Видно, голос у меня слишком слаб. Мне удастся повернуться на бок. Рядом лежит человек... Глаза открыты, взор устремлен ввысь, но бесцветные губы шевелятся. От угла рта вдоль щеки до самого уха вьется темно-синий шрам.

— Как звать тебя, братишка? — спрашивает он.

— Анатолий... А тебя?

— Алексей.

Он что-то еще шепчет, может быть, просит о чем-то, но я уже не слышу его. Мною вновь овладевает странная усталость, приятная усталость, влекущая в мир сна.

Декабрьские холода прервали оргии тифа. Теперь в лагере появился новый властелин — гангрена. Немцы принимают против нее меры. Из необтесанных досок сколачиваются операционные столы, привезены инструменты и медикаменты: десяток ланцетов, две пилки и морфий... Не хирургические пилки, а пилки мясников. Морфий принимали доктора. В наркотическом состоянии им легче проводить операции. В грязных, забрызганных кровью халатах, они более напоминали мясников, чем врачей. В течение нескольких недель падали и падали почерневшие ноги на дощатый пол операционного зала, в грязь.

Я избежал этой участи. Алеше не удалось. Ему ампутировали обе ноги по колено. Сотни обрезанных, полусгнивших ног отвозились вместе с трупами на ту сторону речушки, за мостик, на русскую землю — на Родину. Там, у сосновых деревьев, сбрасывались голые, изуродованные и замороженные тела в большие ямы, в снег и песок, в безвестность, в ничто. Так возвращались воины на Родину...

* * *

Алеша лежит рядом со мной. Он недвижим, изредка бормочет бессмысленные слова. Снаружи воет пурга. Бесперывно хлопают борта брезентовой палатки о деревянные колья. Вся палатка качается из стороны в сторону, скрипят колья и перекладыны креплений. Мне кажется: мы на корабле, на волнах бушующего океана. В палатке холодно, свежий воздух отрезвляюще действует на больных.

Многие из них, проснувшись, сдвигаются друг к другу, втискивая иссохшие тела в круг. Снаружи темно. У входа в палатку повесили керосиновый фонарь, мерцающий и тусклый свет которого искажает окружающее.

Пришли доктора. Чего они хотят? Облегчить нашу участь? Она им известна, наша участь, поэтому у них серьезные, мрачные лица. Молча, медленно проходят они посередине палатки, не останавливаясь у груды стеснившихся больных. В руках у одного из врачей керосиновая лампа, которой он время от времени освещает лица больных.

Они останавливаются около Алексея. Один из них, присев на корточки, дотрагивается ладонью до тела Алешки. Лицо врача — без выражения каких бы то ни было чувств. Но в нем есть что-то знакомое... Мне знакомы черты этого лица...

Это Василий. Я помню его. Неуверенно вскрикиваю:

— Василий!

Он медленно поворачивается в мою сторону.

— Да, я Василий.

— Это ты? Василий? Помнишь меня?

— Значит, опять встретились...

Он просит своего коллегу подать ему фонарь и при тусклом свете осматривает мои ноги.

— Ты счастливый человек, Толик, — говорит он, поднявшись. Затем снимает шинель и укрывает ею меня.

— Береги ноги. Пригодятся еще.

Я плачу от радости — это не только радость встречи, но счастье от сознания, что я, возможно, избегну участи многих.

С Василием мы влачили первые дни плена. Часто рассказывали друг другу о прошлом, о студенческих годах. Он из Казахстана, изучал медицину. Теперь он доктор, а я — тифознобольной.

— Хочешь есть? — спрашивает он меня.

— Очень хочу. Хлеба и... лимончик.

Он смотрит на меня озадаченно и, прежде чем уйти, еще раз говорит:

— Береги ноги, пригодятся еще.

Согретый шинелью, я засыпаю. Мне опять снится далекий юг. Пальмы, озера, сады, цитрусовые деревья. И я срываю лимоны... Один, другой...

Вдруг резкая боль... Я забыл о шинах. Боль заставляет меня очнуться. Передо мной Василий. Он усаживает меня на солому и сует в руки кусок серого хлеба и кружку черного кофе. Кофе кажется мне чудесным. Если кто-либо спросил бы меня, какой вкус имеет «эликсир жизни», то я, несомненно, сослался бы на вкус этого кофе.

— Вот так оно и пойдет. Кушай и поправляйся, — говорит Василий. — Нам еще предстоит многое...

— Спасибо...

— Не за что, друг. Да, чуть не забыл. Вот тебе лимончик.

И он дает мне маленький, дряблый желтый лимончик...

— Я выпросил его у немца-врача. Кушай на здоровье. А теперь отдыхай.

В его голосе я улавливаю не то сожаление, не то страх... Отчего?

Мне так радостно: Василий... шинель... лимончик... Со

сладостным чувством прижимаю лимончик к груди и вновь засыпаю.

Вздрагиваю и просыпаюсь от прикосновения чьей-то холодной руки к моему лицу...

— Пора очнуться, друг, мы спасены.. Готов ли ты идти со мною?

Это Алеша.

— Куда? О чем ты говоришь?

— Свобода! В твоих руках спасение наше!..

— Ты бредишь, Алеша. Слышишь, как воет пурга? Нам некуда идти.

— В твоих руках спасение наше вижу.

— Лимончик это, лимончик. Какое может быть в нем спасение?

— Ты слышишь этот рев и эти вздохи? То плач безвинных и несчастных... Они в беде. Туда, туда нам нужно... к своим...

— Это ветер плачет.

— Нет! Там плачут женщины и дети. Мы должны помочь им.

Он бредит.

В горячечной лихорадке Алеша просит отдать ему лимон. Я пытаюсь успокоить его, сую крохотный плод.

— На, Алеша. Возьми.

— Мы спасены, — вскрикивает он, схватив лимон, и тут же умолкает. Осторожно укрываю полой шинели его обрезанные, забинтованные марлей ноги..

...Ночь. Не слышно хлещущих ударов брезента о колья, не слышно скрипения балок. Не слышно и рева снежной пурги. Страшная темнота, страшная темнота. Осторожно протягиваю руку в сторону Алеши... Укрыт ли он? Нащупываю сырую солому. Алеши нет...

«Он умер, — мелькает мысль. — Его уже оттащили к воротам».

Представляю себе, как голый, изуродованный, окоченевший труп Алеши отвезут через мостик к сосновой роще и вместе с другими свалят в большую песчаную яму — в забвеньё. Алеша!.. Алеша!..

Мои тяжелые думы обрывает звук выстрела. Затем еще один выстрел.

Я вздрогнул: «Это Алеша!»

...Он повис на колючей проволоке, пытаюсь в последнем предсмертном порыве преодолеть эту преграду между жизнью и смертью, между рабством и свободой. Безумная

жажда избавления дала ему великие силы...

Плачет и завывает ветер, шуршит снег, звенит колючая проволока, а на ней повисло безжизненное тело воина.

Утром санитары сняли труп Алеши и отвезли за мостик к сосновым деревьям, к большим ямам, занесенным снегом.

А снаружи, по ту сторону проволоки, валялся маленький желтый лимончик.

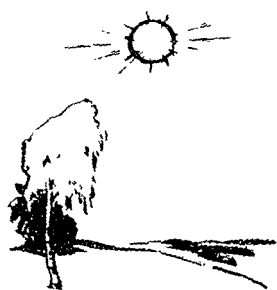
* * *

...Вечнозеленые сосны стоят, как стражи, над рядами длинных, неровных насыпей, с годами обросших травой и мхом. Здесь, в родной земле, нашли свое последнее успокоение воины.

Тихо овевают ветры неровные холмики, лежащие под сенью длинностволых сосен. Я слышал песню этих ветров, грустную и печальную. Печальна и песнь сосен, шумящих вместе с ветрами.

О чем плачут ветры? Или сосны рассказали им о тяжелой судьбе солдат?

Плачут ветры сквозь дожди ноября, сквозь февральские снежные бури...



**С О Л Н Ц Е В З О Ш Л О
Н А В О С Т О К Е**

П О В Е С Т Ь

ДАШУ любили в бараке. Сама она никогда не сердилась, не выходила из себя, а если, случалось, между девушками назревала ссора, Даша умело вмешивалась в нее, и недоразумение, как правило, оканчивалось смехом и шутками. Она не была красива — вздернутый нос, припухлые губы, — но карие глаза из-под черных ресниц всегда светились лаской и добротой. У нее был красивый голос, и часто по вечерам, когда барак начинал погружаться в сон, она брала в руки старую, разбитую гитару и пела мало кому известные песни. Голос ее тревожил душу, но если кто-нибудь начинал плакать, она заводила «гопака» и пускалась в пляс, выделывая уморительные коленца.

Когда Зою сажали в подвал за то, что ее станок слишком уж часто отказывался работать, первой после кар-

цера ее встречала Даша и старалась утешить, приободрить, развлечь. Даша догадывалась, что кровавые подтеки на лице подруги — это расплата не за простую неосторожность на работе, но излишних вопросов не задавала. Не спрашивала она и о прошлом Зои, хотя многие в бараке интересовались им.

«Новенькая», Лина, тоже присматривалась к Зое, ей хотелось сдружиться, сблизиться с этой замкнутой девушкой. Лина чувствовала, что Зоя живет двойной жизнью — лагерной, тяжелой, и какой-то другой, еще более ответственной и опасной.

Шум давно утих в бараке, все спали. Только тетя Женя возилась у нар с какими-то тряпками, время от времени к чему-то прислушиваясь.

Лина приподнялась и осмотрела барак. Взгляд ее остановился на нарах, где обычно спала Зоя. Они были пусты. Набросив халат, Лина встала.

— Тетя Женя, вам что, не спится?

Тетя Женя вздрогнула, руки ее заработали быстрее, выражение лица стало еще серьезнее и озабоченнее.

— Да вот один чулок не могу найти, куда он делся? Становится холодно, климат здесь ужасно сырой, эта сырость пробирает меня до костей. Вообще-то я люблю осень, у нас она совсем другая. Золотой листопад, воздух сухой, чистый. А здесь все ненавистное, противное, даже климат.

Женщина глубоко вздохнула.

— Где Зоя? — шепнула Лина.

Тетя Женя не подняла головы, продолжая рыться в вещах.

— Не знаю, — наконец вымолвила она. — Может быть, в четырнадцатый ушла с Верой. Володя слег в постель, даже не встает, хлопцы на фабрике сказали. Он в последнее время похудел, осунулся, пропадет парнишка...

Лина знала того, о ком говорила тетя Женя. В обеденный перерыв его часто можно было видеть с Верой у фабричных ворот. В тяжелую пору встретились эти двое. Ей до боли стало жалко их.

— Тетя Женя, я боюсь за Зою и Веру. Если они не вернутся в барак до обхода, их изобьют, — шептала Лина.

Тетя Женя ничего не ответила.

Крупные капли дождя барабанили по деревянной крыше барака. Издалека доносились раскаты слабого осеннего грома. После тяжелого рабочего дня люди в бараке спали, и только откуда-то с задних нар доносилось приглу-

шенное бормотание. Это бредила больная Маруся. Лине стало жутко, она села на нары и прижалась к плечу тети Жени.

Так проходили дни. Вставали в пять часов, в половине шестого выстраивались на фабричном дворе и под конвоем надзирателей уходили на фабрику. В полдень хлебали баланду, в шесть часов вечера получали опять ту же баланду и кусочек буракового хлеба.

К вечеру опухали ноги, от голода тошнило, кружилась голова. На фабрике учащались случаи аварий, ломались станки, исчезали части машин. «Нас заставляют работать для уничтожения наших же отцов и братьев, для разорения русской земли» — эта мысль не покидала женщин. Немцы все дальше и дальше уходили в глубь страны. Два раза в неделю в лагерь привозили угнанных с Востока, среди них встречались дети и беременные женщины. И каждый раз начиналась торговля живым товаром. Приходили мелкие фабриканты, осматривали со всех сторон, выбирали тех, кто покрупнее, потолще и посильнее.

Наблюдая за всем окружающим, Зоя становилась все более озабоченной, черты ее лица заострились, стали еще выразительнее, синие глаза потемнели. При каждом удобном случае она останавливалась около военнопленных французов, внимательно выслушивала их, а потом сама что-то рассказывала на ломаном немецком языке. Возвращаясь к станку, она нередко до конца работы молчала.

Английские самолеты регулярно бомбили окрестности Кельна. Во время воздушной тревоги рабочие покидали цехи и поспешно уходили в фабричные подвалы.

В один из таких налетов Зоя одиноко уселась в углу подвала, обняв обеими руками колени и опустив голову. Лине показалось, что она плачет. Но когда ее рука коснулась плеча подруги, Зоя кивком указала на место рядом с собой. Несколько минут молчали, каждая думая о своем. Затем вдруг Зоя заговорила:

— Не знаю, как кто, но я все же верю, верю в нашу победу.

От неожиданности Лина вздрогнула, руки девушек встретились в дружеском приветствии.

— Где ты научилась говорить по-немецки? — спросила Зоя Лину.

— Я люблю изучать языки, — ответила девушка. — А когда привезли в Германию, то сразу отправили работать

к бауэру. В школе и институте я была отличницей, поэтому мне было не особенно трудно за несколько месяцев научиться говорить, читать и писать по-немецки. От бауэра потом я сбежала и попала в полицию. Но там от меня не выудили ни одного немецкого слова. Они ничего не узнали и прислали сюда, на фабрику. Здесь, среди своих людей, хоть сердце немного успокоилось. Можно поговорить по душам, хорошие дела делать.

— О делах потом, — перебила ее Зоя. — Будь осторожна...

Раздались гудки отбоя.

— Los, los, arbeiten!* — кричал мастер.

Через час они снова сидели в подвале. Угрожающе ревели бомбардировщики, нагруженные смертоносным грузом. Неистово грохотали зенитки, высоко в воздухе рвались снаряды.

В подвале царила напряженная тишина. Разговаривали шепотом. Но когда грохот и свист прекращались, люди оживали.

— Ну вот, детки, все и прошло. Да чего ты так дрожишь, — утешала тетя Женя Марусю. Но слова ее перекрыла новая серия взрывов.

Маруся иступленно кричала:

— Так было и тогда! Они улетели, а потом вернулись, вот так же рокотало... А когда они скрылись, все вокруг было смешано с землей и кровью. Маму я узнала только по платью, а Алика не нашла... Мамочка, родненькая, они возвращаются!..

Маруся потеряла сознание. Лина и Зоя едва успели подхватить ее под руки. С новой силой засвистели и загрохотали бомбы. Стало темно. Подвал качало из стороны в сторону. Сыпалась и падала прямо на головы штукатурка. Тетя Женя крепко сжимала худенькое тельце Маруси, а Зоя с Линой согнулись над ней, как бы укрывая ее от смерти. Пронзительный свист оглушил девушек.

Когда Зоя очнулась, уже не было слышно рева самолетов, зенитки тоже утихли. Сначала она не поняла, что произошло, но острая боль в голове вернула ее к действительности. Она провела ладонью по голове. Волосы слиплись, ладонь была вся в крови.

«Наверное, камнем ранило», — подумала Зоя и оглянулась. Непроницаемая тьма, тишина. — «Неужели я оглохла?» Рука невольно потянулась к уху и попала в крова-

* Давай, давай, работай! (Нем.)

вую жижу. Кровь, везде кровь... Зоя опустила голову на цементный пол. «Что это — конец? Так глупо умереть? Но ведь я еще ничего не сделала полезного! Как хочется жить!» Сбрав последние силы, Зоя приподнялась и, шатаясь, поползла на четвереньках.

Начало светать. После темной, холодной ночи медленно наступал день — это возвращалась жизнь. Зоя наткнулась на чье-то тело.

— Кто это? — вскрикнула она. На нее неподвижно смотрели стеклянные глаза хохотушки Даши.

— Даша, Дашенька, за что, за что тебя убили!

— Господи, господа милостивый, да сохрани нас! — донесся из глубины подвала чей-то умоляющий голос.

— Замолчите, — хриплым голосом сказала Вера. — Если бы бог был на свете, он не допустил бы такого злодеяния. Прошу вас, у кого есть еще силы, очнитесь, помогите раненым!

Она бегала по подвалу, поднимала раненых, обезумевших от ужаса, трясла за плечи до тех пор, пока девочки не приходили в себя.

Верин голос заставил очнуться и Зою. Теперь она поняла все. Бомба попала в соседний подвал, где сидели военнопленные французы. Зияла большая дыра, через которую пробивались яркие лучи солнца. А к ним в подвал влетели осколки и камни. Уцелевшие от смерти французы выносили через пробоину раненых, разгребали камни и освобождали засыпанных землей людей.

— Кто не ранен, вставайте, — кричала Вера. — Помогите товарищам!

Зоя, шатаясь из стороны в сторону, пошла к тете Жене.

— Как же это случилось, ведь мы были все вместе? Наверное, меня отбросило взрывной волной.

Маруся и тетя Женя были невредимы. Лина ранена осколком в руку. К счастью, рана оказалась неопасной, но непрерывно кровоточила.

Тетя Женя засучила рукава и принялась помогать раненым. Она избегала Зоино укоризненного взгляда. Разве эта девушка поймет сердце медицинской сестры? Да и кто в такой суматохе что-нибудь заметит? Зато она сделает полезное дело — осмотрит раненых.

Встретились они под Перекопом. Часть, в которой служила тетя Женя, отбивала непрерывные атаки врага. Попав в окружение, они три дня и три ночи сопротивлялись в неравном бою. С небольшой группой красноармейцев

тетя Женя укрылась в маленькой деревушке. Немцы уже вступили в деревню, когда старик, у которого она попросила напиться воды, повел ее в коровник. Там лежала раненая Зоя, укрытая солдатской шинелью. Тетя Женя не смогла бросить беспомощную девушку — выходила ее и поставила на ноги. Они пытались пробраться к партизанам, но их задержал немецкий патруль. А потом отправили в Германию...

Все девушки оказывали помощь французам. Тетя Женя помогала уносить раненых. Засыпанных откапывали до поздней ночи.

Ночная смена фабрики, узнав о том, что бомбы попали в подвал, без конвоя покинула лагерь и примчалась на помощь.

Легкораненых перевязали на фабрике в медицинском пункте, а тяжелораненых увезли в лазарет для перемещенных лиц. Счастье, что Зое и Лине оказали помощь на месте.

Фабричная кухня и бараки не пострадали. Похлебав при лунном свете недоваренный суп-баланду, узники построились по четыре и молча отправились в лагерь.

Несмотря на поздний час, на улицах Кельна былолюдно, немцы бегали, суетились. Стуча деревянными ботинками по мостовой, поддерживая раненых, гордо проходили восточные узницы. Немцы, одни с презрением, другие с жалостью, молча провожали их взглядами. И вдруг красивый, звучный голос Веры нарушил тягостное молчание:

**Ночь надвигается, вагон качается,
В нем не заснуть нам спокойным сном.
Страна любимая все удаляется,
Идет в Германию наш эшелон.**

Вера пела любимую песню девчат. По рядам прошло движение. Пели разными голосами, тонкими и сильными, низкими и хриплыми. Но пели с необычайным подъемом:

**Пусть помнят сволочи-«освободители»,
Что надвигается тот грозный час,
Когда в Берлин войдут герои-мстители —
Они расклянутся за всех за нас.**

Немцы оглядывались, удивленно переговаривались между собой. Жаль, что они не понимали этой песни неустрашимых восточных узниц.

Утро вспыхнуло чудесным заревом. Солнце осветило уютный, чистенький дворик Майеров. Бетти проводила мужа на работу и села выпить чашку кофе. На сердце

было тяжело, беспокойные мысли тревожили душу. Карлу исполнилось 67 лет, но он должен был еще работать. Бетти всегда мечтала о счастливой, спокойной жизни на старости лет. Еще так недавно Карл принимал активное участие в делах компартии, и ему постоянно грозила расправа нацистов.

У них росли два сына — красивые, здоровые ребята, все в отца, даже характером. Младший, Ганс, обзавелся семьей, а Вилли так и не подумал о женитьбе. Все было тихо, спокойно. Но роковой день пришел. Они никогда не забудут его. Началась война... А ровно через неделю забрали обоих сыновей.

Бетти вышла во двор. Ее потухший взгляд остановился на маленьких клумбах, где пышным цветом распустились тюльпаны. По изборожденному морщинами лицу Бетти потекли горькие слезы.

В тот день тоже цвели тюльпаны, они как бы подбадривали тоскующее сердце. Пришел почтальон. Всегда приветливый, улыбающийся, в то утро он не улыбался ей, не смотрел в глаза, а безмолвно вручил письмо в неизвестном конверте. Перед тем, как Карл вернулся с фабрики, она надела траур. На русском фронте погиб младший сын...

Ганс, ее Ганс, похоронен на русской земле, под Полтавой. Может, могила его заросла бурьяном или засыпана листьями? Может, она стоит там одиноко и летом под палящими лучами солнца, и осенью под дождем и ветром, и зимой под глубоким снегом... Кто принесет ему на могилу цветы?

Опустившись на колени перед клумбой, Бетти зарыдала. Руки невольно потянулись к нежным цветам. Она вспомнила недавний кошмар, когда все вокруг колыхалось и гудело, а она, накинув плащ, бежала туда, где полыхало пламя. Растолкав толпу перед фабричными воротами, она неистово закричала:

— Карл, Карл. Где ты?!

— Не волнуйтесь, фрау Майер, — успокаивал ее фабричный полицейский. — Это счастье, бомба попала в подвал к иностранцам, не волнуйтесь.

Взглядом разъяренной волчицы она посмотрела в глаза полицейскому и отошла прочь.

«Счастье?» — спрашивала она себя. Их тоже ждут матери, жены, дети, как ждет она старшего сына, от которого в последнее время нет вестей.

Еле передвигая ноги, старая Бетти побрела прочь. Дом был недалеко, но она почему-то свернула в соседний переулок и остановилась у окна парикмахерской. Прислушалась... Тихо, посетителей не было. Легонько толкнула дверь, вошла. На звон колокольчика к ней вышел высокий юноша с черными, гладко причесанными волосами. Увидев Бетти, взволнованную и растерянную, он побледнел.

— Генрих, мальчик мой... Много раненых и убитых... Русские и французы... Кто, точно не знаю, подождем Карла.

Губы Геннадия задрожали:

— Зоя... Зоенька...

— О ней я ничего не знаю, — прошептала Бетти.

Зазвонил колокольчик. Собрав последние силы, парикмахер, улыбнувшись, поклонился Бетти.

— Завтра вечером, к семи часам, господин клиент будет обслужен, — ответил Геннадий.

Не обратив внимания на нового посетителя, Бетти ушла.

Встреча с Генрихом, так она называла Геннадия, разволновала ее еще больше. Слезы подступили к горлу, сердце билось учащенно, было тяжело дышать.

«Ганс, дорогой мой, ненаглядный, родное дитя», — непрерывно повторяла Бетти.

Хозяин парикмахерской был хорошим приятелем ее мужа. Человек пассивный и тихий, он не состоял в партии. Его парикмахерская имела много клиентов, до войны у него работали четыре мастера. Но грянула война, и один за другим они ушли на фронт. Приходилось самому работать целый день, до поздней ночи.

Хозяин обратился на биржу труда, и через некоторое время ему прислали парикмахера. На борту пиджака нового работника резко выделялась синяя тряпка, на которой белыми буквами было выведено «Ost». Полицейский, сопровождающий русского, спешил, суетился, но все же прочитал хозяину указ о пленных.

Наконец он ушел, и хозяева принялись с любопытством рассматривать нового работника. Хозяин молчал, не зная, с чего начинать. Как с ним разговаривать, ведь он русский? Да и вообще, как он будет объясняться с клиентами?

Хозяйка пригласила русского на кухню. Когда были съедены бутерброды и выпито кофе, молодой парикмахер поблагодарил ее на чистом немецком языке. Супруги только удивленно переглянулись.

Первым клиентом Геннадия был старый Карл. Старик вздрогнул, когда парикмахер приветливо пригласил его в кресло. До чего же он напоминал его Ганса! Вечером Карл рассказал об этом Бетти.

На следующий день она открыла гардероб, сняла костюм сына, взяла несколько рубашек, туфли, завернула все это и направилась в парикмахерскую. Хозяйка Геннадия удивилась, когда к ней в маленькую уютную кухню с пакетом в руках пришла Бетти. Геннадий тоже не понял, почему эта женщина побледнела при его появлении.

— Возьмите, — еле слышно проговорила она.

С этого дня она привязалась к Генриху всем сердцем и душой. Два-три раза в неделю, когда гас свет в парикмахерской, Геннадий надевал подаренный костюм, завязывал галстук и уходил к старому Карлу. К его приходу Бетти специально готовила лакомства. Она заботливо усаживала гостя за стол, а Карл незаметно изучал нового знакомого.

Скоро началось то, чего так боялась Бетти. Карл с Геннадием закрывались в маленькой гостиной, включали приемник, жадно прислушиваясь к тихому говору, и о чем-то спорили. Геннадий что-то записывал, а утром, уходя на фабрику, Карл брал его заметки с собой.

Однажды Зоя обнаружила одну из таких записок у себя в кармане. Развернула ее и вздрогнула: «Мы победим!» Зоя начала пристально наблюдать за всем происходящим. Когда в ее кармане появилась еще одна записка, «Саботируйте! Долой войну!», она осмотрелась вокруг. Рядом возле ящика возился старый Карл. Закрывшись в уборной, огрызком карандаша Зоя написала: «Кто ты? Откликнись! Я твой товарищ». Затем вернулась на свое место и, осторожно посмотрев по сторонам, сунула бумажку в карман куртки старого Карла.

Вечером в маленькой гостиной Геннадий несколько раз перечитал записку.

— Как выглядит эта девушка? — спросил он Карла.

— Красивая, — улыбнувшись, ответил Карл и стал рассказывать о Зое, о русских девушках. Так все и началось...

Бетти посмотрела задумчивым взглядом на нежные стебельки тюльпанов. Они напомнили ей ушедшую юность.

Однажды после работы Карл пришел домой побритым и подстриженным. Он, как всегда, поцеловал Бетти и сказал:

— Сегодня у нас будут гости, я думаю, что ты сварить нам настоящий кофе.

Сначала пришел Генрих. Он был взволнован. В таких случаях он почти не отличался от ее Ганса. Как обычно, приветливо улыбнулся Бетти и направился к Карлу.

Бетти возилась на кухне. Ее мучила мысль: кто же придет, кого они ждут сегодня? Она боялась за себя, за Карла, за Генриха. Если полиция узнает, что в доме старого коммуниста часто бывают русские, то всех их ожидает виселица.

С наступлением темноты Генрих попросил у нее плащ и ушел по направлению к русскому лагерю. А Карл в это время нервно ходил по комнате, то и дело поглядывая на часы.

Кто-то постучал в окно кухни. Это вернулся Геннадий, с ним была девушка, укутанная в плащ Бетти. Она с любопытством осмотрелась вокруг и улыбнулась.

За столом Бетти заметила, что Генрих украдкой присматривается к Зое. Выпили кофе, хозяйка убрала со стола и, войдя в комнату, увидела возле маленького приемника уже три склоненные головы: седую, слегка дрожащую от старости, красивую, крупную Генриха и изящную головку Зои.

После первого посещения девушка приходила к ним регулярно. От Генриха Бетти узнала, что каждый раз Зоя уходила из лагеря тайно, подвергая себя смертельной опасности. В лесу ее ждал Геннадий, заботливо укутывал в плащ и приводил в дом к Майерам.

Солнце поднималось все выше. Теплые весенние лучи вывели Бетти из тяжелого раздумья. Нужно спешить. Она торопливо сорвала нежные тюльпаны, завернула их в бумагу, быстро накинула пальто. Она оставит их на улице, ведущей к кладбищу. Сегодня будут хоронить погибших при бомбардировке.

На кладбище придут только трое из лагеря и переводчица. Бетти точно знает, что одна из трех девушек нагнется и поднимет цветы, а потом положит их на могилу подруг. Дома, в России, их ждут матери. Сердце Бетти защемило. Может быть, в тот момент, когда гроб опустят в сырую могилу, там, в далекой России, мимо могилы немецких солдат пройдет простая русская мать. Могила, заросшая бурьяном, напомнит ей о погибшем сыне. И Бетти решительно зашагала к кладбищенской улице, прижимая к груди букет тюльпанов.



В. АРНАУТОВ (США).
Частная собственность,
доступ воспрещен.



В. АРНАУТОВ (США).
Проклятие войне.

Печальная весть облетела все бараки. Умер пленный Володя. Как во сне, донеслись слова лагерного полицейского:

— Раненые и те, кто должен пойти на кладбище, останьтесь в бараке, а остальные — марш на работу!

Громко плакала Вера, рядом тоже кто-то всхлипывал. На нарах лежали раненые. Тетя Женя, Вера и Настя тихо говорили об умершем Володе.

«Вот эти трое, наверное, пойдут на кладбище. Переводчица правильно выбрала», — подумала Зоя и снова опустилась на соломенный матрац. Перед глазами встало лицо Володи.

Это был коренастый парень среднего роста. Курчавый чуб часто закрывал его широкий лоб, и когда он рукой отбрасывал волосы назад, особенно выделялись его печальные глаза. Никто не знал, почему он был грустен. До некоторых пор это оставалось тайной. Но вдруг он начал таять, как свеча, и совсем слег. С ним дружила Вера, и когда она узнала о страшной болезни Володи, она его не бросила, не оставила в беде. Прежде всего она рассказала о нем немецким рабочим. Они часто делились с Володей бутербродами, а один крестьянин каждую неделю приносил ему пол-литра молока. Веру тошнило от голода, кружилась голова, но она не дотрагивалась до еды. А когда лагерь погружался в темноту, она, прячась от полицейских, перелезала через проволоку, проходила в мужскую половину, поспешно совала пакет под соломенный матрац и тихо шептала:

— Ешь, чтобы никто не видел.

Зоя приносила от старого Карла витамины и лекарства. Но болезнь брала свое. И вот сейчас для него все кончилось. Володя заснул навеки. Крупные горячие слезы капались по бледным щекам Зои. Проглотив подступивший к горлу комок, она приподнялась и села. Тетя Женя всплеснула руками от радости и сквозь слезы пролепетала:

— Зоенька, детка моя, отошла, очнулась, вот и хорошо. Молодец, девочка. — Она растерянно заметалась по бараку. — Вот твой паек, ешь. Настоящий хлеб! Специально для больных!

Глаза тети Жени сияли добротой. Но взгляд Зои был устремлен в угол барака, где стоял большой венок из красных и белых роз.

— Розы? Настоящие розы? — спросила Зоя.

— Да нет, не настоящие, из бумаги. Переводчица при-

несла бумагу, а Настя сделала венок и букеты, — сказала тетя Женя.

Проснулась Лина. Тетя Женя помогла ей надеть единственное праздничное платье. Она хотела убедить переводчицу взять Лину на похороны — ведь ноги-то у нее здоровые, ранена только рука.

Одевая Лину, тетя Женя вспомнила о вчерашнем свидании с Геннадием. Было темно, лица его она хорошо не рассмотрела, но его дрожащий шепот все время звучит у нее в ушах. Геннадий умолял ее смотреть за Зоей. Просил договориться с переводчицей и прислать в барак доктора. Прощаясь с тетей Женей, он протянул ей руку: рука сильно дрожала. «Как он любит ее, мою дорогую Зоеньку!» В последнюю минуту Геннадий поспешно вытащил из-под плаща пакет.

— Возьмите и, пожалуйста, не отказывайтесь, это от старой Бетти для вас и для раненых.

Она сунула сверток под платок и всю дорогу размышляла, куда его спрятать в бараке и что ответить, если кто-нибудь спросит, где она его взяла. Во дворе было пусто. Угрюмо и молчаливо стояли бараки. Только у ворот, у проходной будки, маячила сутулая фигура полицейского. Тете Жене стало неприятно. Этот за каждую мелочь мог ударить нагайкой, лишит на три дня пайка, в выходной день отправить в город чистить уборные.

Плотно прижав пакет под платком, она вошла в барак.

Сдобную булку разрезали на одинаковые кусочки. Тетя Женя рассказала, что какая-то старушка перебросила ей через проволоку пакет. Девушки осторожно кусали булку, боясь уронить хотя бы одну крошку, а тетя Женя тем временем шептала Зое о вчерашнем свидании с Геннадием:

— Он от волнения не мог даже говорить, боится за тебя, думает, что ты не встанешь без медицинской помощи. Да, а потом он еще сказал, что на второй день после той кошмарной бомбежки он гулял на пристани, и его прогулка прошла удачно.

Словно тяжелый камень упал с Зоиных плеч, она облегченно вздохнула. Ее Геня часто гуляет по пристани, и тогда совершаются славные дела. В такие дни на воле оказываются двое-трое советских военнопленных. Она гордилась своим другом и в то же время завидовала ему. Ей хотелось шагать с ним рядом, зайти в маленькую пивную, обменяться паролем, получить фальшивые паспорта для то-

варищей и уйти на пристань, взмахнуть клетчатым носовым платком хозяину перевозной яхты и мысленно сказать: «До свидания, счастливого пути, родные!» А затем каждый день с нетерпением ждать радостной вести, что товарный поезд умчал друзей на Восток.

Зоины мечты прервались. Вошла переводчица. Выглядела она печально и в то же время торжественно. Молча обвела взглядом собравшихся идти на похороны. Девушки как-то особенно принарядились. Глаза переводчицы остановились на Лине.

— А ты куда? — спросила она.

— Возьмите и меня, прошу вас, очень... Ходить я могу, — умоляла Лина.

Переводчица подумала секунду и разрешила.

Серьезные, подтянутые девушки направились к выходу. Полицейский открыл ворота. Шли молча. Прохожие бросали любопытные взгляды на девушек с Востока. До чего же хороши были прощальные розы, которые они несли в руках! А когда свернули на следующую улицу, тетя Женя заметила высокую мужскую фигуру в белом халате. Это был Геннадий. Проходя мимо, она рассмотрела его. Он стоял прямо, вытянувшись, как в строю, лицо его было строго и печально. «Ну и хорош хлопец!» — подумала тетя Женя. На углу улицы, ведущей к кладбищу, тетя Женя нагнулась. Переводчица сделала вид, что ничего не заметила. В пакете, завернутом в белую бумагу, оказались нежные яркие тюльпаны, на которых еще сверкали утренние росинки.

На кладбище было людно. Военнопленные французы с непокрытыми головами хоронили погибших товарищей. Кладбищенский сторож, не говоря ни слова, вручил нашим девушкам лопаты. Молча бросили они по горстке земли на грубые фабричные ящики, заменявшие гробы. Могилу быстро зарыли. Лина обошла холмик, поправила венок, а Вера дрожащим голосом сказала:

— Спите, девчата, для вас теперь все кончилось... и голод, и холод, и непосильный труд. Пусть же эта холодная, чужая земля будет для вас легкой...

Наступило лето. Воздушные тревоги стали обычным явлением. «Томми» и днем и ночью бомбили немецкие города, оставляя за собой смерть и пожары. Жизнь в лагере стала еще тяжелее. Часы, проведенные в укрытиях, приходилось отрабатывать. Рабочий день тянулся с раннего

утра до поздней ночи. Голод и усталость брали свое: женщины засыпали у станков, падали в обморок. В довершение всего прежнюю похлебку, содержащую хоть какие-то калории, заменили вареными картофельными очистками и гнилой капустой. Невыносимо болели животы, западали глаза, зеленели лица. Казалось, лишь природа старалась хоть чем-то скрасить существование этих несчастных людей, щедро согревая солнцем страдающий мир...

В двенадцать рабочие оставляли цехи. Зоя с Линой молча вошли в барак-столовую, наполненную резким запахом вареного гнилья. Женщины с отвращением ковырялись в вонючей баланде.

— Замечаешь, Зоя, девчата опухают?

— Да, Лина... нужно что-то делать. Но что? Отказаться от работы? Нет, так не пойдет. Единственный выход — объявить голодовку, отказаться от этой дряни. Заодно протестовать против того, что бараки на ночь закрывают на ключ. На прошлой неделе вблизи Кельна от бомбежки загорелся русский лагерь. Полицейский не успел открыть бараки. Сгорели семьдесят советских девушек. А чем мы гарантированы? Умирать не хочется, а сгореть заживо тем более...

— Ну, что ж, давай сегодня же вечером поговорим с девчатами, — поддержала Лина.

Отодвинув миску, Зоя задумалась. «Если вечером не будет налета, нужно встретиться с Геннадием, а потом со старым Карлом. Надо о многом поговорить, посоветоваться, необходимо что-то делать. Двести семьдесят семь человек в тюрьму не посадят и не убьют — ведь им же нужна рабочая сила».

Тяжело передвигая ноги, девушки возвратились в цех. Ровно, неумолчно гудели станки. Как всегда, фабричные полицейские ежечасно делали обход. Но вот, наконец, зазвонили звонки, рабочий день окончился. Получив порцию буракового хлеба и похлебав баланды, женщины построились по четыре в ряд. Полицейский широко открыл лагерные ворота, и колонна направилась на недолгий ночной покой.

Но и спать приходилось не всегда. Нередко всю ночь выли сирены. Полицейские открывали бараки и загоняли всех в щели. Набитые в них, как сельди в бочке, люди простаивали часами, ожидая отбоя. А иногда после отбоя приходилось отправляться прямо на работу. Тогда от усталости засыпали прямо на ходу. У станков каждый день

происходили несчастные случаи: то косы в машину втянет, то пальцы оторвет.

«Да, нужно что-то делать!..» — С этими мыслями Зоя шла к Геннадию. Встретились они в лесу. Взяв Зоины руки в свои, Геннадий несколько секунд молча и нежно смотрел ей в глаза. Потом говорили, как быть дальше. Геннадий поддержал предложение Зои: не оставлять работу, но наотрез отказаться от негодной пищи, объявить голодовку. На обратном пути, попрощавшись с Зоей, Геннадий долго, с тревожной грустью смотрел ей вслед.

Утром, перед подъемом, открывались бараки. Вера металась из одного барака в другой:

— Довольно нам вонючей баланды, мы не животные. Будем работать, но до баланды не дотронемся до тех пор, пока ее не заменят человеческой едой. Кто за голодовку, поднимайте руки!

Вопросительно поглядывая друг на друга, работницы поднимали руки. Голосовали почти единодушно. И лишь в одном бараке небольшая часть женщин не поддержала призыв к голодовке. Возвратившись к своим, Вера возмущенно говорила подругам:

— Что с ними делать? Вот посмотришь, Зоя, если кто-нибудь из них возьмет миску в руки, то буду ждать до тех пор, пока немка полную нальет, а потом — на голову...

В бараках шумели и кричали. Надзиратель бил резиновой нагайкой по столам и нарам.

— Замолчать, банда, замолчать! — орал он. — Большевики, коммунисты! Вон на улицу! Если кто откроет рот на улице, избью, как собаку. Вы не даете спать немецким женщинам и пугаете детей вашими воплями. Марш на работу!

Колонна двинулась из лагеря. Деревянные ботинки застучали по городской мостовой. В рядах тихонько переговаривались.

— Пускай Лида запеваает, она эту песню красиво поет, — сказал кто-то.

И Лида запела:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица...

Надзиратель подскочил к Лиде, схватив ее за обе косы, нагнул книзу. А колонна уже подхватила:

**Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья,
За вечный мир в последний бой
Лети, стальная эскадрилья!**

Улица вздрогнула, раскрывались окна. Сонные жители Кельна, затаив дыхание, прислушивались к непонятным словам песни. Кое-где замелькали носовые платки. Воодушевленные приветствием, женщины запели громче...

В день начала голодовки люди в цехах настороженно молчали. Только гул машин и глухие удары тяжелых прессов нарушали тревожную тишину. На совещания собирались в цеховых уборных. Решили не брать в руки мисок, а спокойно сесть за столы на свои места. Лина горячилась:

— Но если даже одна возьмет баланду, мы все потеряем!

— Я встану у котла, возле немки, — решительно сказала Вера. — И если хоть кто-нибудь подойдет...

— Только без горячки, — предупредила Зоя. — Что говорят девчата из цеха канистр?

— У них у каждой в кармане тяжелая гайка. Это для того, чтобы кулак был тверже и тяжелее...

Зоя побледнела:

— Никаких гаек, если придется, то, в крайнем случае, миской...

— Боюсь, что придется... — задумчиво проговорила Вера.

Часовая стрелка подвигалась к 12-ти. Последние минуты были просто мучительны. Но вот протяжно зазвонили звонки, и работницы потянулись к баракам-столовым. Здесь их встретил привычный запах гнилья. Немка в наутюженном переднике стояла на обычном месте. Девушки не спеша входили и садились на свои места, даже не взглянув на удивленную немку. Ненадежные, перешептываясь, вошли последними. Вера поспешно подошла к ним.

— Мы просим вас, даже не берите миски в руки, — сказала она женщинам.

— Комиссарка!.. — прошептал кто-то.

Немка поспешно наливала в миски. Одна из женщин, взяв миску, подошла вплотную к Вере, взглянула ей в глаза и ехидно повторила:

— Комиссарка!

Все случилось так быстро, что Зоя даже не успела открыть рта. Картофельные очистки очутились на голове у

Вериней противницы. Барак задрожал от криков: «Бейте продажных шкур!» Во все стороны полетели миски.

В барак вбежал надзиратель с нагайкой.

— Банда! — закричал он и принялся хлестать женщин. Немка выбежала и быстро вернулась с переводчицей и шефом. При виде их надзиратель опустил нагайку.

— Что тут делается? — строго спросил начальник лагеря.

— Дайте нам человеческую еду, мы не свиньи! — закричали женщины.

Шеф, бледнея, насторожился.

— Мы не отказываемся от работы, но дайте нам настоящую еду, — еще сильнее закричали со всех сторон.

Лагерный начальник поднял руку и, когда в бараке восстановилась тишина, не спеша заговорил:

— Все, что имеет великая Германия, это для ее великого народа. Сейчас вы наши пленницы. Не думайте о том, что мы каждый день будем жарить для вас пироги и класть вас спать на перины. Коммунистической России приходит конец. Великая германская армия освободила вас от коммунистического гнета. Наш великий фюрер будет фюрером всего земного шара. Германская раса — самая великая во всем мире. Бог с нами! Он поможет нам разгромить комиссаров, тогда наш фюрер даст вам полную свободу, он научит вас культуре. Вы отрежете косы, сделаете прически, наденете красивые платья и будете совсем как немецкие женщины...

Переводчица переводила фразу за фразой.

Как трава в поле перед грозой, вздрагивали грубые кофты с нашивкой «Ost» на груди. Но вот толпа заколыхалась, застучали деревянные ботинки. Вперед выступила тетя Женя. Стало тихо-тихо.

— В вашей свободе мы не нуждаемся, а свою свободу мы ждем и дождемся ее.

Переводчица закусила побледневшие губы.

— Переводите каждое ее слово! — приказал шеф.

— В данный момент мы просим от вас человеческой пищи, — продолжала тетя Женя. — Мы не свиньи, а люди и есть не будем до тех пор, пока вы не дадите нам пищу, которую можно есть. Перед вами стоят женщины, родившиеся на русской земле. Мы не желаем модных причесок, мы гордимся русскими косами. Мы хорошо знаем, что такое культура. Культурный человек не дает другому отбро-

сы. Еда, которую вы даете нам, непригодна. Мы готовы на голодную смерть, но к такой пище не притронемся...

Дрожащие губы переводчицы медленно произносили немецкие слова. Переводила она не все, что говорила тетя Женя, к тому же смягчала некоторые фразы. Она говорила шефу, что русские женщины понимают: великому германскому народу трудно прокормить стольких пленников, но они, русские женщины, протестуют против картофельных очисток. А в котле можно видеть всякую грязь, даже червей.

— Хорошо! — выкрикнул шеф. — Я попрошу немецких женщин вычистить русский котел.

Вперед выступила Вера. У надзирателя задергалась в руках нагайка от желания избить эту девушку до смерти. Сверкающие гневом глаза Веры встретились со взглядом лагерного шефа:

— Мы просим не закрывать бараки ночью на ключ.

Верин голос прозвучал так, что немец вздрогнул и, не дождавшись слов переводчицы, заорал во все горло:

— Raus! Arbeiten!*

Русский барак-столовая загудел от криков, застучали деревянные башмаки. «Голодовка, голодовка! Не закрывайте бараки на ключ!» Распахнулись окна, в них полетели миски. Десятки рук схватили котел, вытащили во двор. По траве полилось черное, вонючее месиво...

В цехе Зоя осмотрелась. Все были на месте. Взглянула в угол, где стоял станок старого Карла. Как всегда, сгорбившись, тот молчаливо работал. «Что думает сейчас Геннадий?» — подумала она. Нащупав огрызок карандаша в кармане, она оторвала кусочек серой бумаги от упаковки, пошла в уборную. «Дорогой мой, — писала она. — Мы начали, а что будет дальше, не знаю. Сегодня в обед мы объявили голодовку. До каких пор продержимся — тоже не знаю. Среди нас есть несколько ненадежных людей. Но все же будем держаться до тех пор, пока есть силы...»

Часовая стрелка показывала три часа, когда в цех вошли немецкие полицейские. Между двумя из них стояла Вера. Третий направился к месту, где работала тетя Женя. Взмахом руки он приказал ей остановить станок и следовать за ним. К концу дня все на фабрике уже знали о том, что русские женщины отказались от пищи, объявили го-

* Вон! Работать! (Нем.)

лодовку и что двоих из них арестовали. Вечером военнопленные французы, итальянцы, немецкие рабочие не сводили глаз с русских женщин, стоявших во дворе в ожидании конвоя.

— Давайте вспомним Дашины частушки, — предложил кто-то из девушек.

— Лида, начинай, а мы будем подпевать, — закричали со всех сторон.

— Начнем с припева все вместе, а то еще и Лиду заберут, — едва успела предупредить Зоя.

— Ах, ты, фюрер-задавака,
Ты убийца и собака,
Своей смертью не умрешь,
Ай, люли-люли, умрешь...

Мы и смерти не боимся,
Мы Россию гордимся,
А победа на пути,
Ай, люли-люли, пути...

Даже те немцы, которые мало чем интересовались, оставляли свой ужин и подходили к окнам столовой.

Колокольчики-звоночки,
В поле яркие цветочки,
Пора ягодок придет,
Ай, люли-люли, придет...

До Москвы не добредете,
К Ленинграду не дойдете,
Вам погибель на пути,
Ай, люли-люли, пути...

Девушек уводили со двора не двое, как всегда, а шесть фабричных полицейских. Надзиратель махал нагайкой и кричал:

— Замолчать!

Когда последняя из девушек скрылась за фабричными воротами, Карл все еще стоял у окна.

— Мне кажется, что только женщина, которая на груди носит «Ost», способна на такую смелость, — сказал кто-то из немецких рабочих.

Карл не повернулся, по-прежнему смотря на открытые ворота. По его морщинистой, старческой щеке скатилась крупная слеза.

Шел четвертый день голодовки. Дни тянулись мучительно долго. На фабрике у станков женщины падали в обморок, многих приходилось по нескольку раз выносить во двор и обливать водой. В столовой по-прежнему стояла все та же вонь от баланды.

От едкого запаха горячей стружки Зою тошнило. Иногда же этот запах вдруг ассоциировался почему-то с запахом хлеба или густого украинского борща с чесноком и салом. Из головы не выходили тетя Женя и Вера.

Особенно тяжело переживала отсутствие тети Жени Мара. Девочка стала совсем прозрачной, на исхудавшем теле едва держалась одежда. От Лины она не отходила, а ночью, когда в бараке гас свет, тихонько пробиралась к Лениным нарам и ложилась с ней. При виде лагерного полицейского Мара дрожала так, что у нее стучали зубы. Зоя уже знала, что родители Мары убиты фашистами. Каким образом она попала в лагерь? Подробности о ее прошлом были известны только тете Жене. Сейчас Лина днем и ночью держит девочку возле себя. Если надзиратели узнают, что Мара еврейка, девочке придется распрощаться с жизнью. А то, что ей очень хочется жить, Зоя видит, чувствует. Да и вообще, кому хочется умирать? А погибли уже сотни тысяч. Почему гитлеровцы уничтожают евреев? Впрочем, немцы тоже не все плохие, вот, например, Карл и Бетти. А сколько немцев подходит к лагерной проволоке, и многие даже перебрасывают пакеты с едой или одеждой!

Зоя никогда не думала, что будет жить за проволокой, что будет ходить под стражей. Ведь она никогда и никому не сделала ничего плохого: до этого кошмарного времени она жила в мире и спокойствии. И, стоя за станком, девушка мечтала, мечтала о мире и верила в то, что скоро отгремят последние залпы войны.

Утром в условленном месте она нашла записку. И, хотя она была без подписи, Зоя знала, от кого записка. «Не сдавайтесь, держитесь, они уступят вам. Враг на всех фронтах поспешно отступает». От волнения у Зои закружилась голова. Несколько раз подряд перечитала она последнюю строчку. Зоя видела уже конец всем издевательствам и мучениям, видела себя свободной...

Начальник городской полиции Вернер Юлендаль настояжился. В голосе лагерного шефа фабрики «Айзенверк» чувствовалось непривычное волнение.

— Говорите медленно, я не понимаю вас, — сказал он в телефонную трубку.

— Фабричный санитар, — начал несколько медленнее шеф, — говорит о какой-то эпидемии, которая может разразиться среди этих идиоток. Они падают от голода в об-

морок прямо у станков. Это может причинить большой вред производству. Нужно что-то делать, они не сдаются. Нагайки не помогают, план явно не будет выполнен. Вчера вечером вернули заказ — непоправимый брак. Мы не можем возле каждой русской ставить полицейского или одну за другой вздернуть их на виселицу. Четырнадцать наших рабочих сегодня утром отправились на Восточный фронт. Где брать рабочую силу? Вы понимаете, к чему это приведет, господин Вернер? Я могу потерять свое место. Шеф-повар отказывается дальше задерживать продукты и говорит, что не хочет отвечать ни за что. Может быть, сегодня вечером заберете продукты сами, и мы договоримся, как покончить с этой историей. Впрочем, попробуйте прислать к обеду полицейских, может, и заставим их жрать...

В обед женщины с нашивками «Ost» столпились во дворе.

— Полиция, — шептали со всех сторон.

К кухонному двору спешили городские полицейские. Их было человек пятнадцать. Нервно поигрывая резиновой нагайкой, впереди шел сам Вернер Юлендаль. Голодная толпа застыла и замолчала. Юлендаль расставил у входа в русский барак-столовую полицейских, а сам направился к насупленной толпе.

— Essen!* — приказал он.

Толпа молчала.

— Essen! — закричал он.

Никто не шелохнулся.

Юлендаль кивнул своим подчиненным.

Полицейские бросились на беззащитных женщин. Завистели нагайки. Кто-то закричал нечеловеческим голосом, кто-то упал на землю. От женских криков военнопленные французы, итальянские и немецкие рабочие повскакивали с мест. Расправляясь с беззащитными женщинами, полицейские загнали их в барак. У котла встал Вернер Юлендаль. Когда в бараке наступила тишина, он крикнул так, что задрожали даже стекла в окнах:

— Essen!

Женщины молчали, не трогаясь с места. Юлендаль пальцем указал на Зою. Двое полицейских схватили ее за руки, поволокли к котлу и сунули головой в горячую баланду. Толпа застонала и ринулась на полицейских. Зубы Насти вонзились в пухлую руку немца, державшего

* Есть! (Нем.)

голову Зои. Полицейский закричал от боли. Чья-то рука ударила половником другого, и тот разжал руки. Девушки подхватили Зою и оттащили в угол столовой. Барак забурлил. Нечеловеческие вопли смешались со звоном выбиваемых окон. К бараку стеной подошли военнопленные французы, итальянцы. К ним присоединились немецкие рабочие в синих комбинезонах.

— Оставьте женщин в покое, изверги, мучители, палачи! — кричали на разных языках. Со двора ломились в закрытую дверь...

Вернер Юлендаль почувствовал, что все затеянное принимает серьезный оборот...

В цехах уже давно прозвонили звонки. Темно-синяя легковая машина остановилась у главной конторы фабрики. Вилли Адам, главный инженер, войдя в свой кабинет, пробежал глазами приготовленные для него бумаги, улыбнулся смазливой секретарше и надел белый халат. Один раз в неделю он делал обход фабрики. Накануне мастера заставляли русских подметать цехи, чистить до блеска станки. Когда Вилли Адам останавливался у того или другого станка, за которым стояла девушка с нашивкой «Ost», он обращался к ней не иначе, как «фройляйн».

Сегодня Вилли Адам не мог понять, что происходит на фабрике. Мастера дрожат, как в лихорадке, никто не работает. Вилли Адам удивленно обвел глазами цех.

— Что все это значит? — спросил он у мастера Отто.

— Они объявили голодовку, вернее сказать, забастовку из-за негодной пищи, отказались от обедов и даже от хлеба.

— Кто объявил голодовку и отказался от обедов и хлеба?

— Женщины с Востока, — вытирая вспотевший лоб, заикаясь, ответил Отто.

— Они отказались от работы тоже? — спросил главный инженер.

— Нет, господин Адам. Они работали до сегодняшнего обеда. Они падали у станков в обморок, придя в себя, опять становились за станки. Мне было их очень жаль, ведь они женщины...

Отто говорил что-то еще, но Адам перебил его:

— Где они сейчас?

— В столовой, господин Адам.

Адам повернулся к двери.

— Не ходите туда, вам будет неприятно стать очевидцем этой сцены. Там городская полиция, сам господин Юлендаль прибыл, господин главный инженер, прошу вас...

Вилли Адам отстранил мастера и быстро направился к столовой.

Во дворе в это время толпа рабочих штурмовала дверь русского барака, который содрогался, готовый вот-вот развалиться. При виде главного инженера люди затихли и расступились. Адам подошел к двери и остановился в раздумье. Толпа вновь загудела, закричала, послышался треск — это рухнула взломанная дверь. Револьвер Вернера Юлендаля уткнулся в грудь главному инженеру. Стало так тихо, что было слышно жужжание мух...

— Вы доблестно защищаете интересы родины, — обратился Адам к начальнику городской полиции, с презрением глядя на него. — Но вы здесь не нужны.

Юлендаль покраснел, глаза его налились кровью.

Вилли Адам отвернулся.

Он видел, как уходили рабочие в цеха, он видел, как Вернер Юлендаль, сопровождаемый полицейскими, скрылся в фабричных воротах. Его окликнула переводчица. Не взглянув на нее, он попросил прислать к нему повара.

— Слушаю вас, господин главный инженер, — еле проговорил побледневший от страха повар фабричной кухни.

— Прошу без оправданий, — спокойно заговорил инженер. — Даю вам один час, и чтобы на столе у восточных женщин стоял обед, пригодный для употребления.

Фабричный двор опустел, только около кухни бегали и суетились рабочие. Взгляд Вилли Адама скользнул по фабричным корпусам. Уже девять лет он работает главным инженером у фабриканта Мюллера. Миллионер целыми месяцами не заглядывал на фабрику, все заботы лежали на плечах Адама.

— Господин, — тихо позвал его кто-то.

Адам резко повернулся. Перед ним стояла девушка в рабочем костюме. Она быстро заплетала длинную мокрую косу. На припухших губах ее запеклась кровь.

— Цвай медхен, — сказала она и скрестила пальцы, изображая решетку. Адам понял, что двое из ее подруг в заключении.

— Хорошо, я разберусь, — ответил он.

Окровавленные губы девушки дрогнули, она тихо сказала «данке» и отошла.

Инженер хотел позвать ее, но тут же передумал. Он

вспомнил песню, которую случайно услышал от подвыпивших солдат, приехавших с Восточного фронта в отпуск. «Шварце Наташа» — часто упоминали они в песне. «Может быть, и ее зовут Наташей», — подумал Адам. Он вернулся в кабинет. Приказал секретарше никого к нему не пускать и уселся за стол. Поднял голову только тогда, когда на фабричном дворе застучали деревянные ботинки. Адам закрыл глаза. «Данке, данке, данке». Перед его взором вставали окровавленные губы.

Лето прошло, наступила холодная, сырая осень, а за нею быстро пришла зима. Лужи затянулись тонким льдом и серебряными пятнами блестели на солнце. К вечеру воздух наполнялся морозцем, ночью порошил мелкий пушистый снежок.

Ночь была темная и тихая. Все спали непробудным сном. Только Зое не спалось. Она слышала, как в соседнем бараке стукнула ставня, а потом где-то далеко пропел петух. Скоро подъем, а она так и не уснула...

Зоя встала, включила лампу и начала наводить свой скромный туалет. Всматриваясь в кусочек кривого зеркала, она вспомнила забастовку. После ожога на лице осталось только несколько красных полосочек, которые на холоде всегда синели.

Прошлой ночью выли сирены и рвались бомбы. Кельн был похож теперь на свалку. Ни дождь, ни снег не могли затушить пожарниц, город окутался едким туманом. Никто не думал уже о бумажных цветах, никто не ходил на кладбище: убитых сваливали прямо в кузова машин и увозили к могильным ямам.

Пустели нары в бараках. В воскресенье пришлось расстаться еще с несколькими подругами. Взлетали на воздух квартал за кварталом, фабрика за фабрикой. Прижавшись друг к другу в щели, девушки с Востока ждали смерти. Они уже давно обменялись адресами, и у каждой в надежном месте хранился лист со множеством фамилий и адресов. Теперь эти листы пестрели черными прочерками или надписями: «убита», «погибла», «умерла»...

Испуганные, истерзанные, девушки тоскливо шептали: — Может, ты останешься жива... Скажи маме, если чем обидела, пусть простит...

Только утром все затихло. Никто не заметил рассвета. Город пылал. Девушки вернулись в бараки. Не успели опомниться от кошмарной ночи, как в лагерный двор въе-

хали грузовые машины. Немецкие солдаты загнали в машины оторопевших от страха девчат... Машины остановились около разбомбленного моста через Рейн. Там суетились немецкие солдаты в обгоревшей форме, с измазанными лицами.

— Расчистить дорогу! — заорал офицер. В воздухе зашвистели нагайки.

Зоя слышала только одно слово: «Schnell, schnell!»* — и ощущала острую боль во всем теле от ударов нагайки. Она плохо помнила, что было дальше.

Сначала она бежала, бежала изо всех сил, потом упала, хватала окровавленными пальцами землю — ей казалось, что земля расступится и укроет ее. Когда все стихло, она встала и, шатаясь из стороны в сторону, побрела куда глаза глядят.

Вокруг стонали раненые, кричали, просили о помощи, протягивали руки, молились. Зоя за что-то зацепилась, упала. Рядом с ней, раскинув руки, лежал немецкий солдат с распоротым животом. Зою затошнило, и она потеряла сознание. Но кто-то подхватил ее на руки. Очнувшись она только в бараке.

Зоя оглядела барак, с грустью посмотрела на нары, где раньше спали Вера с Настей, съежилась от холода и задумалась. По ночам ее мучили кошмары. Переворачиваясь с боку на бок, Зоя вспоминала события прошедших дней. Геннадия она уже давно не видела. В городе рыскала тайная полиция. Парикмахерская, где работал Геннадий, и днем и ночью была под наблюдением. Но старому Карлу все же удавалось приносить Зое записки. Короткие, лаконичные, они возвращали заключенным жизнь, надежду.

Когда Зоя однажды прочитала строки о том, что генерал Паулюс с остатками разбитых войск сдался в плен под Сталинградом, руки ее задрожали, она жадно прочитала записку несколько раз подряд. Прижимая маленький клочок бумаги к сердцу, Зоя улыбалась, сдерживая слезы. К вечеру радостная весть облетела весь лагерь.

Лагерь торжествовал. Девушки плакали, смеялись, прощали друг другу обиды, обнимались, целовались.

Гитлеровская армия терпела поражения на всех фронтах. Немцы проклинали Гитлера и его партию.

Набросив на себя потрепанное серое одеяло, Зоя села на нары. Она вспомнила инженера Адама. В последнюю

* Быстро, быстро! (Нем.)

ночь забастовки в его конторе долго горел огонек, он торопливо ходил по комнате. А через неделю пришел на фабрику в форме немецкого офицера. Адам протянул руку помощи женщинам с Востока и получил за это самое страшное наказание, о котором с дрожью говорили немцы, — Восточный фронт. С тех пор прошло больше года. Теперь уже сами немцы голодали.

Услышав шаги надзирателя, Зоя сбросила с себя одеяло и встала. Затем все повторилось так же, как два года тому назад. Застучали по мостовой деревянные ботинки, только раньше этот топот был сильнее, громче, не такой жалкий и глухой. Строй день ото дня редел. В одно только утро погибло семнадцать девчат. Перед Зоей одно за другим вставали лица погибших подруг. Молчаливо брели девушки. Под ногами хлюпала грязь. Холод обжигал ноги. Съежившись, вобрав голову в плечи, шагала Зоя. Недобрые мысли одолевали ее.

На фабрике Зоя отыскивала глазами тетю Женю, Лину, Марусю. Заметив их вылинявшие и изъеденные молью косянки, Зоя успокоилась.

Деталь в станке напомнила ей играющую пластинку. Сколько приятных и счастливых вечеров в красном уголке техникума она может вспомнить! Так же вот крутилась в патефоне пластинка. Только тогда никто не думал о войне. Счастье, любовь, радость — вот о чем мечтали девчата. Зоя тоже мечтала о красивом, и она была уверена, что счастливой можно быть в кругу хороших друзей, в прекрасном парке или у синего моря. Но в те годы она еще не знала, что можно любить и быть желанной в голод, стужу, каждую минуту ожидая смерти. И она снова и снова вспоминала последнюю записку Геннадия:

«Незабываемая моя, любимая и дорогая! Если бы ты знала, как тяжело я переносу нашу разлуку! Хотел встретиться с тобой, но нельзя, мы можем совершить непоправимую ошибку и подвергнуть опасности товарищей. Уже недолго осталось ждать. Скоро, очень скоро взойдет солнце.

Любящий тебя друг».

Мысль о письме подбодрила Зою. Счастливая улыбка преобразила ее лицо. Но вертящаяся деталь в станке напомнила об ужасном настоящем, о пролитой крови, о мучениях, о войне...



В. АРНАУТОВ (США).
Американский континентальный конгресс сторонников мира.



В. АРНАУТОВ (США).
В море.

Весна 1945 года пришла как-то сразу. Унылый и голый лес быстро покрылся молодой листвой, похорошел, благоухал. Солнце светило все ярче. По утрам, не давая спать жителям, суетились и кричали вернувшиеся из далеких стран птицы.

Каждый день через Кельн пролетали сотни неуклюжих бомбардировщиков. Доносились глухие взрывы бомб, а иногда горизонт озарялся розовым светом. На фабрике немцы шептались друг с другом, смотрели на все внимательным взглядом, но не решались вслух сказать о победе России. Все было понятно без слов: немцы стали услужливее, приветливее, никто уже не осмеливался ударить или оскорбить девушку с Востока. Даже лагерный надзиратель прекратил истязания. Теперь лишь изредка его можно было видеть в контрольной будке; целыми вечерами он просиживал в немецкой половине первого барака. В прежние времена девушек после работы в субботу отправляли в город чистить мусорные ямы и отхожие места. Теперь эту унижительную работу отменили. Уже несколько недель девушки отдыхали в субботу.

Весна была в полном разгаре. Теплело, утром ветерок приносил с собой запах поля, вечером благоухали цветы. Зоя часто заходила к старому Карлу и возвращалась всегда довольная, счастливая. О своих встречах она рассказывала скупно и на вопросительные взгляды девчат, улыбаясь, отвечала:

— Наши не просто наступают, они мчатся, мчатся, что есть силы, чтобы помочь таким, как мы.

В один из таких вечеров Зоя задержалась дольше обычного. Тетя Женя волновалась. От горестных дум ее отвлекала Лина, задававшая философские вопросы:

— Тетя Женя, а как вы думаете, есть бог на свете?

Тетя Женя покраснела от возмущения:

— Если бы он существовал, то он ни за что бы не создал Гитлера, этого ирода...

— А почему тогда у немецких солдат на поясах написано: «С нами бог»?

— Потому что именем бога Гитлер хочет оправдать смерть миллионов.

Лина знала, что вопрос о существовании бога всегда выводит тетю Женю из равновесия. Она сердится, краснеет. Но сегодня они так и не договорили до конца — за проволокой в кустах мелькнула Зоина фигурка. Тетя Женя об-

легченно вздохнула. Зоя была возбуждена и взволнованно рассказывала:

— Нужно помочь переправиться двум военнопленным на ту сторону Рейна. Они вели большую подпольную работу в лагере. Но их предали. Один из них врач, другой — рабочий. Верные люди предупредили их вовремя, и им удалось скрыться. Пока они спрятаны в подвале пустующей дачи, но там их могут найти каждую минуту. Тем более, что арестовали нескольких товарищей в лагере и уборщицу из лагерной полиции. Мы и собрались у старого Карла по этому вопросу. Приготовили паспорта для этих людей. А знаете, девчата, как это делается? Бетти положила на печать настоящего паспорта сваренное вкрутую яйцо. Печать очень быстро перешла на яйцо. А затем этим же яйцом поставили печати на другие паспорта. Правда, здорово?! Геннадий весь вечер был мрачный, неразговорчивый. Он сказал: «Это очень и очень опасно. Рейн охраняется гестапо. По-моему, девушкам не следует рисковать...» И вот тут-то начались споры. Одни высказывались за то, чтобы идти и помочь товарищам, другие предлагали подождать. После бурного обсуждения решили начать завтра вечером...

Зоя опустила голову и замолчала. Наступила тишина. О чем думали эти девушки, прислушиваясь к биению собственных сердец? Уже давно стемнело, лагерный двор опустел, но девушки не замечали ни темноты, ни пустоты, каждая по-своему воспринимала большое и опасное дело. Зоя тяжело вздохнула. «Боится», — мелькнула мысль у Лины.

— Как обидно... — заговорила опять Зоя. — Я думаю об уборщице Ане. Мне очень завидно. Вокруг нас совершаются большие и серьезные дела, а мы сидим и радуемся уже сделанному.

Лина нетерпеливо перебила ее:

— Молчи уж, Зоя, стоит вот сейчас завывать сиренам, и ты от страха забьешься в нору, тебя и не увидишь! А еще на фронте была!

Зоя вспыхнула.

— Я бомбежки не боюсь, Лина, я боюсь глупой смерти. Я готова умереть в любую минуту, но совершить подвиг во имя Родины...

— Только без упреков, я этого терпеть не могу, — вмешалась в разговор тетя Женя.

Лина покраснела, потупила взор и после небольшой паузы обратилась к подруге:

— Если бы бог был на свете, я помолилась бы, Зоенька, за твою удачу. Извини меня, пожалуйста.

— Если ты, действительно, уж такая верующая, то помолись лучше за себя. На берег Рейна мы пойдем вместе...

Лина чуть не вскрикнула от неожиданности. Ей хотелось сказать Зое теплые, искренние слова благодарности, но она не смогла, а только молча придвинулась к ней и крепко обняла.

Случилось это в одно из воскресений 1945 года. Для тети Жени это воскресенье было необычным, оно навсегда осталось в ее памяти. Зоя и Лина крепко спали в то утро, и ей пришлось их долго будить.

— Я целую ночь не могла уснуть, — оправдывалась Зоя, — только к утру удалось. Все время какая-то чепуха лезла в голову, противно даже вспоминать.

Около восьми часов они собрались уходить.

Зоя выглядела веселой и бодрой, Лина заметно побледнела.

— Счастливого пути, мои дорогие, будьте осторожны и благоразумны, — по-матерински напутствовала их тетя Женя. Она долго-долго смотрела им вслед, пока они совсем не скрылись из виду.

В лесу девушек ждал Геннадий. Он вытащил из пакета два аккуратно свернутых светлых плаща и две шляпки с разноцветными перьями.

Зоя торопливо отстегнула от жакета нашивку «Ost» и положила в карман плаща. Лина последовала ее примеру.

— Значит, действовать будем так, — начал Геннадий. — Сейчас они в пивной, это недалеко от берега. Паспорта у них есть. В пивную я не зайду, но направимся туда мы все вместе. За первым столиком слева вы увидите их, оба они прилично одеты. Обратите внимание на туфли и галстуки. Туфли черные, галстуки темно-серые. Садитесь сразу же за их стол и здоровайтесь по-немецки. Они вас спросят, что вы пьете, а хозяин сразу принесет вам по стакану сока. Это наш пароль.

Геннадий говорил четко, не спеша. Обе девушки слушали его внимательно.

— Не забудьте улыбаться вашим спутникам, представьте себе, что вы влюблены и просто гуляете по берегу Рейна. Ты, Лина, пойдешь первая. Лодка будет стоять около

камней, чтобы в нее легко можно было прыгнуть... Когда твой спутник сядет в лодку, ты сразу же должна будешь скрыться в кустах. А потом пойдешь ты, Зоя, и сделаешь то же самое. В лодке будет сидеть мужчина — это наш человек с той стороны. — Геннадий замолчал. Он пристально посмотрел на девушек, потом взглянул на часы. — Счастливого пути, девчата. — И он по-мужски пожал руку Лине, а Зою крепко обнял.

Лина медленно пошла вперед, но они вскоре догнали ее. Не доходя до пивной, разошлись. Девушки направились в пивную, а Геннадий спустился вниз и сел на лавочке среди кустов розового шиповника. Отсюда можно было хорошо видеть и лодку, и берег.

Стоял хороший, солнечный день. Всю ночь Геннадий с нетерпением ждал его прихода. И вот он наступил, ясный, но полный тревог. Геннадий дождался девяти часов, а затем, сказав хозяйке, что идет в русский лагерь к товарищам, быстро зашагал по направлению к лесу.

Утренним поездом Эмиль привез русских в Кельн. Со станции через лес они добрались до Карла. Там переоделись, поели и отправились вместе с Эмилем в пивную. У Карла оставаться до вечера было невозможно.

Перед уходом русский врач растроганно сказал:

— Очень сожалею, что мы доставили вам столько забот, от всего сердца благодарю вас, немецкие друзья, за помощь.

— А с вами, — обратился другой военнопленный к Геннадию, — мы обязательно встретимся после победы на Родине. Мы еще будем вместе строить новую жизнь. А пока льется кровь, многие отдадут свои жизни за это новое счастье, за правду и вечный мир, за нашу свободу и за русскую землю.

Они оба крепко пожали Геннадию руку. Геннадий улыбнулся.

— Я думаю, что наши девушки вам очень понравятся. Черненькая отлично говорит по-немецки, а другая — моя будущая подруга жизни.

— Как раз кстати, — весело сказал тот, что помоложе. — Я-то женат, а вот доктор еще не успел. Может быть, и приглянется ему эта черненькая.

Доктор ничего не ответил, а только покраснел.

Вспоминая все это, Геннадий с тревогой посматривал на берег. Пока все было в порядке, гуляющие расходились, берег заметно пустел. Около скалы одиноко покачивалась

маленькая лодка. Но вот на берегу показалась пара. Это была Лина. Она держала под руку доктора. Увлеченные разговором, они направлялись к скале. Геннадий видел, как доктор ловко прыгнул в лодку, а Лина скрылась в кустах. Он облегченно вздохнул.

Спускался вечер. В Рейне отражалось красноватое зарево заката, от берега веяло прохладой. Взгляд Геннадия стал зорче. По берегу шла Зоя со вторым военнопленным. Геннадий отчетливо видел, как он проворно прыгнул в лодку, и лодка отчалила от скалы. И в ту же минуту Геннадий увидел двух незнакомцев в белых плащах и в шляпах. Они почти бежали. Зоя тоже заметила их, но не скрылась в кустарнике, чтобы не выдать Лину. Твердо ступая, высоко держа голову, она шагала им навстречу.

— Стой! — крикнул один из незнакомцев.

Зоя остановилась.

— Руки вверх! — приказал тот же голос. Она не шелохнулась, мысли, как молнии, мелькали в ее голове.

«Другого выхода нет, — решила Зоя. — Бежать уже поздно. Пусть они сразу увидят, кого берут. Это не клеймо, это гордость моя». И она опустила руку в карман плаща, чтобы достать оттуда повязку с надписью «Ost». Раздался выстрел. Зоя пошатнулась и упала. В тот же момент рука сыщика резко опустилась на плечо Геннадия. Зоя открыла глаза, посмотрела на Геннадия, чуть заметно улыбнулась. Потом взгляд ее затуманился и потух...

Когда Лина очнулась, гудели сирены воздушной тревоги, ревели моторы бомбардировщиков, рвались бомбы. Небо светилось множеством прожекторов. Она сначала ничего не понимала и не сразу представила себе картину на берегу Рейна.

«Зою застрелили, Геннадия схватили, а я лежу здесь в канаве. Как я попала сюда?» — думала Лина.

Напрягая память, она вспомнила, что, когда раздался выстрел и Зоя упала, она, не понимая, что делает, побежала в глубь леса и, как ей казалось, вскочила в канаву. Это была воронка от бомбы.

Вокруг все грохотало. Бомбили Рейн. Лина искала шляпу и не могла найти ее, плащ прилипал к ногам. Приподнявшись, она сняла его и энергично принялась шарить рукой в липкой грязи. Наконец обнаружила и шляпу. Разгребая руками рыхлую грязь, Лина вырыла небольшую яму и спрятала в ней плащ и шляпу.

«Куда же теперь? — подумала она. — Никуда — только в лагерь».

Она шла, падала, ползла. Вся в грязи, она добралась наконец до лагерного ограждения. Во дворе не было ни души. Все укрылись в щелях. Лина прилегла у проволоки и забылась. Начало стихать, один за другим гасли прожекторы. Послышался гудок отбоя. Вокруг дымились пожарища, на Рейне горели пристани и пароходы.

Когда люди начали выходить из убежищ, Лина пролезла через проволочное ограждение и присоединилась к толпе. Заметив Лину, тетя Женя испуганно посмотрела на нее, закрыла глаза и до крови закусил губу. Лина совсем выбилась из сил и, едва выговаривая слова, начала рассказывать.

— Зойка моя ненаглядная... — прошептала она и рыдалась.

После бомбардировки обитатели барака не сразу заметили Зоино отсутствие. Только утром, когда в цехах застучали машины, все обратили внимание на пустующий станок. Со всех сторон доносился шепот: «Зойка исчезла». Каждый истолковывал это событие по-своему. Вечером страшная весть облетела весь лагерь. В барак вошел надзиратель с белым листком в руках, и люди замолкли. Коверкая Зоину фамилию, он прочитал:

— «Ильченко Зоя вчера на берегу Рейна при бомбардировке была убита осколком бомбы».

Спрятав бумагу в карман, он обвел негодующим взглядом девчат.

— Verstehen Sie mich?* — крикнул он и, ехидно улыбаясь, добавил: — Kaputt. — Уже у самой двери приказал никому из барака не выходить.

Тетя Женя вынула из чемодана список и жирной чертой зачеркнула «Ильченко Зоя из Харькова», а напротив написала: «Помогая двум советским военнопленным переправиться на другую сторону Рейна, была зверски застрелена фашистами».

Все не успели опомниться от страшного известия, как в лагерьный двор въехала черная крытая машина.

— Какого-то парня привезли и водят по баракам! — крикнула одна из девушек в открытую дверь.

Лина побледнела.

— Возьми себя в руки, — шепнула тетя Женя.

* Понимаете? (Нем.)

Слова доносились до сознания Лины откуда-то изда-лека.

У дверей послышались шаги, возня и брань по-немецки. Первым вошел надзиратель, в руках у него была нагайка.

— А ну, выходите вперед! — заорал он и начал хлестать нагайкой по нарам, выгоняя вперед испуганных девчат. Полицейские волокли окровавленного парня.

— Кто его знает? — кричал переводчик. — Это вор и убийца!

Кроме тети Жени и Лины, здесь никто не знал его. Это был Геннадий. Измученный и беспомощный, он стоял перед женщинами. На голове у него вместо красивых черных волос была сплошная рана. Одного глаза совсем не было видно, он заплыл кровавым синяком. Истерзанное тело едва прикрывалось клочками одежды.

Чтобы не упасть, Лина облокотилась на руку тети Жени. У нее дрожали ноги, кружилась голова, лицо Геннадия было словно в тумане. Коверкая русские слова, переводчик бросался на девчат.

— А-а, вы не знаете его, русский сучка!

Никто не дрогнул и не шевельнулся. Он еще долго кричал, оскорбляя девушек грязными словами. А потом эти изверги ушли, волоча за собой окровавленное тело. Девушки прильнули к окнам.

— В мужскую половину повели... — тихо сказал кто-то.

Лина в изнеможении опустила на нары, в висках стучало. Ей было холодно.

В бараке у мужчин стояла тишина. Переводчик злым взглядом осматривал заключенных.

— Кто знает его? — крикнул он, и полицейские бросились на Геннадия. Нагайки глухо опускались на плечи и спину несчастного.

Подойдя к одному из мужчин, переводчик открыл перед ним портсигар. Стало еще тише. Мужчина, улыбаясь, затянулся и выпустил изо рта струйку пахучего дыма.

— Ты знаешь его, хлопец? — приветливо спросил переводчик. Улыбка исчезла с лица мужчины. — Говори, хлопец. А кто из лагеря знает его еще?

Перед глазами заключенного мелькнули лица: Лина, тетя Женя, домик на опушке леса... Сигара выпала из его рук. Переводчик зло наступил на нее ногой.

— А-а, смеяться надо мной? — заорал он и, размахнувшись, изо всех сил ударил заключенного кулаком в лицо так, что из носа его брызнула кровь.

Посылая проклятия в сторону русских, толкая Геннадия, полицейские повели его к черной машине. Девушки отошли от окон.

— Увезли, — грустно заметила одна из них.

Лина уже ничего не слышала и не видела. Ей не хватало воздуха, было трудно дышать. Тетя Женя положила ей на лоб влажную тряпку. Девушки обступили нары, Маруся гладила руку Лины и тихо всхлипывала.

— Как бы не умерла, — прошептал кто-то.

— Она будет жить, — твердо сказала тетя Женя. — Все пройдет, мы все вынесем. И те, кто сложил голову за нас, тоже будут жить... В наших сердцах они будут жить до последней минуты, их не забудут наши дети, внуки и правнуки.

Лина повернулась на нарах, пересохшие губы прошептали:

— Солнце всходит...

Девушки переглянулись. На дворе был поздний вечер, веял холодный ветерок, небо затянулось тучами, моросил мелкий дождик. А Лина видела солнце, оно всходило, слепило ей глаза и грело... Девушки в недоумении смотрели на тетю Женю.

— Солнце уже вошло на Востоке... — плача сказала она. — Советская Армия окружает Берлин, она несет нам освобождение.



ЧТО ЖЕ ТЫ МОЛЧИШЬ?

**В ночи спеша по улице прямой,
Откуда-то, наверное, домой
Идет калека в лунном далеке,
Пустой штаниной машет налегке.
С трудом ступает он одной ногой,
Стучит костыль по гулкой мостовой.
А сколько в мире их, таких калек,
Как этот хилый, бледный человек!
Ну, а за что, за что сражался он,
За дымный Рур или шелковый Лион?
Не знал он сам, куда стрелял, бежал,
Чьей жертвой стал, зачем он убивал.
Теперь, калека, что же ты молчишь?
Ты поумнел, так что же не кричишь,
Что в эту ночь под мирною луной
Маньяки бредят новою войной?**

ТОМУ НЕ БЫТЬ!

**Тому не быть, чтоб солнце для войны
Светило людям в разных странах,
Чтоб мать-земля сгорала в ранах
И люди гибли без вины!**
**Тому не быть, чтоб мы из рода в род
Лишь для войны растили поколенья
И чтоб народ в безумье истребленья
В своей крови топил другой народ.
Чтоб страхом бились звуки в голосах
И чтоб теперь, как в день вчерашний,
Солдат бросался в рукопашный
С застывшим ужасом в глазах!**



ВСТРЕЧА С РОДИНОЙ

ИЗ ДНЕВНИКА

В ПЕРВЫЕ я пишу сочинение не для школы и не на французском языке. Мне даже не хочется называть мою первую пробу пера сочинением. Это слово напоминает уроки, а мне просто хочется рассказать о нескольких волшебных днях, о том, как русская сказка вошла в мою африканскую жизнь и оживила, осветила ее. Хочу сделать это именно сейчас, пока свежи впечатления, а позже, в особо тоскливые минуты, я буду перечитывать написанное.

Возможно, что кто-то другой ознакомится с этими воспоминаниями. Этим неведомым читателям я скажу, что зовут меня Верой, мне скоро минет 17 лет. Родилась я в Африке и никогда из нее не выезжала. Для меня весь мир — это здешний «блэд» — степь, цветущая весной, как пестрый ковер, выгорающая летом до песочно-коричневого оттенка и возвращающаяся к изумрудной окраске лишь

в конце ноября, после осенних дождей. Нельзя отрицать ее красоты, но как мне хотелось бы увидеть настоящую зелень, не только маленькие группы эвкалиптов, кипарисов и пальм, но большие леса, — свежие, тенистые! Много тут, бесспорно, живописно и приводит в восторг европейских туристов: милые ослики, нагруженные апельсинами, медленная поступь верблюдов, шумные, пестрые базары, тонкие минареты, седебородые старцы в библейской одежде. Но когда всю жизнь только это и видишь, то перестает замечать...

Про моих родителей надо сказать, что они сравнительно молодыми эмигрировали из России, сохранив о ней восторженную память, и сумели нам, детям, привить к ней бесконечную любовь. Хотя нам здесь и приходится учиться во французской школе, но родители ревностно следят за тем, чтобы мы между собой говорили только по-русски и всегда гордились тем, что мы русские.

С раннего детства слова «Россия», «Родина» овеяны для меня какой-то манящей, таинственной прелестью. Этому способствовали русские песни, которые мама пела над моей кроватью, когда я была еще совсем маленькой, старые русские сказки и патриотические рассказы из отечественной истории, а также одно небольшое, бесхитрое стихотворение, посвященное детям эмигрантов, сочиненное приятелем моего дедушки, бывшим офицером:

**Вихрем захвачены, вдаль занесенные
Бурей суровой войны,
Словно цветки, на чужбине возвращенные,
Вашей родной вы не знали страны.
Вам незнакомы равнины безбрежные,
В инее пышном седые леса,
Наши метели неведомы снежные,
Русской зимы непонятна краса.
Дух ваш не греет отвагою юною
Тройки стремительной бег удалой
Ночью морозною, ясною, лунною
Вдоль по дороге в степи снеговой.
Наша весна, несравненно прекрасная,
Вас не чарует улыбкой своей,
Песни родные, пленительно страстные
Вам не поет наш родной соловей.**

Я в детстве так любила это стихотворение, что скоро выучила его наизусть и не раз, засыпая, видела себя несущейся на тройке по беспредельным, заснеженным просторам земли моих отцов, среди ослепительной белизны, осыпанной сверкающими в лунном свете мириадами го-

лубоватых бриллиантов. Или мне чудилось, что я вдыхаю упоительный аромат сирени (которую тут можно достать только в самых дорогих цветочных магазинах) и, зачарованная «улыбкою нашей весны, несравненно прекрасной», восторженно слушаю пленительные песни «родного соловья».

Меня всегда тянуло в ту великую страну, за землями и морями, за тысячи километров отсюда, где говорят на моем языке, где молодежь растет счастливая, полезная, где творятся огромные дела и наука сияет ярким светочем для всех народов. Россия казалась мне волшебным видением, несбыточной сказкой до того дня, когда эта сказка реально вошла в мою жизнь и всю ее перевернула.

Случилось это без «трубного гласа и грома небесного», довольно простым образом. Около месяца тому назад в школе после дневных занятий кто-то из учеников меня спросил: знаю ли я, что впервые за много лет к нам в порт пришел советский торговый корабль? У меня язык отнялся: «советский», значит, из той далекой страны чудес, которую я никогда не видела, но которой принадлежу всем сердцем, всеми мыслями и мечтами! «Советский корабль» — эти два слова звучали в моих ушах, как музыка. Корабль ведь не пустой, на нем есть люди, и эти люди — наши соотечественники, они, может быть, несколько дней тому назад ходили по нашей земле! Их надо видеть, говорить с ними, непременно, во что бы то ни стало!

Выходя из школы, я увидела братишку Кольку, летящего ко мне со всех ног. Заикаясь от волнения, он сообщил уже известную мне великую новость, но с новыми для меня подробностями: ввиду того, что у причалов сейчас нет свободного места, корабль стоит на внешнем рейде и простоит несколько дней, так как должен многое разгрузить и нагрузить. Домой мы не шли, а бежали и, запыхавшись, ворвались к родителям с требованием немедленно идти на корабль. Родители разволновались не меньше нас, мама даже побледнела.

— Но имеем ли мы право, — встревожилась она. — Может быть, посещения запрещены, и нас не пустят?

— Сидя тут, мы ничего не узнаем, — благоразумно ответил папа. — Пойдем в порт, там виднее будет.

Так мы и сделали, но сначала мы с мамой пошли прихорашиваться, чем глубоко возмутили Колю.

Семилетние близнецы Миша и Маша поддались общему настроению — прыгали, ерзали и не давали себя приче-

сать. Но, наконец, все мы были готовы и двинулись в путь. Коля вполголоса, чтобы не слышала мама, ворчал, что из-за наших никому не нужных нарядов полчаса потеряно. Спокойнее всех был папа, но мы, знающие его, видели, что спокойствие это лишь показное. Перед выходом он настоял на том, чтобы мы захватили пальто, ибо ветер заметно свежел, хотя солнце не переставало светить на безоблачном небе. Когда мы дошли до порта, ветер еще более усилился, белые волны рядами вздымались по заливу.

В порту никто не знал, имеем ли мы право посетить советский пароход. Мама предложила отправиться домой, но мы энергично запротестовали, зная, что ее робость объяснялась видом бурного моря и опасениями за малышей, которых она до сих пор все еще видит в пеленках.

Местный рыбак за довольно солидную мзду согласился перевезти нас на рейд к русскому кораблю, объяснив, что при таких волнах грести нелегко и что перевоз займет не меньше получаса. Мама, указывая на близнецов, спросила, не опасно ли, но он, отрицательно тряхнув головой, схватил в охапку сразу обоих малышей, посадил их в лодку, предложив нам последовать за ними.

Качало нас изрядно: мы то взлетали высоко на гребень волны, то проваливались в бездонную пропасть. По мере приближения к заветному судну настроение у нас стало заметно меняться, каждый задавал себе одни и те же вопросы: как смотрят советские люди на эмигрантов, не считают ли они нас врагами, как нас примут, да и пустят ли на борт, или холодно скажут, что посещение для посторонних лиц запрещено? Я внутренне съежилась при мысли, насколько мучительно, насколько горько будет разочарование после восторженных надежд, и молчала, скованная немой тревогой. Мама озабоченно взглянула на меня:

— Веруся, как ты побледнела! Тебя не укачало?

— Нет, нисколько, — резко проговорила я, с трудом разжимая зубы.

Один лишь папа все понял и, положив свою руку на мою, шепнул мне на ухо:

— Бодрись, девочка, все будет хорошо, увидишь.

Через минуту Коля, отличающийся дальновзоркостью, воскликнул:

— Смотрите, там столпились моряки, смотрят в нашу сторону! Нас ждут!

Еще через несколько минут мы все увидели, что нас не только ждут, но и приветствуют улыбками. Я не сумею

выразить того, что почувствовала тогда. Кровь бросилась в лицо, и слезы брызнули из глаз. С какой-то несвойственной мне торжественностью я поняла, что до смерти буду помнить эту минуту, как одну из важнейших в моей жизни: мы подходим к Родине, и она нас встречает улыбкой. Когда мы подошли совсем вплотную, я услышала папин голос:

— Мы русские, к вам в гости можно?

Дальше в моих воспоминаниях какой-то радостный сумбур: папа расплывается с рыбаком, тот, зараженный нашим настроением, тоже улыбается. Нам говорят по-русски, чтобы мы не беспокоились о возвращении, так как обратно на берег нас доставят на своем катере, и тут же удивляются тому, что мы не испугались такого моря, да еще с малыми детьми. Тем временем этих малых детей, ставших вдруг сосредоточенно серьезными, поднимают на корабль на руках. Вслед за ними карабкаемся и мы. И вот мы на палубе, на русском корабле, окруженные русскими людьми. Я не узнаю моей всегда спокойной, уравновешенной мамы: у нее на глазах блестят слезы, и голос дрожит, когда она, пожимая руку капитану, говорит:

— Вы не можете себе представить, что мы сейчас переживаем. Это наша первая встреча с Родиной после долгих лет изгнания. Это... забываемо... неопишимо...

Голос ее обрывается...

Моряки нас обступили, в их глазах понимание, симпатия и сочувствие. Молодой человек, судя по форме, один из командиров судна, тихо сказал необыкновенно мягким баритоном:

— Представляю себе, как тяжело, должно быть, жить без Родины.

Я обернулась к нему, и мне показалось, что в его лице говорит со мной моя Родина — далекая и загадочная, любимая и желанная.

— Пойдемте, — сказал он, — хотите, я вам покажу все достопримечательности нашего судна?

Мы пошли. Все в Игоре (так звали сопровождавшего меня моряка) мне казалось исключительным: взгляд его серых глаз, прямой, честный и при этом мягкий, нежный, от которого я не смогла бы, да и не старалась бы скрыть ни одной мысли, каждое его движение, каждый жест — даже шутливая ласковость, с которой он, проходя, потрепал по голове судовую собачку.

И корабль мне тоже показался исключительным. Я посетила в здешнем порту немало иностранных судов; некоторые из них произвели на меня сильное впечатление своей мощью и великолепием, но все это было несравнимо с тем, что я ощущала теперь. Тут я была очарована решительно всем, каждой подробностью, каждым винтиком. И главное — первый раз в жизни на меня нашло вдруг, как откровение, новое, никогда не испытанное чувство: я гордилась царствующей здесь безупречной чистотой и порядком, и если бы и оказались какие-нибудь недостатки, я считала бы себя за них в какой-то мере ответственной.

Стараясь разобраться в этих нахлынувших на меня ощущениях, я стала объяснять их Игорю, и он сразу меня понял.

— Как я рад, что вы это сами почувствовали! — воскликнул он с такими теплыми нотками в голосе, что мое сердце мгновенно откликнулось ответной теплотой.

— У нас на Родине это — всеобщее сознание, — продолжал он. — Каждый из нас думает: это «все наше», и вместе с тем — «все мое»: и великая Волга — моя, и картины в Эрмитаже, и грандиозная стройка на далекой сибирской реке, и вот это маленькое судно, которое мы сейчас осматриваем, и вся неопишуемая красота нашей страны, и все несметные ее богатства — все это — мое. Меня поражает и восхищает то, что вы, попав в русскую атмосферу, сразу как бы интуитивно прониклись этим сознанием. Честь и слава вашим родителям!

Мне было очень приятно слышать похвалу родителям от человека, сделавшегося за наше получасовое знакомство моим самым близким, дорогим другом.

— Возьмите меня с собой! — воскликнула я наивно, по-детски, от чистого сердца. В ту минуту мне ничего на свете так пламенно не хотелось, как попасть скорей в мою страну, туда, где я буду у себя дома, где все мое!

— Ах, если бы я только мог, — ответил он так серьезно, что я недоверчиво взглянула на него.

Я понимала, что моя просьба была абсурдной, и вылетела она у меня прежде, чем я успела подумать. Не шутит ли он, принимая такой торжественный тон? Но нет, наши глаза встретились, и я поняла так же ясно, как если бы он это сказал определенными словами, что наша русская молодежь в лице Игоря от всего сердца говорит нам: «Добро пожаловать!»

Мы ненадолго замолчали... К нам подошел вестовой капитана с приглашением на чай в кают-компанию. Там мы застали папу с мамой, занятых дружеской беседой с капитаном, судовым врачом и еще несколькими моряками, одинаково милыми и симпатичными.

У всех нас было такое чувство, будто мы попали к близким родственникам, которых давно не видели и которые не менее обрадованы этой встречей.

Колька и близнецы безудержно веселились с матросами где-то вблизи кают-компаний. От застенчивости малышей не осталось и следа, их веселый хохот вызвал у мамы замечание: «лучше бы их позвать, а то они там окончательно расшальются». Но я за них заступилась, и их оставили в покое.

Один из матросов не мог равнодушно смотреть на Машу, обнимал ее, целовал и подбрасывал вверх. Девочка заливисто смеялась. Он объяснил нам, что у него дома, в Одессе, есть дочь Аня, точно такая же, «маленькая, белоголовая, ну точь-в-точь такая же, как ваша Машенька».

...Когда мы возвращались на берег, ветер стих, горы подернулись лиловой дымкой, и море горело золотом заката. Катер мчался ровно и быстро, слишком быстро, на мой взгляд. Мне не хотелось так стремительно удаляться от заветного корабля. Но мы с Колей утешались мыслью, что он простоят тут еще четыре дня, из которых два праздничные, когда мы не учились, а в остальные два мы будем прибегать после школы.

В ту первую ночь я не могла заснуть до рассвета — слишком волнующими и слишком большими были впечатления дня. Но эта бессонница не была тягостной. Я лежала, глядя через открытое окно в звездное небо, и переживала снова час за часом, минуту за минутой весь восторг первой встречи с Отчизной...

* * *

Когда я принялась за описание этих лучших пяти дней моей жизни, мне казалось, что будет легко представить все события, все впечатления в правильном хронологическом порядке. Но теперь я вижу, что не могу этого сделать. Мне кажется, что я гляжу в калейдоскоп: чудесные краски каждую минуту меняются, составляя все новые узоры, один прекраснее другого, но ни на одном я не могу остановиться — он сразу переходит в другой, и у меня не

получается никакой последовательности, а остается лишь яркая картина пятидневного непрекращающегося восторга.

Могу, конечно, упомянуть русское угощение, показавшееся мне вкуснее, чем что-нибудь когда-либо мною съеденное, и русские кинофильмы, которые нам показали и которые вызывали у нас то смех, то слезы, то взрыв патриотического воодушевления, смотря по их содержанию. Могу еще сказать, что родители пригласили к нам на чай капитана и нескольких командиров, в том числе Игоря. Принимать их у себя было удивительно приятно. Но описание всех этих впечатлений не дает ни малейшего представления ни о внутреннем содержании, ни о волшебстве тех дней, пролетевших, как радужный сон.

Я становлюсь в тупик, не зная, каким образом выразить самой себе и показать другим то, что было не внешним проявлением, а внутренней сущностью всего этого счастья. Могу лишь повторить, что это было чудо встречи с Родиной на далеком африканском берегу. Моя прежняя поэтичная влюбленность в таинственную, прекрасную Россию превратилась в чувство не менее сильное, но более реальное. Я сознавала себя уже не ребенком, очарованным дивной сказкой, а живым взрослым человеком, дочерью великой страны, вне пределов которой не будет и быть не может мне счастья в жизни. Это сознание наполняло меня гордостью и верой в лучшее будущее.

Впрочем, об одном я еще могу тут сказать, о том, что оставило глубокий след в моей душе, — о песне. Игорь как-то спросил, пою ли я, и прибавил, что у меня должно быть сопрано. Я ответила, что он прав и что, по моим наблюдениям, у него баритон.

— Тоже правильно, — согласился он, — давайте составим сейчас хор.

Мы отправились на палубу, к нам присоединились матросы из команды, оказавшиеся неплохими певцами и аккомпаниаторами. Нашлись два баяна и гитара, и хор получился у нас отменный. Пели, конечно, только русские песни. Некоторые из новых я не знала и с наслаждением слушала их и записывала, но Игорь неохотно их повторял, предпочитая петь те, которые знали все. Были и некоторые старые, слышанные мною от родителей. Эти песни часто не были известны нашим морякам. Я сначала смущалась петь одна, но у Игоря был верный слух, и он сразу подбирал аккомпанемент на гитаре, а иногда и вторил го-

лосом. Эти песни понравились. Все меня хвалили, и я перестала смущаться.

И вот наступил последний вечер. Корабль должен был уйти в одиннадцать часов. Мы всей семьей на нем ужинали. Мама хотела рано вернуться домой, чтобы не мешать хозяевам, но капитан нас задержал. Родители с удовольствием остались, взяв с капитана слово, что он скажет, когда нам будет пора двигаться. Тогда я поняла выражение «сердце разрывается». С холодным ужасом думала я о завтрашнем дне, когда увижу пустое море там, где сейчас еще стоит родной корабль. Как я буду дальше жить без него? Но потом я задала себе другой вопрос: жалею ли я, что он пришел, или предпочла бы, чтобы этих волшебных дней вовсе не было? Все мое существо крикнуло в ответ: «Нет, нет, тысячу раз нет! Они меня научили, что надо жить, а не только существовать. Я начала жить пять дней тому назад. Я буду жить и дальше, приветствуя как радость, так и страдание, потому что и то, и другое — жизнь».

В тот последний вечер мы пошли на палубу, на наш последний хоровой концерт. Пропев любимые песни, участники стали один за другим расходиться.

Ко мне как-то таинственно подошел Коля, скорее, подкрался, чем подошел. Как я ни была занята собственными переживаниями, все же не могла не заметить его взволнованного, заговорщицкого вида. Он открыл мою сумку, сунул в нее какую-то записку, шепнув:

— Это ты передашь родителям, как только корабль уйдет, чтобы они не беспокоились. И помни, до этого молчи, как рыба, а не то я тебе никогда не прощу, слышишь: никогда, до самой смерти.

Только теперь я стала смутно понимать его намеки.

— Колька, да что это ты затеял?

Он неистово на меня замахал руками и зашикал.

— Ты с ума сошел, — продолжала я тоже шепотом, — это ведь незаконно, тебя высадят в первом же иностранном порту и с позором отправят обратно. Да, впрочем, до этого даже не дойдет, — родители хватятся тебя, когда мы будем уходить.

— Нет, — возразил он тем же торопливым шепотом. — Я предупредил маму, что сойду на берег раньше вас, так как должен зайти к товарищу за книгой.

— И мама поверила?

— Она сказала: «Это еще что за ерунда?» Или что-то в этом роде, но я сделал вид, что не слышу, и быстро исчез. Как раз катер уходил на берег, и мама решила, что я отправился с ним. Теперь меня уже нет на корабле, понимаешь? Я заранее подыскал место, куда спрятаться, там никто меня не найдет. А когда пароход будет уже в открытом море, я выйду оттуда, пойду прямо к капитану и сознаюсь ему во всем. Он такой добрый, он простит. Не станут же русские моряки, да еще такие друзья, выдавать русского мальчика каким-то иностранцам! Нет, меня доведут до Одессы зайцем. Зайцем, но не дармоедом. В пути я здорово буду работать на пароходе — убирать, чистить, всячески помогать. А от Одессы до Днепропетровска рукой подать. Вообрази, как удивится тетя Катя и как обрадуется! Ну, до свидания, Верок, пожелай мне счастья и не выдавай!

— Выдавать я тебя не стану, и отчего же не пожелать счастья, но затею твою не одобряю и не верю в ее успех.

— Не веришь? Ну это мы еще посмотрим!..

Выкрикнув все это одним духом, мой брат исчез. Тут я стала бранить себя немилосердно. Как я могла ему сказать, что не выдам его? И как могли родители попасться на такую грубую уловку! Хотя, с другой стороны, надо помнить, что Колька, несмотря на все свои недостатки, а их никто не знает лучше меня, чрезвычайно правдив. Мама до такой степени привыкла ему верить, и допустимо, что она приняла за правду даже эту невероятную историю про товарища и книгу.

Мне больше не пришлось быть наедине с Игорем; на пароходе начиналась подготовка к отправлению. Я нервничала, злилась и на себя, и на Колю, беспокоилась за него.

Когда мы собрались уходить, папа обратил внимание на отсутствие Кольки. Тогда мама рассказала о его предупреждении по этому поводу. Папа свистнул.

— Ой ли? Что-то не верится. Коля, считающий каждую минуту, не проведенную здесь, невозместимой потерей, решил бы в последний вечер уйти отсюда до времени? Нет, тут что-то кроется неладное. Верунчик, что ты об этом скажешь?

Я притворилась глухой и, нагибаясь, стала прощаться с собакой. Мама созналась — ей все это кажется довольно странным. Наконец папа попросил одного из матросов объявить по радио: родители знают, что Николай еще на бор-

ту, и приказывают ему немедленно явиться. Его ждут, надо спускаться в шлюпку.

Беспокойство за несносного брата временно отвлекло меня от грустных мыслей о разлуке, но они овладели мной с удвоенной силой, как только я увидела возвращающегося матроса в сопровождении весьма смущенного Коли. Никто по этому поводу не сказал ни единого слова, и прощание было самое трогательное и сердечное. Игорь задержал мою руку в своей на несколько секунд дольше, чем следовало. Я же заставила себя прямо и, как мне кажется, спокойно посмотреть ему в глаза и произнесла чуть слышно:

— Прощайте...

— Нет, — ответил он еще тише, — не прощайте, а до свидания... на Родине!

— Дал бы бог, — шепнула я, спускаясь в катер.

Возвращаясь на берег, мы все молчали, лишь близнецы о чем-то оживленно разговаривали с матросом Петей.

* * *

Одиннадцать часов... Малыши уже заснули. Мне захотелось побыть одной, я пошла в свою комнату и встала у открытого окна, откуда был виден весь залив, теперь освещенный серебристым заревом луны.

Вон чернеет, наш пароход, милый, родной. Раздается басовитый голос трубы, судно с нами прощается и тихо-тихо начинает двигаться, поворачивает, медленно удаляется. Я вижу его уходящие огни, слезы текут по моим щекам, и я в окно простираю к нему руки, желая обнять его и всех на нем. И Игоря... Неужели меня посетило то, о чем так часто слышишь и читаешь, — первая любовь? В таком случае она у меня какая-то особенная: любовь к одному человеку сливается с любовью ко всему великому народу — моему народу, частью которого я себя теперь сознаю. И я шепчу последние слова Игоря: «Не прощайте, а до свидания... на Родине...»

Дверь скрипнула, я пожалела, что не заперла ее на ключ. Ко мне подошел Коля, и я, не успев скрыть слезы, ожидала услышать ироническое замечание про «глаза на мокром месте», но вместо этого ощутила братское объятие и услышала шепот:

— Не сердись, Верок, что я пришел. Я сейчас все чувствую, совсем как ты. Россия от нас уходит... Пришла, приласкала нас, а теперь уходит и оставляет нас у разбитого корыта.

— Нет, Коленька, не зря она пришла. Нам больно, ах, как больно, но никакого разбитого корыта нет. У нас с тобой все впереди. Родина примет нас так же тепло, как моряки с этого чудесного корабля. Надо только быть достойным ее, быть заодно с нею.

— Я обещаю быть заодно с нею, — торжественно произнес Коля.

Мы замолкли, вглядываясь в темный морской простор, напрягая зрение до боли в глазах, чтобы как можно дольше видеть все удаляющиеся, все уменьшающиеся, уходящие огни родного корабля.



Ю Л Е Н Ь К А

П О В Е С Т Ь

Часть первая

I

ЮЛЕНЬКОЙ называла ее мама. Это было давно. Тогда она еще жила с мамой... Это имя навсегда осталось для нее единственно настоящим, правильным, а не ласкательным, — неотъемлемо принадлежащим ей, так же как и ее красивые маленькие руки, светлые длинные косы, узенькое мамино колечко на безымянном пальце левой руки. Она была Юленькой, когда в минуты душевной усталости, что случалось нередко, боролась с навязчивыми мыслями, вспоминала маму и старалась бодриться.

А вот Жюли, так называли ее в школе, или мисс Джулия, как ее величали в богатом американском семействе, где она служила гувернанткой, — это было совсем не настоящее, такое же чужое и ненужное, каким стало все вокруг с тех пор, как она рассталась с мамой.

Много лет прошло с тех пор. Тогда они жили в Париже, за площадью Италии, в убогих меблированных комнатах — мрачных и неопрятных, но с пышным названием: «Отель объединенных искусств».

Название отеля было выгравировано позолоченной вязью на маленькой, черного мрамора доске, прилепившейся сбоку, у обшарпанных дверей главного входа. Перешагнув порог, посетитель попадал в полутемный вестибюль с матовыми стеклами двери, ведущей в комнату консьержки. В глубине вестибюля круто поднималась вверх узкая деревянная лестница с истертыми ковриками на каждой из трех площадок, от которых в обе стороны тянулись узкие полутемные коридоры.

Отца Юленька совсем не помнила. Он рано умер. Мама с утра уходила на работу. Юленька сидела смиренно на кровати, занимавшей почти половину комнаты, играя безрукой куклой, и тихонько напевала песенку про зайчика, грызла булку, рассматривала книжку с картинками и ждала маму. Со двора доносились громкие крики торговков фруктами и овощами, иногда у соседей оглушительно орало радио.

Из коридора доносились чьи-то тяжелые шаги, затем кто-то быстро пробежал мимо Юленькиной комнаты. Громкие сердитые голоса о чем-то спорили — тогда Юленьке становилось неуютно и жутко. Она грустно вздыхала, крепче прижимала к себе куклу и настораживалась, хотя хорошо знала, что дверь заперта и никто, кроме мамы, войти не может.

А когда наконец приходило время и она слышала в коридоре легкие мамины шаги, — она всегда безошибочно узнавала их, — и ключ повертывался в замке, она испытывала такое облегчение, такое счастье и бурную радость, какой позже ей никогда уже испытывать не приходилось.

— Козлятушки, ребятушки, — словами сказки обращалась мама к Юленьке и ее безрукой кукле. — Отзовитесь, отопритесь! Ваша мама пришла, молока принесла!

— Не было волка! Не приходил! — радостно кричала Юленька, соскакивая с кровати и бросаясь к маме. — А если бы он и пришел, мы бы ему все равно не отперли!

Мама гладила ее по головке.

— Умница ты моя! Сероглазка родненькая!

Она приходила усталая, бледная, но всегда приносила с собой что-нибудь «вкусненькое», зажигала спиртовку и варила обед. С мамой Юленьке было хорошо, уютно. После обеда они ложились вместе, и мама рассказывала о папе, о каких-то неизвестных Юленьке людях, о Черном море, о лесе, где дивно пахнет сосной и воздух такой чистый, смолистый...

Юленька слушала молча и не задавала вопросов. Иногда ей очень хотелось спросить о непонятном, но она давно сообразила, что мама совсем не ей все это рассказывает, а просто думает вслух, что мама очень устала и перебивать ее не надо, а лучше постараться догадаться самой, если что-нибудь не понимаешь. Пусть мама думает, что ей все ясно.

Часто Юленька просила маму рассказать ей сказку про козочку, и мама всегда начинала так:

— Жила-была козочка, и были у нее козлята. Один был беленький, другой черненький, третий серенький, а четвертый...

— Рыженький, — подсказывала девочка, которая давно знала эту сказку наизусть и поправляла маму, если та ошибалась. Юленька очень любила слушать мамин голос.

— Далась тебе эта козочка, — улыбалась мама.

А однажды мама принесла книжку, яркую и красивую. На обложке была нарисована зеленая лужайка, большущий черный жук стоял за высоким столом и держал в лапке плоскую короткую палку (мама сказала, что палка называется линейкой). Мухи, муравьи, жуки, бабочки и червяки сидели на скамейках друг около друга. Мама объяснила, что это лесная школа, что здесь учат насекомых, и прочитала Юленьке сказку:

— **«Как-то летом на лужайке
Гражданин-учитель Жук
Основал для насекомых
Школу чтенья и наук».**

Потом мама перевернула страницу: тут тоже были картинки, но маленькие. На первой Юленька увидела большую рыбу, а перед ней две палки, прислоненные концами одна к другой, поперек еще одну палку. Мама сказала, что это буква «а», а большая рыба называется акулой.

— Это очень страшная рыба. Она может съесть целого человека. — Мама прочитала еще несколько раз:

— «А» — акула! «А» — акула! — и спросила: — Понимаешь, доченька?

Юленька смотрела очень серьезно и беззвучно шевелила губами, повторяя:

— «А» — акула!

Затем мама показала другую картинку, на которой была нарисована маленькая муха, и несколько раз повторила:

— «Б» — букашка!

На третьей картинке Юленька увидела черную птицу.

— «В» — ворона! — прочитала мама.

А на четвертой картинке были нарисованы два огромных выпученных глаза с длинными ресницами.

— «Г» — глаза! — опять объяснила мама и прочитала дальше: — «Шмель и муха, не болтайте! Не вертись ты, стрекоза!» В школе должно быть тихо, Юленька, никто не должен шалить, разговаривать, иначе ничему не научишься.

Мама все читала и читала, показывая каждый раз интересные картинки:

— «Д» — дитя, «е» — единица, «ж» — жаркое, «з» — зима! Повторяйте, не сбивайтесь! «И» — игрушки, «к» — кума!

Повторяя за мамой слова, Юленька очень быстро выучила наизусть всю сказку, а потом принялась учить буквы. Взяла карандаш и попыталась срисовать несколько букв в тетрадку.

— Ну-ка, где «о», покажи, — просила мама.

— Это кружочек, да? — переспрашивала Юленька и осторожно ставила пальчик в кружок. — Вот он.

— А где «л»?

— Две палки! — радостно кричала девочка.

Она знала уже много букв, но дальше алфавита дело не пошло. Складывать слоги из букв Юленька еще не могла.

— Ты маленькая, тебе еще рано учиться читать, — устало сказала ей мама.

Иногда после обеда, а по воскресеньям всегда, если только погода не была очень уж неприятливой, они ходили гулять.

В коридоре пахло рыбой, кухней и уборной. Они спускались вниз по полутемной узкой лестнице, проходили мимо полной консьержки, которую мама побаивалась ничуть не меньше Юленьки, выходили на улицу, проходили мимо резвящихся ребятишек и спускались в метро.

Чаще всего они отправлялись в Люксембургский сад и, усталые от ходьбы, подолгу просиживали на скамейке.

Юленьке очень нравились кораблики, которые ребята пускали в большом бассейне. Она приходила в восторг, когда видела цветы на клумбе. Цветы были такие красивые, такие яркие и такие разные. Ей очень хотелось их

потрогать, но мама предупредила, что трогать нельзя, можно только смотреть.

Мама называла Юленьке цветы. Сначала она показала ей фиалки, ландыши, анютины глазки, потом гвоздику, резеду, левкой, нарциссы, разноцветные тюльпаны, розы и, наконец, гиацинты, анемоны, азалии. Мама все знала! Она очень радовалась, что и Юленька хорошо запоминает названия цветов.

— А вот это дерево — сосна! — пояснила мама.

Юленька подбежала к сосне и стала нюхать: ей хотелось, наконец, узнать, какой же это запах — смолистый, о котором так часто вспоминала мама.

Юля догадывалась, что мама больна, потому что она часто и подолгу кашляла, а после приступа кашля страдальчески задумывалась, сдвигала брови и долго не могла говорить. А однажды, когда на ее носовом платке появилось красное пятно, мама засуетилась, стала молча метаться по комнате, ломая пальцы и хватаясь за голову, а вечером долго не ложилась спать, допоздна сидела за столом и торопливо что-то писала.

С тех пор она совсем перестала целовать Юленьку, зажимала рот платком, когда говорила с ней, устроила ее кроватку отдельно от своей — в углу, у самого окна.

А вскоре после этого пришли две дамы: одна — высокая и важная, с резким голосом, другая — маленькая, быстроглазая. Они обе говорили по-русски, морщились, оглядывая комнату, качали головами, что-то сердито выговаривали маме, твердили все время о том, что нужно было давно уже что-нибудь предпринять, а затем увели с собой Юленьку.

Надевая на Юленьку пальтишко, мама как-то особенно бодро и весело говорила о том, что Юленька сейчас пойдет погулять с тетями, а ей надо поехать... ненадолго... по делам. Но она скоро вернется, придет к Юленьке в гости и принесет ей подарок.

— Вот увидишь, какой хороший подарок я привезу тебе! Ты только будь умницей и послушной девочкой! Ну, ты ведь у меня молодец!

В дверях Юленька оглянулась. Мама стояла у кровати, крепко сжимая на груди худые руки. Глаза ее блестели, щеки горели румянцем, губы беззвучно шевелились.

— Мамочка! Ты не беспокойся! — сказала Юленька очень серьезно и убедительно.

Юленьку поместили в приют. Там было много девочек, все они были одинаково одеты в серые платья и черные фартучки, говорили по-французски, бегали, смеялись, ссорились и мирились, плакали, прыгали через веревочку и играли в мяч.

Юленька смотрела на них серьезными глазами: она совсем не умела бегать, прыгать, играть в мяч, ссориться, громко плакать, хохотать и говорить по-французски. К ней подошла высокая, худощавая седовласая старушка с очень живыми черными глазами на умном лице. Она заговорила с Юленькой на странном, ломаном, но все же понятном русском языке и затем увела ее в свою комнату. Старушку звали мадемуазель Мари. Позже Юленька узнала, что мадемуазель Мари в молодости служила гувернанткой в Москве, в доме богатых фабрикантов Прохоровых. Она начала учить Юленьку французскому языку. Не позволив остричь Юленьку, она расчесывала и заплетала каждое утро ее длинные косы, подарила ей маленький синий мяч и заставляла играть с девочками.

Освоилась Юленька довольно быстро, хотя по вечерам часто вспоминала маму и грустным голосом спрашивала у мадемуазель Мари, когда же мама придет к ней в гости. Она ведь обещала.

Мадемуазель Мари отвечала, что мама уехала по делам, но скоро вернется. Однажды она показала Юленьке тоненькое золотое колечко, украшенное черной эмалью, сказав, что мама прислала это колечко Юленьке в подарок, но оно Юленьке еще слишком велико и поэтому пусть пока лучше полежит в комод, а то ведь так легко и потерять его.

Юленька тотчас узнала колечко. Ведь его всегда носила мама, а сколько раз Юленька целовала это колечко?! Девочка подняла на мадемуазель Мари не по-детски задумчивые глаза и внимательно посмотрела на нее.

— А почему мама не хочет его больше носить? — спросила Юленька недоумевающе.

Мадемуазель Мари вдруг отвернулась к стене и, вытирая платком глаза, вздохнула:

— Бедный ребенок!

Юленька больше ни о чем не спрашивала, она почувствовала, что случилось что-то очень жуткое и непоправимое...

III

В Швейцарии, в Лозанне, у мадемуазель Мари жил брат; мать ее была швейцаркой, а отец француз. Родители давно умерли. А так как брат был вдов и бездетен, то он постоянно звал сестру к себе — доживать век вместе.

Мари долго раздумывала, колебалась, наконец, уже совсем собравшись в дорогу, вдруг неожиданно для самой себя, в самую последнюю минуту решила взять и Юленьку.

— Бесплатное приложение! — острили ее сослуживицы, провожая их на Лионский вокзал. — Как к этому отнесется ваш брат?

— Меня это мало интересует! — отвечала Мари с независимым видом, но в глубине души она не была уверена в правильности своего поступка. В самом деле, как к этому сюрпризу отнесется ее брат?

Она думала об этом всю ночь, сидя в купе у окна и время от времени поглядывая на спящую Юленьку, на ее длинные косы, светлые колечки волос, спустившиеся на лобик, на темные ресницы, нежные детские щеки, круглый подбородок, маленький упрямый рот...

К полуночи она совсем было приуныла, но наступил рассвет, поезд мчался уже по Швейцарии, проснулась Юленька, и мадемуазель Мари воинственно выпрямилась, энергично откинула назад голову и громко, на все купе, произнесла загадочное слово, привлекшее внимание всех попутчиков.

— Нитшево! — сказала она очень отчетливо, дав себе слово ничего не бояться и сокрушить все враждебные силы в неминуемой, теперь она в этом была вполне уверена, борьбе.

Она увидела брата, как только поезд остановился у перрона лозаннского вокзала, и сразу узнала его, хотя давно с ним не встречалась.

«Как потолстел!» — было первое, что ей бросилось в глаза. Она была высокая и худая, брат — небольшого роста, полный. Однако черты лица и живые черные глаза были у них почти одинаковы, и это семейное сходство наполнило сердце Мари внезапной нежностью.

— Шарль! — крикнула она, высунувшись из окна вагона, и замахала платком.

Брат помог ей сойти на перрон, взял чемоданы и передал

их носильщику. Он помог сойти и Юленьке. При этом он любезно оглядывался на молодую, очень элегантную даму, искренне убежденный в непосредственном отношении этой дамы к светловолосой девочке. Но каково же было его изумление, когда, почему-то не получив благодарной улыбки от интересной дамы, он остался с сестрой и девочкой на быстро опустевшем перроне. Сестра решительно взяла Юленьку за руку.

— Это еще что такое? — спросил он, вне себя от удивления.

— Жюли, маленькая русская девочка, о которой, помнится, я тебе как-то писала. Я взяла ее с собой, — бодро объяснила мадемуазель Мари.

— Взяла с собой? — Шарль вытаращил глаза, беспомощно расставил руки и запыхтел, как паровоз. — То есть как это: взяла с собой? Как прикажешь это понимать, Мари? Она жить у нас будет, что ли?

— Здесь не место рассуждать об этом, Шарль, — решительным тоном возразила Мари и быстро направилась к выходу, ведя Юленьку за руку.

— Взяла с собой! Да ты что это... серьезно? — сердито забормотал Шарль, с трудом поспевая за ними. — Ну, знаешь, Мари, хотя твоя фантазия мне давно известна, но такого сюрприза я все же от тебя не ожидал! Я надеялся, что с годами ты стала благоразумнее.

Всю дорогу, пока они ехали в такси по утопающей в зелени авеню de la Gare* и мчались по Большому мосту, он недоумевал и возмущался:

— Ну что это такое, Мари? Кому это нужно? Такая обуза на старости лет! Возмутительное легкомыслие с твоей стороны! Подумай, ведь это не котенок и не щенок! Понимаешь ли ты, какую ответственность на себя берешь? Ты что же, удочерить ее собираешься, что ли? Ведь ее теперь обратно в приют не примут!

Как только они сели в такси, Мари приняла утомленный, томно-аристократический вид — испробованный прием при неприятных объяснениях.

— Я и не собираюсь отдавать ее в приют, друг мой, — спокойно, с достоинством возразила она, величественно откидываясь на спинку сиденья автомобиля, в живых глазах ее промелькнули озорные огоньки. — Не торопись с поспешными заключениями, Шарль, прошу тебя. Не нуж-

* Вокзальная улица. (Франц.)

но горячиться! Я убеждена, ты не будешь сожалеть, что мы приняли твое приглашение и приехали в Лозанну. Она очень мила, эта малютка! Ты увидишь, как она мила и прелестна! — Мари улыбнулась Юленьке и поправила ей воротничок.

Юленька первый раз в жизни ехала в автомобиле. Она с любопытством смотрела по сторонам, но больше всего ее внимание привлекал Шарль. Никогда еще не видела она такого толстого и красного человека, который так пыхтит и так громко сердится. Юленька понимала: говорят о ней и этот господин недоволен тем, что она приехала сюда.

А толстяк, встретив ясный, серьезный, как будто изучающий взгляд ее больших серых глаз, окончательно вышел из себя:

— Как дерзко она на меня смотрит! — завопил он, теряя самообладание. — Хорошее начало, нечего сказать! И почему я должен терпеть это в своем собственном доме?!

Старый двухэтажный особняк, который Шарль получил в приданое от покойной жены, находился на старой узенькой улице, где, тесно прижавшись друг к другу, стояли прокопченные дома с садиками на заднем плане, огороженными высокими каменными заборами. Небольшие окна его скупно пропускали дневной свет. В комнатах было мрачно, пахло лавандой. Везде стояла старая мебель — диваны и кресла в чехлах, фотографии на стенах в узких рамках, старое пианино, на котором никто никогда не играл, в столовой — огромный буфет, заставленный тяжелой старинной посудой, стулья с высокими спинками и раздвижной массивный стол. На стене громко тикали часы в длинном деревянном футляре. Под часами висел круглый барометр. Солидная каменная лестница вела из коридора во второй этаж — там были спальни, такие же темные и тесно заставленные старинной мебелью.

На кухне хозяйничала горбатая немолодая женщина с неприветливым лицом. Она подала в столовую кофе, сливки, булочки, прозрачный желтый мед в вазочках и по два плоских, тоненьких кружочка масла с изображением тучной швейцарской коровы. Все было очень вкусно, но вместе с тем Юленька испытывала какое-то совсем для нее новое, неизвестное ей до сих пор чувство неловкости, очень тягостное и неприятное. Поэтому еда не доставила ей никакого удовольствия. Она сидела чинно, почти не поднимая глаз.

Когда выпили кофе, мадемуазель Мари открыла дверь на веранду и послала Юленьку прогуляться по саду. Юленька вышла, и к ней тут же подбежал маленький серый котенок. Он деловито потерся о ее туфельки, а когда девочка наклонилась, котенок вдруг забавно заиграл ее косами, перевязанными на концах черными бантиками. Он почти сдернул один бантик, озорно поглядывая на Юленьку зеленоватыми, полными невинного коварства глазами. Юленька засмеялась и взяла его на руки — он был мягкий и пушистенький. Котенок замурлыкал и потерся головой о ее плечо. Она стала баюкать его, как куклу.

Сад был маленький — круглая клумба с цветами, несколько овощных грядок. Вдоль дорожек росли кусты крыжовника, а под большим, развесистым каштаном стояла зеленая скамейка на изогнутых чугунных ножках, с высокой спинкой. Юленька осторожно села на скамейку, боясь разбудить заснувшего у нее на руках котенка. Клумба с лиловыми левкоями напомнила ей Люксембургский сад, куда она ходила гулять с мамой.

— Левкой, — прошептала она по-русски, вспомнив, как мама называла эти цветы.

До нее доносились голоса — громкий и сердитый Шарля и очень спокойный, уверенный голос мадемуазель Мари. Юленька понимала, что говорят о ней. Она не испытывала ни тревоги, ни любопытства, жуткое ощущение одиночества, которого она не знала в шумном приюте, горькая обида, щемящая грусть камнем сдавили ее маленькое сердце, крупные, тяжелые, недетские слезы медленно, одна за другой скатились на котенка. Он проснулся, недовольно затряс головой и смешно задергал ушами. Юленька рассмеялась сквозь слезы и, быстро приподняв котенка, вытерла щеки о мягкую пушистую шерсть. Она, конечно, не заметила внимательного взгляда горбатой женщины, которая из бокового окна кухни следила за нею.

Юленька уже привыкла, что все решают без ее участия, и ей уже стало казаться, что так и должно быть. Она понимала, что с мамой никогда больше не увидится, хотя никто ей этого не говорил, — и теперь ей, в сущности, было все равно. Юленька долго сидела на скамейке, хотя было холодно. Голоса в доме постепенно стихли, на веранде появилась мадемуазель Мари в сопровождении Шарля.

— Ну-ка, взгляни на нее! — восхищенно воскликнула Мари, заметив на скамейке Юленьку с котенком на коленях. — Посмотри, как она подружилась с этим Мистигри! Ну разве не прелесть! Если бы у меня был фотоаппарат!..

Шарль громко засопел и мрачно пробормотал, что совсем непедагогично так громко восхищаться ребенком.

— К чему ты ее приучаешь? А еще была всю жизнь воспитательницей! Хороша, нечего сказать!

— А ведь, пожалуй, ты и прав! — со смехом ответила Мари. — Ну что ж! Давай ее воспитывать вместе. Может быть, у тебя окажется больше педагогических способностей, чем у меня...

Шарль, польщенный замечанием сестры, отвернулся, пытаясь скрыть неожиданно появившуюся самодовольную усмешку.

Сомнений не было — Мари выиграла битву!

IV

Жизнь постепенно наладилась. Вставали рано, пили кофе за длинным столом в столовой, где прислуживала вечно сердитая Мелани. Шарль по-прежнему ворчал. Вероятно, он принадлежал к тому безобидному, но мало приятному типу ворчунов, о которых говорят: «на сердитых воду возят». В воркотне его чувствовалась растерянность бесхарактерного человека, не умеющего настоять на своем. Ворчать он начинал с утра. Шарль бурчал, что сестра не умеет вести хозяйство, что Мелани его обкрадывает, что дом разваливается и требует капитального ремонта, а денег у него нет! Жизнь дорожает с каждым днем, богатых иностранцев в Лозанне скоро можно будет по пальцам пересчитать, это вам не прежние времена, когда их в Лозанне было, как сельдей в бочке, налоги растут, магазин ничего не приносит — один убыток, и только такой дурак, как он, единственно в силу привычки, до сих пор еще не ликвидировал это убыточное предприятие, и вообще, если дела в ближайшее время не поправятся, ему неминуемо угрожает полное разорение. Об этом стоит поразмыслить кое-кому... И весьма серьезно подумать, пока не поздно.

Мари выслушивала эти жалобы с невозмутимым, величественным спокойствием, которому могла бы позавидовать любая знатная дама. Она знала, что дом, построенный сто лет тому назад, благополучно простоит еще столько

же, если обстоятельства того потребуют, что магазин приносит вполне приличный доход, что у Шарля сбережения в Национальном банке, что хозяйство она ведет очень экономно, неизменно прибавляя к общим расходам кое-что из своих собственных маленьких сбережений, что горбатая Мелани «по нынешним временам» — истинное сокровище, которым нужно дорожить, и что главный источник непомерных расходов, тревог, озабоченности и дурного настроения брата — некая мадам Тюрбо, особа своенравная и несносная. Он определенно побаивался ее, но отделаться от этой женщины у него почему-то не хватало решимости. Он и сестру вызвал к себе из Парижа единственно по той причине, что смутно надеялся найти в ней некоторую защиту от настойчивых притязаний и назойливости вышеозначенной особы.

Все это лишь забавляло искушенную жизнью мадемуазель Мари; в ее не по возрасту молодых глазах, от взгляда которых, казалось, ничто не ускользало, частенько загоралась усмешка.

После утреннего кофе Шарль отправлялся пешком — ради моциона — в магазин, который находился на крутом спуске. Там он усаживался за кассу и принимался придирчиво наблюдать за работой двух шустрых приказчиц, которые нередко огрызались на его ворчливые придирки, но в общем работали исправно.

А Мари, облачившись в широкий передник, засучив рукава и повязав косынку, энергично принималась вместе с Мелани и Юленькой за домашнюю работу. Свою деятельность в доме брата она начала с того, что всю ненужную мебель велела вынести на чердак. В комнатах стало гораздо просторнее.

— Точно в пустыне, — жаловался Шарль. — Ты что, танцы что ли собираешься здесь устраивать? Зачем тебе на старости лет такой простор вдруг понадобился? Хочешь состязаться в бегах с мышами? Так знай — Мелани всех мышей вывела.

Толстые темные портьеры на окнах были сняты, тщательно проветрены, выбиты и вычищены, пересыпаны нафталином и уложены на вечный покой в тяжелые сундуки на чердаке, густые кремовые занавески заменены легкими, прозрачными, белоснежными — и в комнатах стало светло.

— Как будто в витрине — все видно, — злился Шарль. — Это просто неприлично. Что о нас подумают соседи?

Вместо ответа Мари, точно маленького, вывела брата за руку на улицу, заставив его убедиться, что, несмотря на тонкость занавесок, в комнатах с улицы решительно ничего не видно.

— А вечером, когда зажигают свет, рекомендуется опускать жалюзи, — поучала его Мари. — Поверь, ничто не угрожает тайнам твоего домашнего очага, если даже у тебя и завелись какие-то... — насмешливо добавила она.

— И как это тебе удастся всегда настоять на своем, Мари? — ворчал Шарль. — Не хотел бы я быть твоим мужем! Тсперь я понимаю, почему не нашлось желающего...

— Ну, что касается этого... — И тут Мари сказала что-то такое, чего Юленька не поняла, но что заставило Шарля громко расхохотаться. Он хохотал долго, раскатисто, до слез. Весь багровый от смеха, Шарль приседал, шлепая себя ладонями по коленям, и, наконец, замахав руками, прохрипел сквозь кашель, что «такое может придумать только настоящая француженка», и, все еще хохоча, ушел в свой кабинет проверять счета.

Мари, пожимая плечами, лукаво улыбалась. Она неизменно сохраняла душевное равновесие, хорошее расположение духа, приветливость и спокойную деловитость, проникнутую врожденным оптимизмом, не омраченным даже долгими годами и нелегкой жизнью. Она всегда была чем-то занята, ее руки никогда не знали покоя, лукавый доброжелательный взгляд черных глаз, казалось, все подмечал и все запоминал. К людям она относилась приветливо, подчас беззлобно-иронически, умела быть сдержанной и немногословной, если того требовали обстоятельства. Это умение выработалось в результате долгих лет зависимого существования. Но, невзирая на почтенный возраст, у Мари нередко проявлялся веселый нрав — в живом блеске глаз, смехе, порой в остром замечании, а подчас и в не совсем приличной шутке. Но врожденный такт и чувство собственного достоинства никогда не изменяли ей. Она точно чувствовала, когда и где уместны подобные маленькие вольности. Мари никогда не позволяла наступать себе на пятки, но делала она это мягко, не вызывая к себе враждебного отношения.

С горбатой Мелани она сразу поладила. «Бог мой! — подумала Мари, взглянув первый раз на горбунью. — Иметь горб! Однако ничего не поделаешь, с этим нужно считаться».

К Юленьке Мари привязалась искренне. Ей приятно было иметь в доме это крохотное существо — миловидное, смиренное и послушное. Инстинкт материнства никогда не умирает в женщине. И Мари, которой волей судьбы всю свою жизнь пришлось отдать заботе о чужих детях, теперь с изумлением ощутила всю властность этого инстинкта: ей неудержимо захотелось иметь ребенка «для себя», создать полную иллюзию материнства.

В погоне за этой иллюзией она запретила Юленьке называть ее мадемуазель Мари и потребовала, чтобы девочка называла ее бабушкой и говорила ей «ты», эти слова в устах Юленьки звучали для Мари чудесной музыкой. Она теперь с величайшим удовольствием вдруг почувствовала себя настоящей бабушкой.

Как истой француженке, ей нравилось наряжать Юленьку, заплетать ее чудесные косы, ходить с ней гулять на Мон-Бенон, мимо монументального здания Федерального суда с каменными львами у входа, или, спустившись фуникулером в Уши и пройдя мимо отеля дю Шато, построенного в стиле средневекового замка, а затем мимо отеля д'Англетер, где когда-то великий Байрон писал «Шильонского узника», прогуливаться вместе с Юленькой по набережной, вдоль озера и вдоль густого парка отеля Бо Риваж.

Воздух, напоенный солнечной свежестью озера, был так чист, что синие горы савойского берега возвышались как в декоративно-торжественной панораме, взгляд терялся в голубой дали высокого безоблачного неба, озеро тихо переливалось синевато-серебристыми солнечными бликами, пенилось тонким кружевом прибоя у берега...

В лодках — белых, голубых, с красными, черными, желтыми краями — гребцы взмахивали веслами, как руками. По набережной прогуливались рыжеватые англо-саксы, смуглые южные американцы — все те иностранцы, на катастрофическую убыль которых в Лозанне так горько жаловался Шарль.

Старая Мари с улыбкой поглядывала на семенившие рядом с ней маленькие стройные Юленькины ножки, на ее белокурую, гладко причесанную головку и с удовлетворением ощущала, что наконец нашла свое место в жизни и что, в общем, все недурно устроено в этом «лучшем из миров», — добавляла она мысленно со свойственной ей иронией.

Мари забавляла Юленькина недетская серьезность, ее бессознательная наблюдательность. Если Юленьке поручали стереть пыль в комнате, она внимательно осматривала тряпку, старательно вытряхивала ее в саду, а потом принималась за работу, с таким усердием, тщательно перетирая каждую мелочь, что Мари и Мелани только переглядывались, улыбаясь. Да! Хмурая, сердитая Мелани улыбалась! Началось с того, что однажды по поручению Мари Юленька пришла на кухню, где Мелани гладила белье, и попросила для «бабушки» носовой платок. Мелани подала ей большой белоснежный платок, а потом из кучи уже выглаженного белья взяла другой — маленький, с голубой каемкой, и сунула Юленьке в карман ее фартучка.

— Вот так! — сказала она. — Не каждый же раз тебе слезы котенком вытирать!

Юленька взглянула на нее с недоумением.

— А я видела в окно, — объяснила Мелани, — как ты там (Мелани показала в окно), на скамейке в саду, в первый день слезы котенком вытирала. Помнишь? У тебя что, платка тогда не было?

— Был... — нерешительно ответила Юленька. — Но... — Юленька задумалась, припоминая. — Платок был в кармане, — сказала она наконец, вспомнив все обстоятельства этого происшествия.

— Ах, так? Платок — в кармане, а котенок — на руках! Ближе, значит? Удобнее? — И Мелани вдруг весело рассмеялась, показывая в улыбке целый ряд белых, очень красивых зубов. — Ну, иди, иди! Видишь, сколько еще белья мне нужно перегладить!

С осени Юленька стала ходить в школу. В черном сатиновом поверх платья халатике, с сумкой под мышкой, она деловитой походкой проходила две длинные улицы до маленькой площади, где помещалась школа. Читать по-французски и считать она научилась очень быстро. А когда дети пели хором, учительница внимательно прислушивалась к Юленькиному голосу. И однажды в разговоре с Мари она посоветовала ей учить девочку музыке.

Старое пианино в доме Шарля, на котором никто никогда не играл, ожило под тонкими Юленькиными пальчиками. Она играла гаммы, упражнения, этюды — все, что требовала от нее учительница, а в свободную минутку безошибочно подбирала по слуху все детские песенки, которые дети пели в школе. При этом лицо ее оживлялось, точно свет зажигался в глазах. Неведомый мир звуков по-

степенно овладевал ею, покорял своей волшебной силой; под осторожными, еще нерешительными пальчиками звуки росли, сплетались, ширились, утихали, гасли. Она сдерживала дыхание, боясь нарушить очарование музыки, забывала окружающее, вспоминала маму, свою русскую маму.

Была у Юленьки одна тайна, о которой она ни с кем никогда не говорила. Окончив домашние уроки, девочка доставала из ящика своего стола старую, потрепанную книжку, на обложке которой был нарисован «гражданин-учитель Жук», и задумчиво, медленно перелистывала ее.

Текст этой книжки она помнила наизусть, но читать... Читать вслух по-русски?.. Юленька не забыла грустного выражения мамино лица, когда мама устало сказала:

— Ты еще маленькая, тебе рано учиться читать.

Теперь она большая и умеет читать по-французски. Вчера учительница вновь ее похвалила, сказала, что Жюли (так Юленьку называют в школе) читает лучше всех в классе и что все в классе должны брать с нее пример.

Но читать по-русски? Юленька, нахмурив брови, старалась вспомнить, как говорила когда-то мама. «А» — акула! Буквы «а» — большая и маленькая — такие же, как во французском. И буква «к» точно такая же! А вот «у» — это, значит, не игрек! Тогда что же это такое?

И Юленька вдруг просияла: она поняла, в чем тут суть! «У», значит, «ou» по-французски! Это было открытие, очень важное открытие, так же как и то обстоятельство, что русское «л» совсем не похоже на французское. Особенно смущали Юленьку буквы «ш, х, ч», а также «й» и «ы». И почему «е» произносится как «йе» в начале слова? Она даже решилась, наконец, спросить об этом у Мари. Но Мари ровно ничего не поняла.

— Зачем тебе это нужно? — удивилась она. — Тш? Штш? (Так Мари произносила звуки «ч» и «щ»). Да разве это возможно выговорить? Знаешь, есть одно такое ужасное русское слово «штшиптишки» (Юленька не сразу сообразила, что это щипчики для сахара). Ну разве можно выговорить это слово? Брось заниматься пустяками! Разве в школе у тебя об этом спрашивают? Иди лучше играть гаммы!

Юленька послушно села за пианино, но когда осталась одна, то снова принялась настойчиво разбираться в русских буквах.

Ошибаясь, исправляя свои ошибки, она увлекалась этим

«исследовательским» процессом, переживала разочарования и радости. Но в конце концов она все же добилась того, что прочитала по-русски от начала до конца всю сказку.

Теперь Юленька знала все русские буквы и не только знала, но и понимала. Это, несомненно, было большим достижением, и мама, наверное, была бы очень довольна своей дочерью. Но у Юленьки была всего одна русская книга. Она попробовала переписать в тетрадь сказку о гражданине Жуке, но вышло плохо, особенно в сравнении с ее школьными тетрадями.

— Как же быть? — Юленька грустно вздыхала.

Недавно в школе произошла неприятность. Шел урок истории. Ребята вставали один за другим и отбарабанивали один и тот же вы зубренный текст: «Гельветы, наши предки, были высокого роста, могучего телосложения. Они были воинственны, храбры, неустрашимы. Война была для них забавой. Они презирали смерть».

Очередь дошла до Юленьки. Она встала.

— Гельветы.., — начала она и остановилась.

— Наши предки, — подсказала ей учительница.

— Это не мои предки, — ответила Юленька. — Я русская. — И, лихо пропустив «наших предков», она без запинки продекламировала весь текст, причем вместо «наша страна» сказала «эта страна».

Учительница улыбнулась, но не преминула в тот же день рассказать об этом Мари.

Ребята отнеслись к этому случаю иначе.

— Если это не твои предки и не твоя страна, чего же ты здесь живешь? — спросил Робер, первый ученик в их классе.

А толстая Жозетта, дочь торговца бакалейными товарами, зло крикнула:

— Ну и убирайся к своим большевикам! Плакать не станем! Тоже мне, сокровище!

— Она не может сделать, чтобы гельветы стали ее предками, если они не ее предки, — заступилась за Юленьку рассудительная Мари-Луиз. — Она не хочет лгать!..

А Юленька задумалась, нахмутив тоненькие брови, — надо было самой во всем разобраться.

V

Однажды, прогуливаясь рядом с Мари по набережной вдоль озера, Юленька вдруг отчетливо услышала русскую

речь. На скамейке сидели двое: дама и мужчина. Они оживленно разговаривали по-русски.

На Юленьку вдруг повеяло чем-то далеким, полузабытым и таким... таким близким и родным: комнатуха с широкой кроватью в парижском отеле, сказка про козочку, прогулка в Люксембургском саду и мама, мама...

— Давай посидим, — предложила Юленька.

Они сели на скамейку недалеко от русских. К Мари подошла знакомая швейцарка. Она тотчас принялась рассказывать какую-то интересную новость. А Юленька в это время встала, подошла к гранитному парапету, окаймляющему набережную, с минуту поглядела на озеро, а потом тихо-тихо, точно влекомая неодолимой силой, двинулась вдоль парапета по направлению к «русской» скамейке. Она остановилась напротив и смотрела на незнакомых ей людей, как смотрят только дети, — во все глаза, не отрываясь.

Русские, конечно, не могли не обратить на нее внимания.

— Какая хорошенькая девочка! — сказала дама, уверенная, что ее не понимают. — Косы-то какие!

— Да! — ответил мужчина. — Такие косы теперь редкость.

Тогда Юленька решила. Она сделала два шага по направлению к ним и остановилась.

— Я... хотела бы, — начала она, запинаясь, — очень... я хотела бы... русскую книгу...

— Да ты русская! — воскликнула женщина.

Мужчина засмеялся. А Юленька, волнуясь, продолжала торопливо объяснять:

— Моя бабушка — француженка. Я учусь...

— В школе, — подсказала женщина.

— Да, в школе... по-французски.. Мама учила меня русским буквам. Я тогда была маленькая... А теперь я сама научилась читать по-русски, а вот писать не умею.

— Почему же мама не научит тебя писать? — спросил мужчина, улыбаясь.

Юленька удивленно вскинула на него свои серьезные глаза.

— Мама? — переспросила она. — Так ведь ее нет больше...

Русские перестали улыбаться.

— Садись! — пригласила женщина Юленьку, отодвигаясь от своего спутника и освобождая место на скамейке. Юленька села.

— Видишь ли, — сказала дама, — у нас сейчас нет такой книги, но мы завтра уезжаем в Москву, и если ты хочешь, то мы пришлем тебе такую книгу. Ты только скажи нам, как тебя зовут и где ты живешь.

Мужчина вынул из кармана записную книжку и карандаш.

— Меня здесь зовут Жюли, — сказала девочка.

— А по-русски как это будет? — улыбаясь, спросила дама.

— По-русски Юленька, — тихо ответила девочка.

— Юленька, — повторила дама и слегка прижала ее к себе.

Девочка вздрогнула, побледнела и посмотрела на нее испуганными глазами: ей показалось, что это мама позвала ее.

Но к ним уже направлялась Мари. Она улыбалась, укоризненно покачивая головой. Заговорила она на своем смешном русском языке:

— Моя внучка уже познакомилась с вами!

Русские встали, знакомство произошло по всем правилам международной учтивости. Потом все четверо сели на скамейку. Записали адрес. Мари стала вспоминать Москву времен ее молодости. Затем разговор перешел на Юленьку. Мари с удовольствием рассказала об ее успехах в школе.

Прощаясь, русская дама задержала Юленькину руку в своей, посмотрела ей прямо в лицо внимательным, пронизательным взглядом и еще раз пообещала прислать книгу.

— Ты только не воображай, что они действительно пришлют тебе эту книгу, — скептически заметила Мари, когда они уже сидели в вагоне фуникулера.

— Почему? — спросила ошеломленная Юленька.

— Ах, дитя мое! Да потому, что люди обещают, а потом забывают и не исполняют обещаний! Это ведь случайное знакомство. Кто мы им? До нас ли им будет в Москве? Так всегда бывает в жизни, моя глупышка, — прибавила она со смехом, взглядываясь в недоумевающее Юленькино лицо. — Лучше не надеяться, — тогда не придется и разочаровываться!

Но не прошло и десяти дней, как, к неожиданной радости Юленьки, опровергая суровый жизненный скептицизм Мари, из Москвы прибыл большой пакет, в котором была не одна книга, а целых шесть, отлично изданных, прекрасных иллюстрированных, в твердых красивых обложках.

Сколько там было интересного! Во-первых, букварь с образцами для переписывания, с картинками! Вот нарисован лес, а мальчик кричит: «ау!» Корова мычит: «му-у!» Собака спит, а кошка подбирается к ее тарелке. И много других рисунков. Ребята поют хором, а кошку зовут Мура, мальчик перед зеркалом наклеил себе черные усы! У ворот — волк, а во дворе — козочка! И, во-вторых, журнал «Мурзилка». Эти две книги Мари оставила Юленьке, а остальные спрятала.

— Куда тебе столько русских книг? Ты так и школу, и музыку совсем забросишь!

Мари явно была чем-то недовольна, хотя и старалась этого не показывать. А Шарль взволновался не на шутку:

— Не хватало мне еще только этого! Переписка с Москвой! — Он быстро шагал по комнате, размахивая руками.

— Ведь это же опасно, Мари! Неужели ты этого не понимаешь? Ведь это значит, что ко мне в дом проникла красная пропаганда, стремящаяся низвергнуть все основы, все устои общественного порядка! (Шарль иногда умел быть красноречивым). На почте теперь об этом узнают! И не только на почте! Ты с твоей воспитанницей втянешь меня бог знает в какую историю, сестра! А ты выдаешь ее еще за нашу родственницу! Это все добром не кончится, помни мое слово, Мари!

С книгами пришло письмо, адресованное Юленьке. Оно было написано крупными, разборчивыми буквами и начиналось словами: «Милая Юленька!» Подписала письмо Вера Загарина.

Юленька с увлечением принялась переписывать в тетрадь тезисы и лозунги «красной пропаганды»: «У осы усы. У мамы рис и сыр. Луна — шар. Миша писал письмо. Собака грызет кость».

— Ты должна поблагодарить людей за книги и письмо, — сказала ей Мари. — Всегда нужно быть вежливой. Напиши маленькое письмо по-французски, я поправлю.

— Нет! — отрезала Юленька. — Я напишу по-русски.

Мари подняла брови: первый раз в жизни Юленька сказала ей «нет!»

— Но ведь ты не умеешь писать по-русски! — сказала Мари очень мягко и вкрадчиво.

— А я научусь.

Во взгляде темно-серых широко открытых глаз Юленьки Мари почувствовала твердую решимость.

«Вот как! — подумала она удивленно. — Какие еще не-



В. ШЛЯМИН (Англия).
Украинская ночь.



В. ШЛЯМИН (Англия).
Портрет дочери.

ожиданности предстоят мне с ней? А, может быть, и не совсем приятные сюрпризы? С этими русскими никогда не знаешь, что будет...»

Но Мари была тактична. Она помолчала и заговорила о другом.

Через две недели Юленька старательно вывела на чистом белом листе бумаги два слова: «Милая Вера!» с большим восклицательным знаком. Потом откинулась на спинку стула и самодовольно улыбнулась.

— Ты не смеешь так писать этой даме, — раздался вдруг голос Мари, которая, неожиданно подойдя сзади, заглянула Юленьке через плечо. — По-русски так не пишут особам, которые старше тебя.

— А как же мне ей писать? — удивилась Юленька, недоверчиво вскинув глаза на свою «бабушку».

— Вот ты даже этого не знаешь, а хочешь писать по-русски. Ты должна упомянуть имя ее отца — русские всегда так пишут.

— Отца?! — переспросила Юленька, вне себя от изумления. — Но ведь я не знаю, как зовут ее отца. И зачем это?

— Раз не знаешь, так и не надо писать по-русски. У них это называется «отшество». Если в письме нет «отшество», то ты просто дерзко обращаешься к ней, а не благодаришь за книги.

Дерзость! Юленька была совсем сбита с толку. Опустив голову, она рассеянно теребила листок почтовой бумаги, на котором с таким старанием вывела: «Милая Вера!» Как же быть? Как узнать про это, неожиданно на нее свалившееся «отшество»?.. Верино письмо она прочитала много раз, помнила его наизусть, но там ни одного слова не было ни про какое «отшество».

«Если бы было так нужно, — размышляла Юленька, — Вера Загарина написала бы мне об этом. Она ведь ждет от меня ответа... Что же мне делать?»

— Она не может обидеться на меня, — нерешительно, после длительного размышления, сказала Юленька. — Я не виновата, что не знаю, как зовут ее отца. Она мне об этом не написала...

Такой довод успокоил ее. Когда Мари вышла из комнаты, Юленька старательно вывела на том же листке, чуть пониже: «Я не знаю, как зовут отца». Поставила точку и приписала с большой буквы: «Извините». Отдохнула немного, полюбовалась написанным и стала писать дальше:

«Бабушка сказала, что это неприлично. Но вы извините». Дальше пошло уже легче. «Спасибо за книги. Я читаю и пишу».

Юленька подумала, стоит ли ей писать о том, что Мари спрятала в верхний ящик комода четыре книги, и решила, что не стоит. «Я знаю времена года, — писала она дальше. — И стихи знаю про них, и сказку про репку знаю. В Лозанне хорошая погода. Бабушка и я гуляли вчера в Уши».

Многое хотелось написать!.. Она вздохнула и подписалась: «Юленька».

Ответ пришел скоро. Вера Загарина нисколько не обиделась на то, что Юленька назвала ее милой Верой, похвалила за хороший почерк. Оказывается, Юленька сделала всего две ошибки: надо писать «зовут», а не «завут», потому что есть слово «зов». Слово «сказка» пишется через «з», а не через «с». И опять ни одного слова не было об имени отца!

К письму были приложены виды Москвы: Кремль, Красная площадь, Собор Василия Блаженного, Москва-река с парходами, мостами, набережная Парка культуры и отдыха.

— Да! Это очень красиво! — согласилась Мари, рассматривая виды Москвы. — Вот, смотри, я тут бывала, по этому вот мосту я часто проходила, а иногда вот тут подолгу стояла — любовалась Кремлем, — говорила она, задумчиво улыбаясь.

— А что это? А это что? — жадно спрашивала Юленька. Мари как могла удовлетворяла ее любопытство.

«Подумать только, — недоумевала Мари. — Эдакий несмышлениш, а сама познакомилась с соотечественниками, сама переписывается с ними. Научилась самостоятельно, без посторонней помощи читать, писать по-русски! Да!..»

Мари определенно почувствовала к своей воспитаннице — этой хорошенькой куколке, такой смирной и послушной — что-то похожее на уважение!

Раздумявшись от удовольствия, Юленька переписала в тетрадь десять раз исправленные ошибки.

— Две ошибки! — сказала она с гордостью. — В школе, по-французски у меня иногда бывает больше ошибок! И Вера ничего не пишет об отце! — прибавила она, пряча лукавую усмешку.

Мари пожала плечами с безразличным видом.

— Ну что ж, пиши как знаешь, — сказала она со вздохом. — В конце концов это твое дело!

В глубине души Мари лелеяла надежду, что со временем Юленьке надоест переписка с Москвой, наскучат русские книги. Но месяца через два Юленька попросила у Мари одну из русских книг, которые хранились у нее под замком в комодке.

— Уже? — удивилась Мари. — Разве ты прочитала те две книги?

И она дала Юленьке «Родную речь».

VI

Переписка с Верой Загариной продолжалась. Юленькины письма становились более осмысленными и пространными. Она писала о своей жизни, учебе, о прочитанных книгах, о музыкальных успехах. А Вера Загарина рассказывала ей о Родине, о ее безграничных просторах, о ее лесах, о великих реках, тянущихся на тысячи километров, о морях, ее омывающих, о том, как там все трудятся, чтобы создать счастливую жизнь для всех людей, посылала ей книги, открытки.

Годы шли. Русская девочка росла, как деревце, пересаженное в чужую почву и бессознательно тянущееся к родной среде.

Она добросовестно выполняла все свои обязанности: хорошо училась в школе, делала большие успехи в музыке, помогала по хозяйству: копалась вместе с Мелани в огороде и саду, сажала салат, лук, морковь, ухаживала за цветами. Она искренне привязалась к Мари, к Мелани, к своим школьным подругам, привыкла даже к Шарлю, несмотря на его постоянное ворчание. И Шарль постепенно привык к ее присутствию в доме, привык настолько, что однажды, когда Мари отпустила Юленьку на несколько дней с экскурсией в горы, обрушился на сестру с упреками, обвиняя ее в легкомыслии: «Эти никому не нужные экскурсии всегда кончаются несчастьем, а если уж вы приучили меня к тому, что девчонка за обедом сидит против меня за столом, то извольте не портить мне аппетита пустым местом, ибо покойников у меня в жизни было предостаточно. Пусть она сидит здесь, а не слоняется по горам, среди пропастей, поглотивших тысячи жизней!»

Красноречие Шарля явно совершенствовалось, однако на Мари оно по-прежнему никакого впечатления не производило.

Самой выразительной чертой Юленькиного характера была ее врожденная наблюдательность. Большие серьезные глаза смотрели на все с глубоким, задумчивым вниманием, эти глаза порой видели слишком хорошо, они видели больше, чем им полагалось видеть. Взрослые часто не отдают себе отчета в том, с какой беспощадной пронизательностью и строгой логикой, несмотря на все их детское неведение, дети судят об их поступках. В Юленькином послушании не было бесхарактерности, в нем была большая душевная выдержка, необычная в столь юном возрасте. Юленька очень рано стала разбираться в слабостях близких ей людей и научилась избегать всего, что могло вызвать их неудовольствие; делала она это бессознательно, из нелюбви к спорам, к резкости, к напряженности в отношениях. Это заставляло ее замыкаться в себе, порой обуздывая горячность и протест, которые живут в каждом человеке. Ей и в голову не приходило делиться с кем-либо своими сокровенными мыслями, мечтами и тихими радостями, вызванными музыкой, книгой, далью синего озера или письмом Веры Загаариной. Ее переписка с Москвой была единственным моментом, когда она до конца оставалась неуступчивой и непреклонной.

У нее была уже небольшая библиотечка русских книг, которые она перечитывала по нескольку раз. На стенах ее маленькой комнаты висели фотографии и картинки, присланные Верой. Она подолгу смотрела на них и часто, очень часто думала о том, как сложилась бы ее жизнь, если бы мама была жива. Тогда Юленька была бы русская, а не француженка и не швейцарка! Она помнила, как огорчалась мама: «Ты еще маленькая, тебе еще рано учиться читать!» Юленька не могла забыть грустных маминых глаз.

А Мари? Насмешливая и жизнерадостная, практичная «бабушка» иронически пожимала плечами:

— Опять пишешь в Москву? Не надоело еще? Ну что ж, пиши, упрямое дитя мое! Делай, как знаешь, пока не надоеет!

А годы шли, это были очень однообразные годы...

Часть вторая

I.

Апрель. Утро. Солнце прогревает распускающиеся почки старого каштана и кустов сирени у скамейки с чугуна-

ными изогнутыми ножками. Слышны суетливые птичьи голоса. Воздух полон весенней свежести, бодрящих запахов пробуждающейся земли. Ветерок едва заметно шевелит оконную занавеску.

Солнце освещает белую скатерть в столовой, играет в стеклянных вазочках с медом и вареньем, золотит Юленькины волосы...

Ей уже шестнадцать лет. Она среднего роста, очень стройная — гимнастика и спорт, развитые в швейцарских школах, укрепили ее тело, придали уверенность движениям. У нее очень правильный овал лица, высокий лоб, большие серые глаза стали живее и лучистее, а длинные светлые косы, утратившие детскую серебристость, потемнели, приобретя едва заметный рыжеватый оттенок. Нежная женственность уже преодолела угловатость подростка, а в линии свежих губ и маленького твердого подбородка определилась энергичная, волевая складка.

Юленька сидит за столом в обществе Шарля и заботливо следит за ним, по привычке подвигает к нему сахарницу, хлеб, масло, наливает вторую чашку кофе, но лицо ее сохраняет озабоченно-рассеянное выражение. Мысли ее сосредоточены на другом: больна Мари и, по-видимому, очень серьезно. Шарль даже не ворчит сегодня и не придирается. Вчера вечером приходил доктор и долго разговаривал с ним...

— Чем ты сегодня будешь ее кормить? — угрюмо, не глядя на девушку, спрашивает Шарль.

— Доктор сказал, если она захочет, можно куриный бульон, пюре из яблок, немного манной каши... — отвечает Юленька.

— Укол уже делали сегодня?

— Нет еще. Сестра приходит позже.

Часы в длинном деревянном футляре на стене пробили восемь раз. Шарль встал.

— Опоздал я сегодня, — бормочет он, — опоздал! — И уходит.

Юленька моет посуду, тщательно перетирает ее длинным полотенцем и прячет в массивный старый буфет, окидывает хозяйским взглядом комнату, выходит в коридор и бесшумно поднимается по лестнице наверх — в спальню к Мари.

Мари не спит. Глаза на исхудавшем лице кажутся еще больше и темнее. Сухая кожа туго обтянула заострившиеся черты. Мари лежит, маленькая, хрупкая, и молчит.

— Что бы тебе хотелось сегодня покушать, бабушка? — спрашивает Юленька, заботливо наклоняясь к ней и поправляя подушку. Мари пристально смотрит на девушку и чуть заметно улыбается. Юленьке делается жутко от этого взгляда. Она идет к окну и поднимает шторы.

— Я хочу поговорить с тобой, Жюли, — вдруг слышит она за своей спиной голос Мари. Голос у нее слабый, прерывистый и звучит как-то необычно. Юленька оглядывается и, подойдя к ней, садится на стул возле кровати. Мари протягивает руку и выдвигает ящик ночного столика.

— Вот ключи, открой верхний ящик комода, — приказывает она. — Справа увидишь большой пакет. Возьми его и спрячь в свой шкафчик. Там все мои драгоценности: два кольца, браслет, брошь, кулон с цепочкой... и деньги — остатки сбережений... Их немного... И там же письмо..., в котором я подтверждаю... что все это дарю... тебе...

Мари в изнеможении умолкает.

Юленька слушает, неподвижно застыв с пакетом в руках у выдвинутого ящика комода. Она широко раскрыла глаза. Спазма сжимает ей горло.

— Я много для тебя сделала — это несомненно, — после довольно продолжительной паузы медленно говорит Мари, — но ты... ты тоже... много сделала для меня. Ты скрасила последние годы моей жизни.

Юленька делает несколько порывистых шагов и падает на колени перед ее кроватью, пряча лицо в одеяло.

— Зачем плакать, — спокойно говорит Мари и гладит исхудавшей рукой голову Юленьки. — Все там будем! Один раньше, другой — позже. Будущее у всех одно... Я ведь знаю, какая у меня болезнь. Скрывать от меня вздумали!.. Чудаки! За кого они меня принимают? — Она тихо смеется, глаза ее блестят. Слезы? Нет.

— Уколы очень помогают, — говорит она еще тише. — Особенных болей нет и, вероятно, не будет... И вообще, смерть всегда больше касается тех, кто остается, чем того, кто уходит...

Мари вдруг выпрямляется, точно внезапно вспомнив о чем-то.

— Послушай, — говорит она неожиданно суровым тоном, хмурия свои широкие брови, — понимаешь ли ты, что здесь произойдет, когда меня не станет? Ведь эта особа, мадам Тюрбо, немедленно здесь водворится. Шарль — тряпка, говорить с ним об этом — напрасный труд. У них

какие-то темные дела завелись. Она заставит его жениться на себе. Мелани не потерпит этого и уйдет. А ты?..

Приход сестры прерывает разговор. Начинаются приготовления к уколу. Юленька стоит у окна и смотрит в сад. Уже около года она не получает писем от Веры Загаариной. В последнем письме Вера писала, что ей скоро будут делать операцию. С тех пор она не получает писем из Москвы. Юленька чувствует, какая-то тяжесть наваливается на нее и сдавливает сердце. Мари умрет... скоро умрет! Становится трудно дышать. Юленька тихо выходит из комнаты, сбегает вниз по лестнице и бежит в сад на свою любимую скамейку, под старым каштаном. Ей трудно овладеть собой. Она вся под впечатлением героического спокойствия умирающей Мари. Она не понимает этого равнодушия перед лицом смерти. Ее охватывает тоска, отчаяние, протест! Хочется что-то сделать, немедленно, сейчас же, чем-то помочь... Невозможно примириться с этой неизбежностью! Неужели ничего, ничего нельзя сделать?!

Вечером Мари снова возобновила начатый утром разговор. После второго укола она обычно чувствовала себя немного бодрей, возбужденней. Полулежа в глубоком кресле, она говорила то тревожно, лихорадочно-торопливо, то медленно и задумчиво, с большими паузами, во время которых, казалось, напряженно всматривается и вслушивается во что-то давно ушедшее и неожиданно воскресающее теперь в ее памяти.

— Я договорилась с мадам Бертье, твоей бывшей учительницей. Когда я умру, обратись к ней. Она через благотворительное общество «Друзей молодой девушки» (там у нее влиятельная кузина) найдет тебе хорошее место в богатой семье. У иностранцев, конечно! По-английски ты говоришь неплохо и на рояле играешь. Все это тебе пригодится...

Мари опять надолго замолчала. Юленьке показалось, что она заснула.

— Вот не думала я! — воскликнула вдруг Мари окрепшим голосом, приподнимаясь в кресле. Юленька вздрогнула от неожиданности. — Не думала, не гадала, что тебе придется пойти по моим стопам — служить гувернанткой в иностранных семействах! Да уж, видно, судьбы не сломишь! Но... помни, Жюли, что это очень и очень нелегко... Ах, тебе будет трудней, чем было мне, моя бедняжка! У меня счастливый характер — «прелестный характер», говорили люди. — Мари засмеялась. — Изворотливость у

меня была. Я могла приспособиться к любой ситуации — ловко, могу сказать, талантливо приспособиться! Сначала — Россия, потом Англия, затем Америка... Мне помогала и наша галльская жизнерадостность, и практичность, и, казалось бы, не сочетаемое с этой практичностью легкомыслие — все то, чего у тебя нет и никогда не будет, мое бедное дитя! По мне все скользило, не задевая глубоко. Чувства были мелкие, непрочные были чувства! Жизнь я любила... да, любила! — Странная улыбка скривила губы Мари. — Меня прельщало больше всего новое, еще неизвестное мне! Весело, а иногда забавно! Разумеется, авантюризма во всем этом было предостаточно... Вот бы написать мемуары — сумбурный бы получился роман!.. А конец? Какой конец? Воспитательница в приюте и домоправительница у Шарля... А еще практичной меня считали! Да, но в этом виноваты две войны, ничто иное!

Юленьку пробирала дрожь. Было что-то жуткое в этих воспоминаниях умирающей. Но оживление Мари быстро спало, и она попросила перенести ее на кровать.

В один из таких мучительных вечеров Мари устремила на Юленьку свои большие глаза и долго смотрела на нее.

— А вот ты увлечься не станешь, — сказала она. — Ты создана для серьезного и постоянного чувства. Настоящие чувства созревают медленнее, но корни пускают глубокие, их легко не вырвешь, не выбросишь в сорную яму, не задушишь. Помни, что любовь — это всегда большая иллюзия. Один почему-то покажется тебе иным, лучше, чем все остальные! И еще помни, что тот, кто больше любит, всегда побежден, всегда обречен на страдание. Это уж закон природы!

Юленька слушала эти рассуждения с недоумением, с тоскливым, тяжелым чувством. Никто никогда прежде с ней так не говорил. Она понимала (как когда-то было с мамой), что нельзя прерывать больную, что Мари как бы подводит итог всей своей жизни, часто не отдавая себе отчета в том, с кем именно она говорит, что ей надо дать возможность «выговориться». И, слушая лихорадочные речи больной, Юленька все с тем же мятежным, яростным протестом мысленно твердила, до боли сжимая руки: «Неужели ничего нельзя сделать? Неужели ничем нельзя ей помочь? Не могу, не хочу я с этим примириться!»

В эти тревожные дни только Мелани как-то поддерживала Юленьку. Шарль ходил мрачный. От него нельзя

было добиться ни слова, а Мелани, работая за двоих, одним своим присутствием умиротворяюще действовала на Юленьку.

— Иди, отдохни, поспи! — повелительно говорила она Юленьке и сама садилась у постели больной.

— Нужно взять сиделку! — наконец объявила она Шарлю. — Нам с Жюли вдвоем никак не справиться!

И сиделку взяли. Это была коренастая, плотно сбитая женщина с сильными, мускулистыми руками и с профессионально ободряющим выражением лица.

Ночные дежурства Юленька охотно брала на себя, но Мари хотела видеть ее рядом днем и особенно вечером, когда ей хотелось говорить, излить душу.

— Я эгоистка, — говорила она. — И мне хочется на тебя наглядеться. Когда ты тут, в голову не идут грустные мысли. Потерпи уж как-нибудь, дорогая!

Юленька, сдерживая слезы, уверяла, что ей совсем не хочется никуда уходить, и читала вслух. Она убедилась, что монотонное чтение успокаивающе действует на больную. Иногда она вела с Мари нескончаемые разговоры, а часто сидела молча, откинувшись на спинку кресла, вся во власти тщательно скрываемых тяжелых дум. Она вспоминала маму — возле нее в последние часы жизни не было никого из близких, только чужие, и Юленька заботилась о Мари еще внимательнее.

Однажды вечером, спускаясь по лестнице, она услышала голоса в столовой. Мелани не было дома. Юленька знала, что она ушла к своей сестре за семенами, а сиделка только что сменила девушку. В маленькой гостиной было темно. Дверь из гостиной в столовую была открыта. Юленька вошла в гостиную и застыла на месте. Портьера на дверях столовой была раздвинута, Юленька заметила в комнате Шарля и высокую пышную особу с рыжими буйными кудрями и самодовольным лицом.

Юленька остолбенела. Мадам Тюрбо она не раз видела в магазине у Шарля. При встрече с ней Мари принимала независимый, аристократический, недоступный вид. В ее умных глазах вспыхивала ироническая усмешка. Она обменивалась несколькими словами с братом и, небрежно кивнув, уходила, уводя с собой Юленьку. А встречая ее на улице, Мари обычно отворачивалась, делая вид, что не замечает и не узнает сей громоздкой особы, всегда пестро и вызывающе разряженной. Здесь, в доме, мадам Тюрбо никогда не появлялась. И вот сейчас она сидит

в столовой и недовольным тоном что-то выговаривает Шарлю.

— Слишком долго длится это умирание, — ясно услышала Юленька. — И что дают уколы? — резким тоном продолжала неприятная дама.

— Уколы облегчают страдания, — оправдывался Шарль.

Юленька удивилась: никогда она не видела Шарля таким кротким и покорным.

— Облегчают страдания! — насмешливо передразнила его рыжая особа. — Если у нее рак, то все равно она умрет, и чем скорее, тем лучше и для нее и для всех нас! И зачем еще понадобилась эта постоянная сиделка? Какой огромный расход! Удивительно, как ты расщедрился напоследок! Вечно ноешь, будто денег у тебя нет, а на такие фокусы деньги сразу нашлись! Неужели эти две бездельницы не могут справиться без сиделки?

— Трудно, знаешь ли... очень трудно, — угрюмо сказал Шарль. — Ночные дежурства, они с ног совсем сбились...

— Сколько же это еще может продлиться? — спросила она грубо.

— Доктор говорит, месяца полтора, никак не больше... вероятно, меньше...

— Как? Еще полтора месяца! — воскликнула мадам Тюрбо с бурным взрывом негодования. — Я, по-твоему, должна прийти в восторг оттого, что осталось ждать не целый год! А после? Сколько времени ты собираешься ее оплакивать?

— Я не понимаю, — пробормотал Шарль.

— Чего тут не понимать? Мы годами дожидались смерти моего мужа. Дождались, наконец! (Юленька из разговоров Мари с Мелани знала, что муж госпожи Тюрбо недавно умер в психиатрической клинике). А теперь вот канителымся с твоей милой сестрицей! Сколько времени ты собираешься праздновать траур?

— «Праздновать траур?» — так, кажется, не говорят, — пробормотал Шарль.

— Не придирайся к словам! Отвечай на вопрос! Сколько времени ты собираешься водить меня за нос после похорон этой мерзкой старухи?

Шарль шумно вздохнул и встал.

— Знаешь ли, — сказал он более твердым голосом, — существуют все-таки какие-то границы! Существует, наконец, и то, что называется общественным мнением. Не

могу я совсем уж пренебречь им! Не забывай, что мою сестру здесь очень уважают. Так что шесть недель после... когда все кончится, — это уж обязательно, чтобы не было толков. Ты должна понять...

— Шесть недель! — с новым взрывом возмущения воскликнула госпожа Тюрбо. — Смеешься ты надо мной, что ли? Жена она тебе? Мать? Подумаешь, сестра! Очень важно! Мало ли у каждого из нас этого добра найдется! Шесть недель из-за какой-то старой рухляди! Ну, да это мы еще посмотрим! — В ее голосе слышалась угроза. — А кстати, что ты намерен делать с этой воспитанницей?

Шарль откашлялся.

— Она очень нужна в доме, — тихо сказал он.

Шарль сидел за столом, низко опустив голову.

— Нужна в доме! — Ее саркастическая манера повторять последние слова собеседника звучала нагло и вызывающе. — Мне помощницы не нужны. Мне вполне хватит одной горбуни.

Рыжая особа встала (Юленька поразилась ее необъятной фигуре), прошлась по комнате, заглянула в буфет, открыла дверь на веранду.

— Воспитанницу давно пора отдать в услужение, — сказала она тоном, не допускающим возражения. — Иностранцев здесь достаточно, а она, на ее счастье, смазлива. Я устрою ее, не беспокойся! Это сделать нетрудно. Ты подумай, — она повернулась к нему, — мы сможем сдавать две комнаты наверху. Сколько за эти годы ты мог бы заработать, если бы тебе в голову не пришла шальная идея вызвать сестру из Парижа!

Юленька бесшумно вышла из гостиной в коридор и поднялась по лестнице. В спальне было тихо. Мари спала, сиделка дремала в кресле. Юленька осторожно закрыла дверь, прошла в свою комнатку и села на кровать. В голове шумело, ей казалось, что она видит какой-то тяжелый сон.

Когда человек в юности впервые вплотную сталкивается с неприкрытой бесстыдной низостью, то эта низость, наряду с возмущением, вызывает в нем ощущение растерянности, кажется чем-то нереальным, каким-то жутким недоразумением.

«Рак... осталось полтора месяца... они годами дожидались смерти ее мужа... мерзкая старуха... старая рухлядь... две бездельницы... смазлива... праздновать траур...»

Юленька вскочила, открыла настежь окно, легла грудью на широкий подоконник и высунулась в сад. Там было темно и тихо, только однообразно стучали о землю падающие с крыши капли — только что прошел небольшой дождь. Юленька не знала, сколько минуло времени. Ночной запах земли и молодой листвы становился все сильнее.

Дверь на веранду из столовой оставалась открытой. Разговор в комнате продолжался — оттуда глухо доносились голоса. Юленька впилась глазами в эту освещенную дверь. Взгляд ее стал жестким, она сжала свои маленькие кулаки. «Да как она смеет, эта негодяйка, так говорить, так поступать! Бабушка еще жива, а она уже... И меня она хочет куда-то устроить! Она — меня! Как бы не так! А Шарль? Что за ничтожество! «Тряпка!» — сказала бы бабушка. Нет, хуже тряпки! Как он может позволять такое!..» Кровь прилила к лицу. Юленька вскочила с подоконника, стремительно промчалась по коридору, быстро сбежала вниз по лестнице, бесшумно прошла по ковру темную гостиную и неожиданно появилась в рамке раздвинутой портьеры в дверях столовой.

— Мсье Годэ! — сказала она металлическим голосом, обращаясь к растерявшемуся Шарлю. — Я попросила бы вас не разговаривать здесь так громко. Бабушка спит! И вы можете ее потревожить.

Затем, отвернувшись от изумленного Шарля, Юленька впилась негодующим взглядом в глаза рыжей дамы, вкладывая в свой взгляд всю силу неудержимо кипевшего презрения и отвращения. Смерила ее взглядом с головы до ног, усмехнулась презрительно и, не давая опомниться, бледная от негодования, резко повернулась к ним спиной и, как метеор, исчезла в темноте гостиной.

Война была объявлена.

II

На следующее утро Шарль не решался поднять глаза на Юленьку. Он сидел, сгорбившись, пил свой кофе и молчал. Покончив с кофе, он стал застегивать дрожащей рукой пуговицы дождевого плаща. Он не смотрел в глаза девушке.

— Ты вчера меня окончательно убила... Зачем ты так поступаешь? Разве так можно? Теперь все пропало! Теперь уже ничего не поправишь!

Юленька побледнела от негодования.

— Я не собираюсь ничего поправлять, мсье Годэ, — сказала она спокойным, звонким голосом. — Мне нечего поправлять! Но если мадам Тюрбо собирается меня как-то «устраивать», то знайте, что от нее я никогда ничего не приму! Прошу вас сообщить ей об этом!

Шарль вдруг схватил ее за руку.

— Слушай, — сказал он прерывающимся голосом. — Ты не должна думать... Ты еще дитя, ты ничего не понимаешь в жизни... Ты думаешь, мне легко? Для меня теперь рушится все, что с таким трудом я сумел как-то наладить! Моя сестра умирает... я погиб теперь... окончательно погиб, пойми ты это! Ах, несчастье! Какое ужасное несчастье! И зачем должно было так случиться? Как бы было вчетвером нам хорошо жить!..

Он отвернулся, махнул рукой и ушел.

— Вчетвером хорошо жить? — машинально повторила Юленька, глядя ему вслед с внезапно пробудившимся чувством презрительной жалости. — Вчетвером — значит, и Мелани сюда входит! А ведь постоянно ворчал и бранился на нее!

Она села за стол, подперла голову обеими руками и задумалась. Неизвестно откуда явившийся Мистигри прыгнул ей на колени.

— Ты пятый. Спи, лентяй, пока еще есть возможность!

Юленька напряженно обдумывала свое положение. В памяти возникали картины прошлого, она вспоминала свою маму — это всегда успокаивало ее.

— Надо пойти к мадам Бертье, поговорить с ней, — соображала Юленька. — Но ведь бабушка еще жива?.. Как все это странно и мучительно! Все равно, что заранее шить траур... Ах, если бы я могла узнать, где теперь Вера Загарина и что с ней случилось!..

В столовую тихонько вошла Мелани, внимательно посмотрела на Юленьку и села напротив. В ее карих глазах светились сочувствие, тоска и волнение.

— Думаешь? — спросила она, подавляя вздох. — Подумай, подумай. Нам обеим надо хорошенько подумать, чтобы не остаться в дураках.

Она перегнулась через стол совсем близко к Юленьке и продолжала доверительно:

— Знай только, что я уйду отсюда тотчас же после похорон.

Юленька вздрогнула.

— Чего ты? Нужно прямо в глаза смотреть трудно-
стям. Иначе пропадешь. И никто не пожалеет! Тебе жал-
ко нашу мадемуазель Мари, мне тоже, хорошая она была
(«Была», — подумала Юленька). Да нельзя нам с тобой
быть сентиментальными, да еще в нашем положении. Мне,
конечно, легче, чем тебе, я свое отжила. Мне и на горб
теперь наплевать, а сколько огорчений он мне принес! А
вот ты! Сколько тебе еще предстоит впереди. Подумать
страшно!

Мелани замолчала. Юленька пристально посмотрела на
нее. Она никогда не говорила с ней про свой горб.

— Этой рыжей корове... я служить не намерена. Пусть
и не надеется! Одного мужа загнала в гроб и этого дурня
туда же загонит очень скоро!

Мелани зло усмехнулась.

— Она уже подъезжала ко мне. Расстилалась в любез-
ностях, наобещала горы золотые, да только ничего из это-
го не выйдет. Не на таковскую напала, меня не проведешь!
И ты тоже не обольщайся. Помни, что она здесь обосну-
ется сразу же после похорон, возможно, даже во время
похорон. Эта своего не упустит! А тебя она не пожалеет, в
этом ты можешь быть уверена!

— А мне и не нужна ее жалость, — сердито возразила
Юленька.

Мелани засмеялась.

— Да я ведь вчера вечером все видела из кухни. Ты как
привидение к ним из темноты выскочила! Перепугала их,
ха-ха-ха! А я в кухне тихонько сидела. Никто и не знал,
что я вернулась домой. Я весь разговор слышала. Значит,
ты из гостиной, а я из кухни. С двух сторон. Подслуши-
вать, говорят, не годится, да так уж оно вышло. Без умы-
сла ведь!

Когда Мелани смеялась, а это случалось чрезвычайно
редко, лицо ее молодело, а прекрасные белые зубы кра-
сиво выделялись на смуглом лице.

— Эх, молодо-зелено! — вытирая слезы, выступившие
от смеха, пробормотала она и придвинулась еще ближе к
Юленьке.

— Я уже решила, что уйду отсюда. Он, зайчишка напу-
ганный, жалованье сразу выдал вперед за два месяца, да
еще и премию. Просил только об этом никому не гово-
рить... И чего он так ее боится, никак не пойму! — приба-
вила Мелани, качая головой. — Чем она его так привя-
зала к себе? Чудеса, да и только!.. Что-то тут кроется...

Нечистое дело! Говорят, впутала она его в грязную историю. Люди всякое болтают, да нам с тобой от этого не легче.

Мелани помолчала.

— Нам обеим нужно быть готовыми вовремя уйти из этого дома. Уложи все свои вещи заранее. Я отнесу их к сестре. Так будет надежнее. Не то эта шлюха оберет тебя, как липку, и в одной рубашонке на улицу вытолкнет. И ничего с ней не поделаешь! Что брови-то хмуришь? Уйдем отсюда вместе. Поживешь у моей сестры немного, а там найдешь себе хорошее место. Мадам Бертье что-нибудь подходящее подыщет...

III

Все было позади: болезнь и смерть Мари, похороны, злобное торжество госпожи Тюрбо, жалкая растерянность Шарля, сочувствие Мелани и ее сестры-цветочницы, приглушенная грусть расставания, непривычное одиночество среди новых лиц. Мадам Бертье и ее влиятельная кузина из благотворительного общества «Друзей молодой девушки», Лозанна с фуникулером и площадью святого Франсуа — все отошло в безвозвратное прошлое.

После краткого пребывания в Париже американское семейство Джекстонов с двумя детьми и гувернанткой, мадемуазель Жюли или мисс Джулией (это зависело от настроения), утвердилось на более продолжительный срок во Французской Ривьере.

Отель здесь был еще более роскошный, чем в Лозанне и Париже, но, как в Лозанне и Париже, Юленькина маленькая комнатка находилась в мансарде, рядом с комнатами гостиничной прислуги, и выходила окном на север.

Юленька просыпалась рано, едва желтоватый дневной свет пробивался сквозь полосатую штору, чуть колеблющую предрассветным ветерком. Сонная, она спускала ноги на коврик перед кроватью, по укоровившейся с детства привычке быстро проделывала несколько энергичных гимнастических упражнений и подбегала к окну. Редкие бледные звезды, роса на окне, утренняя тишина — все казалось призрачным, нереальным. Все еще спали.

А Юленьке не спалось. Каждое утро она бодро и доверчиво встречала наступающий день. Из Юленькиного окна не было видно моря, но шум его — однообразный, заглушенный рокот — доносился до нее отчетливо, и этот далекий, волнующий зов очаровывал девушку. Она ждала и

уже зримо представляла солнечный день, синеву южного моря, горячий песок, освежающее купанье! Охваченная безотчетной радостью, Юленька начинала весело одеваться, тщательно расчесывала свои косы, заплетала и укладывала их большим узлом на затылке. Прическа придавала ей строгий, несколько старомодный вид. Так причесываться ей посоветовала еще в Лозанне мадам Бертье, чтобы выглядеть старше и солиднее.

Элегантно одетая, в чем помогли ей деньги Мари, свежая и розовая, она деловито спускалась лифтом в апартаменты, занятые американским семейством, будила детей — двенадцатилетнюю Эдит и десятилетнего Джона, наблюдала за их одеванием, а затем вела пить какао в залитый светом огромный зал ресторана.

После завтрака, захватив купальные костюмы, они шли втроем к морю, на пляж. Проходили парком, широко ступая по аккуратным дорожкам, посыпанным мелким гравием, наслаждались красивыми клумбами, в сложном цветочном узоре которых резко выделялись желтые тюльпаны, красная гвоздика и белые нарциссы, вдыхали чарующий запах магнолий и олеандров и, наконец, выходили к широкой белой лестнице, спускающейся прямо к морю.

Дети резво сбегали вниз, а Юленька, охваченная восторгом, каждый раз невольно останавливалась наверху. А затем, охваченная все той же бездумной радостью, девушка быстро сбегала вслед за детьми вниз по лестнице на пляж.

Учтивый старичок, позванивая большой связкой ключей, немедленно отпирал кабину, арендованную американским семейством. Дети, надев купальные костюмы, тотчас же бежали к берегу, чтобы пошлепать ногами по воде среди кружева белой пены, оставляемой на песке медленно откатывающимися маленькими волнами. Вслед за ними немедленно появлялся учитель плавания — высокий, широкоплечий любезный молодой человек с бронзовым загаром мускулистого тела. Начинался урок плавания по всем правилам спортивного искусства.

Юленька умела плавать. Она даже участвовала в детских соревнованиях на Лемане и получила первый приз, преисполнив гордостью свою «бабушку» и великим негодованием Шарля за эту, по его мнению, возмутительную попытку «утопить ни в чем не повинную девчонку в ледяной воде Лемана». Сам он ни разу в жизни в Лемане не выкупался.



С. ЩЕРБАКОВ (США). Пахарь.

Рыбак и золотая рыбка.



Теперь, преисполненная сознанием важности возложенных на нее обязанностей, Юленька в черном строгом купальном костюме и в большой, как солнце, мексиканской шляпе, чинно усевшись в шезлонге, с высоты своего шестнадцатилетнего превосходства внимательно и критически наблюдала за уроком.

Десятилетний Джон, или Жан, как обязана называть его по-французски Юленька (впрочем, на это французское имя Джон демонстративно не желает отзываться), — коренастый, широкоплечий, коротконогий, с жесткой копной торчащих темных волос — был до смешного похож на своего отца — мистера Джекстона. У него такие же небольшие, глубоко сидящие темные глаза, крупные, неровные зубы, движения медлительные, выражение лица упрямое, своевольное, высокомерное. Он очень старается научиться плавать, сердится, когда ему это плохо удается, пыхтит, тяжело дышит и всю вину, конечно, сваливает на учителя. Он дерзит, бранит по-английски учителя и, кажется, не прочь бы ударить его.

Но любезный молодой француз умеет поддержать свое достоинство, умеет подчас и строго прикрикнуть на дерзкого мальчишку, и Джон поневоле смиряется.

Двенадцатилетняя Эдит совсем другая. Она тоненькая, грациозная. У нее по-детски хорошенькое личико с темными кудряшками коротких волос вокруг лба и щек, тоненький прямой носик, светлые глаза с лукавой усмешкой. Это выражение почти не сходит с ее остренького личика. Она знает напамять имена и все отличительные особенности кинематографических звезд, особенно мужского пола, и Юленька с удивлением подмечает в ней черты вполне зрелого женского кокетства. Молодой, красивый учитель ей определенно нравится. Ей нравится, когда он двумя ладонями поддерживает ее снизу в воде, в то время как она со смехом энергично машет руками и брыкает ногами, проделывая плавательные движения. Но иногда учителя заменяет его жена, симпатичная молодая женщина с энергичным смуглым лицом, отличная спортсменка. Она лучше, чем ее муж, понятнее, по мнению Юленьки, объясняет приемы движений и дыхания при плавании. Но нужно видеть, как при появлении мадам Дениз на пляже сразу меняется выражение лица и настроение мисс Эдит! Урок перестает быть интересным. Лукавая смешливость вдруг сменяется упрямой раздраженностью, от которой грубеют милостивые черты детского лица: смешно

выпячиваются губы, презрительно морщится тонкий носик, сердито щурятся глаза под сдвинутыми бровями.

— Опять приволоклась эта, — вызывающе громко говорит Эдит по-английски. — Кто ее просил?

— Говорите по-французски, — строго замечает Юленька, притворяясь, будто не поняла дерзких слов. — Вы живете во Франции для того, чтобы научиться хорошо говорить по-французски.

— Это я и без вас знаю! — огрызается Эдит. — Мне надоели ваши нравоучения! Вы очень уж важничаете, а вам всего шестнадцать лет! Через четыре года я буду такая же, как и вы!

Юленька удобно устроилась в шезлонге, задумчиво глядя в синюю даль, чуть подернутую на горизонте серебристым туманом. Казалось, что море отдыхает, оно спокойно поблескивает, тихо переливаясь серебристыми муаровыми извивами, выброшенные прибоем желто-зеленые водоросли и ракушки сохнут у самой воды на влажном песке, пловцы равномерно взмахивают руками, на фоне пляжа резко выделяются пестрые палатки, зонтики и человеческие фигурки, лежащие в разнообразных позах. Небольшой залив и белая высокая башня маяка, маленькая пристань, прибрежные красноватые скалы, стройные силуэты пальм на отдаленном берегу залива и яркое небо, насыщенное зноем, — все, казалось, застыло, как мираж, в кристально чистом, неподвижном воздухе.

«Я должна воспитывать этих детей, — серьезно размышляла Юленька, — должна стараться исправлять их недостатки. Это моя прямая обязанность. Но как это сделать?» Лицо Эдит явно выражало нетерпение, скуку и насмешку при любой Юленькиной попытке серьезно поговорить с ней, убедить ее в чем-либо, а неподвижные глаза Джона так неприязненно-дерзко разглядывали Юленьку при любом ее замечании. Оба они столь твердо были убеждены в своей не подлежащей сомнению правоте, что за короткий срок знакомства с ними Юленька уже ясно ощутила всю обособленность, самоуверенность чуждой ей среды.

Юленька вздрогнула, вспомнив, как несколько дней назад Джон и Эдит убивали камнями маленьких зеленых безобидных ящериц, гнездившихся в прибрежных скалах, и смеялись при этом. На замечание гувернантки Джон ответил:

— Мои родители мне этого не запрещают.

Вечером того же дня Юленька убедилась, что на этот

раз Джон не солгал: мистер и миссис Джекстон сочли гнусный поступок их сына «обычной детской шалостью». Мистер пробормотал, равнодушно пожав плечами, что «все мы были в свое время детьми», миссис мило улыбнулась, а тетка, презрительно поджав губы, посоветовала Юленьке «не делать из мухи слона».

«Почему они такие жестокие, эти дети? — грустно размышляла Юленька. — Ведь их никто никогда не оскорблял, не обижал, они всегда жили в прекрасных материальных условиях, все блага жизни им доступны, все достается им без труда — отчего же в них столько злобы, столько жестокости? Отчего страдание, слабость, болезнь возбуждают у них злорадный смех? Они делают пакости ради самой пакости и находят в этом удовольствие... Ну как с этим бороться?»

Юленька закрыла глаза. Воспоминания о матери, переписка с Верой Загариной, русские книги, которые она читала, — все это отделяло ее от этих праздных и самоуверенных людей.

«Если бы это море было Черное, а не Средиземное, — подумала она, — и если бы все кругом говорили по-русски, какое это было бы счастье!.. Суждено ли мне когда-нибудь попасть туда?..»

Девушка меланхолично вздохнула, но тут же, встряхнувшись, прибавила с уверенностью:

— Попаду! Обязательно попаду!

Она быстро вскочила, сняла мексиканскую шляпу, натянула на голову купальную шапочку и побежала на высокий, узкий мостик, с которого пловцы прыгали в воду. Через минуту она уже была в воде, такой прозрачной, что на дне были ясно видны песок, разноцветные камни, раковины, и поплыла, сильными, уверенными движениями рассекая воду, ныряя и вновь появляясь на поверхности. Она чувствовала себя в родной стихии — плавала то бок, то стоя, наконец, повернувшись на спину, застыла в неподвижной позе, широко раскинув руки, закинув назад голову и устремив смеющиеся, счастливые глаза в бездонное, насыщенное зноем небо.

— «А море Черное шумит, не умолкая, расскажам волн качающих внимая!» — пропела она звучным грудным голосом, забыв обо всем на свете.

Когда Юленька вышла из воды и сняла шапочку, она вдруг заметила устремленные на нее взгляды и услышала приятный женский голос.

— Какие дивные волосы у вашей сестры! — с восхищением сказала женщина по-английски, обращаясь, по-видимому, к Эдит.

Эдит презрительно сморщила носик.

— Это совсем не моя сестра, — ответила она очень громко. — Это наша гувернантка, мы ее наняли в Лозанне.

— Ах, как невежливо вы выражаетесь, маленькая мисс, — укоризненно сказала та же женщина, на этот раз по-французски. — Так не говорят, нужно сказать — пригласили!..

Юленька, еще вся во власти возбуждения от купания, с любопытством взглянула на обладательницу красивого голоса. Она увидела женщину под большим красным зонтом. Ее тонкое лицо, покрытое мягким загаром, светлые, гладкие, словно отполированные, волосы выглядели особенно хорошо на южном солнце. Рядом с ней сидела другая дама, с огненно-рыжими кудряшками. Перед ней стоял низенький мольберт. Она что-то чертила широкими, решительными штрихами, откидывая назад голову и бросая неодобрительные взгляды на залитый солнцем синий залив. За их спинами, картинно завернувшись в великолепный полосатый купальный плащ, стоял мужчина, ярко выраженного романского типа. Энергичные черты лица подчеркивали атлетичность его фигуры. Он пристально смотрел на Юленьку, и от этого оценивающего взгляда Юленька почувствовала неприятную неловкость.

— Вы из Лозанны? Швейцарка? — спросила дама под красным зонтом, приветливо улыбаясь.

— Нет, я русская, — ответила Юленька.

— Русская?! — изумилась дама. — Но вы говорите по-французски, как настоящая француженка. Я прислушивалась к вашему разговору с детьми, — прибавила она, будто извиняясь.

«Значит, она знала, что я им не сестра», — подумала Юленька.

— Я родилась в Париже, — объяснила она. — Моя бабушка, француженка, воспитывала меня в Лозанне.

Юленька всегда называла Мари бабушкой.

— А сейчас ваша бабушка где? — спросила дама.

— Она умерла, — сказала Юленька.

— А ваши родители?

— Тоже...

— И вы говорите по-русски? — спросила дама с живым интересом.

— Говорю, — ответила Юленька.

— Самовар, икра, водка! — смешно коверкая русские слова, прокаркал вдруг кто-то за Юленькиной спиной.

Она удивленно обернулась. В нескольких шагах от нее лежал толстый парень в каком-то замысловатом купальном костюме, похожем на юбку. Крашенные платиновые волосы его были завиты и уложены сложным орнаментом.

— Самовар, икра, водка, — повторил он вызывающе нагло, открывая в издевательской усмешке желтоватые редкие зубы.

— И это все ваше знание русского языка? — иронически спросила по-французски Юленька.

— Нет, это весь ваш русский вклад в мировую цивилизацию! — хихикнул толстый парень.

Его заявление прозвучало так глупо, что Юленька в первую минуту даже растерялась. Но в то же мгновение она почувствовала, что в ней медленно нарастает негодование и отвращение, которые испытывает человек, когда грязные руки прикоснутся к самому дорогому, сокровенному, к чему долгие годы были прикованы все мысли, все мечты... Она ненавидела парня в этот миг, ненавидела так же, как госпожу Тюрбо в Лозанне, когда она впервые услышала ее циничные рассуждения. Голос ее прозвучал неожиданно для нее самой громко и отчетливо. Юленька держалась с таким достоинством, что нельзя было подумать о ней как о «нанятой гувернантке».

— То, что вы говорите... — сказала она, четко произнося каждое слово, — то, что вы говорите, до такой степени глупо и бессмысленно, что не заслуживает возражения!

— Правильно! — раздался громкий мужской голос откуда-то сзади, со стороны кабин.

На пляже стало тихо. Все почувствовали большую духовную силу в этой девушке.

Юленька невольно взглянула в сторону кабин, откуда послышался ободряющий голос единомышленника. В тени кабины сидел коренастый, голубоглазый, загорелый мужчина лет около тридцати с книгой в руках. Он на мгновение встретился глазами с Юленькой, сочувственно усмехнулся и опять погрузился в чтение. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить, что он не принадлежит к пляжному обществу: большие, огрубевшие кисти рук человека физического труда, татуировка на груди, какая обычно бывает у моряков, энергичные черты лица.

Рыжая художница первой нарушила молчание.

— Вы кто? Blouson noir или blouson doré?* — спросила она, воинственно нацелившись своим длинным карандашом на платиноволосого парня. — Дикарь двадцатого века, щеголяющий невежеством и дешевой оригинальностью! И откуда только такие берутся! Разрядился, как фазан, и воображает...

— Вам не нравится, что мы живем не по нормам, — съязвил щеголь.

— Кто это «мы»? И какие у вас нормы, кроме хулиганства? — с возмущением воскликнула художница.

— Не знаю, о каких нормах поведения вы говорите, но всякому ясно, что вы понятия не имеете ни о русской музыке, ни о русской литературе, — вступила в разговор другая дама. — А в наше время это был признак большой некультурности. Советую вам, молодой человек, поинтересоваться этими вопросами.

— Русское искусство! — восхищенно зашебетала художница. — А русский театр? Опера? Балет? Вы стояли хоть раз в очереди за билетами, когда они приезжают на гастроли? Да вы просто не доросли до того, чтобы понимать их искусство!

— А спутники! Не забудьте о спутниках! — опять слышался голос со стороны кабин.

— Спутники? — обозлился парень. — Русские тут ни при чем! Это пленные немцы сделали им спутники. Русские заставили их работать. И они всему научили русских...

— Какая ерунда! — возмутилась художница.

— Это старо, — насмешливо протянула дама в красивом купальнике. — Этот слух распространили американцы. Им было явно неудобно, что они так запоздали со своим «Авангардом»! А теперь, когда спутникам счет потерян, когда русские сфотографировали другую сторону Луны и когда этот — как его называют? — лунник уже прыгнул на Луну, теперь-то уж совсем смешно говорить о каких-то пленных немцах!

Рыженькая художница яростно взмахнула карандашом в направлении парня со смешной прической:

— Вы француз и так преклоняетесь перед бошами! Позор! Да вы, наверное, немецкий шпион!

— Шпион держал бы себя осторожнее, — со смехом за-

* Так называют во Франции некоторых хулиганов, в основном принадлежащих к обеспеченным кругам буржуазии.

метил атлет в полосатой тоге. — Этот разговор, по-видимому, забавлял его. Он продолжал, глядя на Юленьку:

— Слухи о каких-то гениальных пленных немцах, конечно, чепуха! Чистейший вздор! Русские — очень талантливый народ, это не подлежит никакому сомнению!

— Эге-ге! — вдруг торопливо с притворным испугом затараторил потенциальный немецкий шпион. — Тут запахло высокими идеями! Мы не желаем подчиняться каким-либо идеям! Мы выше этого! Буржуазию мы презираем, коммунистов не признаем! Нам с вами не по пути! Мы держимся подальше от политики.

Продекламировав эту тираду, он разбежался короткими ногами, неловко бухнулся в воду и поплыл, странно взмахивая непропорционально длинными руками. Его фазанья купальная юбка всплыла и вздулась пестрым пузырем. На пляже грянул дружный смех.

— Я хотела бы поближе познакомиться с вами, мадемуазель Жюли, — сказала дама с красным зонтиком и улыбнулась. — Видите, я и имя уже ваше знаю!

Она говорила так добродушно, ее красивые глаза, обрамленные черными ресницами, так приветливо щурились, что Юленька почувствовала к ней симпатию и доверие.

Дама оказалась певицей. Звали ее Сесиль Дюваль. Она выступала в казино в Каннах и удивилась, узнав, что Юленька ни разу ее не слышала.

— Вы не бываете в казино? Но в свободный день?..

— У меня нет свободного дня, — сказала Юленька. — Да он мне и не нужен! Я целый день с детьми. Их нельзя оставлять одних.

Она не заметила восхищенного взгляда художницы и очень внимательного, изучающего взгляда атлета.

— А вечером, когда они спят?.. — продолжала допрашивать Сесиль Дюваль.

— Тогда и я сплю! — засмеялась Юленька. — Встаю я очень рано.

Когда Юленька смеялась, все ее юное лицо точно освещалось изнутри и необычайно хорошилось.

— У вас отдельная комната? — спросила артистка.

— Да.

На пляже появились мистер и миссис Джекстон. Он — молчаливый, мрачный, а она — повелительная и говорливая. Окинув критическим взглядом пляж, миссис Джек-

стон начальническим тоном обратилась по-английски к Юленьке:

— Мисс Джулия, уведите детей переодеться, а потом поведите их в парк погулять перед обедом. Достаточно они у вас тут пеклись на солнце! Всему должна быть мера!

Поднялась Эдит. Джон заспорил — ему не хочется идти в парк, здесь ведь хорошо!

— Сюда можете возвратиться после обеда, часам к четырем, — милостиво разрешила миссис Джекстон. — А теперь идите, ты слышишь, Джонни?

В парке было тенисто, тихо и приятно. Кривые дорожки вели к центральной площадке, в конце которой возвышалась раковина концертной эстрады. Струнный оркестр исполнял утреннюю программу — произведения Шопена. Пахло розами и резедой. Солнечные пятна на дорожках и газоне дрожали, как водяная зыбь.

Юленька с детьми села на скамейку под развесистой магнолией, белые огромные цветы которой казались фарфоровыми чашками, подвешенными среди густой темной зелени дерева. Отсюда хорошо была слышна музыка. Дети скучали и спрашивали, скоро ли обед. Гуляющих было мало. По аллее мимо них быстро прошел господин, который недавно был на пляже с дамами. Шел он быстрой, легкой походкой, необычной для крупного человека, и, проходя мимо, учтиво поклонился Юленьке.

После обеда дети должны были отдыхать; Юленька устроилась в кресле и рассматривала иллюстрированные журналы. Ее слегка клонило ко сну: морской воздух, солнце и южный ветер вызывают у непривычного человека крайнее утомление, почти изнеможение, но с этим неприятным ощущением она справилась в первые же дни пребывания на море и теперь чувствовала себя в общем бодро.

К четырем часам она с детьми вновь пошла на пляж. Вода была приятно теплая. Юленька принялась учить детей плавать на спине. Эдит быстро усвоила, а с Джоном было труднее, он наглотался соленой воды и с размаху ударил Юленьку кулаком по плечу, обвиняя ее в своей неудаче. Юленька старалась сохранить достоинство и сказала, что больше учить его не будет. Она велела ему выйти из воды, но Джон только показал язык и продолжал барахтаться у берега. Юленька вышла на берег, плечо ныло, она готова была заплакать. И вдруг она увидела неожиданную картину.

В стороне, у кабины, сидел высокий брюнет, который утром был на пляже, а потом поклонился ей в парке. Рядом с ним на разостланном халате лежал спасенный Юленькой три дня тому назад щенок — чистенький, вымытый и причесанный, с тщательно забинтованной передней лапкой. Господин, по-видимому, всецело был занят щенком, он ласково гладил его, весело разговаривал со стариком сторожем и даже не смотрел в сторону Юленьки и детей.

— Да! — говорил он. — Лапка теперь у него в гипсе. Хирург сказал, что все будет в порядке, никаких следов ранения не останется. А щенок-то породистый! Вот ведь нашлась добрая душа, спасла его!

Юленька недоумевала. Она готова была поклясться, что во время спасения щенка этого господина на пляже не было. Откуда он узнал? Кто ему рассказал? В этот момент господин повернулся и увидел Юленьку. Он тотчас же встал.

— Я должен просить у вас прощения, мадемуазель, — сказал он, подходя к ней, — что без вашего разрешения завладел вашим щенком, но дело в том, что необходимо было немедленное хирургическое вмешательство, иначе ему пришлось бы ампутировать лапку.

— Этот щенок совсем не мой, — смущенно ответила изумленная Юленька.

— Вы спасли его, — возразил он очень серьезно, даже несколько торжественно. — По всей справедливости он принадлежит вам. Но если вы согласитесь поручить его воспитание мне, я буду очень счастлив. Я очень люблю собак.

Он говорил учтиво и вполне серьезно. Но глаза его светились каким-то странным светом и, казалось, улыбались.

Юленька не могла понять, что же все это значит.

— Возьмите его, я уверена, у вас ему будет хорошо, — сказала она, искренне обрадовавшись, что судьба щенка складывается так удачно.

— Решено! Принимаю с благодарностью!

Он поклонился.

— Но нужно придумать ему кличку, — сказал господин. — Как вы его назовете?

— Я? Почему я?

— Потому что он ваш! Я только его воспитатель. Давайте придумаем ему имя!

— Эдит! Жан! — позвала детей Юленька. — Идите подумаем вместе, как назвать щенка!

Дети давно уже вылезли из воды и с интересом прислушивались к разговору.

— Назовем его Жюлем! — давась от смеха, воскликнула Эдит. — Если его спасительница Жюли, это самое подходящее для него имя — Жюль!

Не дожидаясь ответа, она побежала в воду.

— Жюль Сезар! — закричала она из воды. — Юлий Цезарь!

— Назовите его Белый Клык или Рин-Тин-Тин! — мрачно предложил Джон.

— Все это слишком известные имена, — невозмутимо возразила Юленька. — Но, пожалуй, можно сократить одно из них: назовем его просто Тином. По-моему, это неплохо звучит: Тин! Как вы думаете?

— Принято единогласно! — торжественно провозгласил смуглый господин и стал гладить щенка, повторяя: — Тин, Тин, Тин! — Щенок слабо взвизнул.

— Видите, он согласен! А теперь остается только представиться мне самому! Извините, что делаю это с таким опозданием! — И он церемонно раскланялся перед Юленькой.

— Эдмон Дэрблэ из Парижа! — отрекомендовался он.

Наступал вечер. Солнце больше не грело. Нужно было возвращаться в отель — переодеваться к ужину.

— Видите, как некоторые люди любят животных, — назидательно говорила детям Юленька по дороге. — Господин охотно взял бедную собачку к себе на воспитание. Мало того, он отнес больного щенка к хирургу. А вот вы...

— И вовсе не потому он взял к себе щенка, что любит животных, — презрительно наморщив свой хорошенький носик, перебила Юленьку Эдит. — Он влюблен в вас, этот мсье, он все это и придумал, чтобы поближе познакомиться с вами.

— Какие вы глупости говорите, Эдит! — искренне возмутилась Юленька. — Я этого господина сегодня первый раз в жизни увидела. Откуда у вас такие понятия? В ваши годы...

— Перестаньте преследовать меня моими годами! — окончательно разозлилась Эдит. — Оставьте в покое мои годы! Через четыре года я буду такая же, как вы! А влюбляются иногда с первого взгляда. Существует даже та-

кое выражение: любовь с первого взгляда! Вот вы даже этого не знаете, а важничаете!

IV

Рано утром Юленька часто слышала внизу равномерный металлический звук: это садовник — высокий светловолосый парень — железными граблями выравнивал гравий на дорожках. Днем она несколько раз встречала его в парке. Он подстригал газоны, окапывал розовые кусты, что-то пересаживал на клумбах, а вечером, стоя посреди зеленой лужайки, ловко управлял длинным серым шлангом. После дневного зноя парк наполнился свежей прохладой, а трава, деревья, цветы и сама земля начали распространять бодрящее, жизнерадостное благоухание. Мелкие частицы водяной струи, освещенные солнечным закатом, красновато поблескивали. Розовый свет падал на молодое, энергичное лицо садовника, на его сильные, мускулистые руки, ловко управляющие тяжелым шлангом. Он был всецело занят своей работой и, казалось, никого и ничего не замечал вокруг.

Однажды Юленька застала этого парня оживленно беседующим с незнакомцем. Впрочем, незнакомца она уже видела на пляже и обратила внимание на его позицию в том неприятном разговоре. Он сразу встал, нахмурился, захлопнул книгу и исчез.

Беседа их была какой-то странной: оба то и дело заглядывали в толстую книгу, похожую на словарь. Голубоглазый парень держал в руках газету и о чем-то расспрашивал садовника.

Юленька с детьми сидела на скамейке в конце аллеи и не могла слышать, о чем они говорили. Но когда она проходила с детьми мимо них, она невольно приостановилась — они говорили по-русски, и газета была русская.

— Вы русский? — неожиданно для самой себя спросила Юленька.

Оба собеседника разом повернулись и уставились на нее с немым любопытством. Юленька смутилась, покраснела и прибавила, как бы извиняясь:

— Вот не ожидала!

Эдит и Джон вытаращили на нее глаза, и она, окончательно смутившись, поторопилась поскорей уйти вместе с детьми.

Вечером того же дня, уложив детей, Юленька поднялась

к себе наверх. Она едва успела расплести косы, как к ней постучали. Удивленная, она подошла к двери и выглянула в плохо освещенный коридор. Перед ней стояли ее новые знакомые: артистка Сесиль Дюваль и рыженькая художница Сюзи. Красивые, в вечерних туалетах, они наполнили коридор тонким ароматом дорогих духов. Лица их сияли.

— Мы за вами! — объявила Сесиль, быстро входя в комнату. — Автомобиль ждет нас внизу, перед отелем. Едемте в казино! Теперь как раз время!

— Но я не могу! — растерянно запротестовала Юленька. — Уже так поздно! Мне ведь завтра рано вставать...

— Ну, полноте, дорогая! — сказала Сесиль, обняв ее за плечи. — Мы ведь недолго там пробудем и доставим вас в целости и невредимости назад... сюда...

Сюзи критическим взглядом оглядела маленькую комнату, подошла к шкафу и решительно открыла его.

— Показывайте ваши туалеты! Мы вас в пять минут оденем!

Она вытащила из шкафа одно за другим все Юленькины платья и бросила их на кровать.

— Не считайте нас бесцеремонными, — попросила Сесиль, взяв Юленьку за руку и очаровательно улыбаясь. — Мы очень торопимся, мне ведь сегодня выступать в казино... А нам так хотелось бы хоть немножко развлечь вас! Вы такая милая, прелестная и целый день с этими невыносимыми, злыми детьми! Это ужасно! Тяжело видеть все это!

Она болтала так весело, добродушно, казалось, все пространство маленькой комнаты наполнилось очаровательными звуками ее голоса, ароматом ее духов, блеском ее глаз.

Сюзи деловито разбирала Юленькины платья, разложенные на кровати.

— Ничего подходящего здесь нет! — объявила она решительно. — Все дневные, спортивные, короткие. Ни одного вечернего туалета!..

— А вот это, беленькое? — спросила Сесиль. — Оно довольно длинное. Если к нему прибавить мое кружево... — Она сбросила с плеч длинный кружевной прозрачный шарф.

— Да, это, пожалуй, единственное, которое как-то можно приспособить, — согласилась Сюзи. — Но сначала за прическу!

— Только диадемой! — тоном, не допускающим возражений, заметила певица. — Такие волосы иначе ведь и не причешешь!

И, к изумлению Юленьки, она вдруг продекламовала по-русски, смешно выговаривая слова:

— «Вокруг лилейного челя ти трижды косу обвила!» Это ваш Пушкин сказал! Видите, я брала уроки русского языка. Ваш язык так хорош для пения! Я очень старалась, но у меня плохие способности к языкам. Ничего путного из меня не получилось... — вздохнула она.

Юленька не успела опомниться, как, усадив ее на единственный в комнате стул, обе дамы деловито завладели ее волосами. Они энергично орудовали щеткой и гребенкой, при этом возбужденно переговаривались и даже слегка ссорились, обмениваясь замечаниями по поводу Юленькиных волос.

Облачив Юленьку в белое, довольно длинное платье без рукавов, с большим вырезом на груди и спине, искусно устроив кружевной шарф в виде красивой отделки, придавшей платью нарядный вид, дамы заволновались:

— Необходимы серьги! Хоть какое-нибудь ожерелье! Как мы об этом не подумали! Есть у вас что-нибудь, Жюли?

Юленька достала с верхней полки шкафа маленькую деревянную шкатулку, в которой хранились драгоценности, оставленные ей Мари. Там были два кольца, браслет, тонкая золотая цепочка и красивый золотой кулон с довольно крупным бриллиантом и двумя жемчужинами.

— А серег нет? Да у вас и уши не проколоты, — разочарованно сказали дамы. — Ну что ж! Надевайте кулон, цепочка такая тонкая, что ее и не видно! Браслет и кольца тоже надевайте!

Юленька всегда носила на безымянном пальце левой руки только мамино тоненькое золотое колечко. Рядом с ним эти два кольца показались ей аляповатыми и грубыми, но она послушно надела их.

Сюзи подняла Юленькину руку.

— Пальцы тонкие, форма ногтей хороша, — сказала она. — Отчего вы не красите ногти?

«Потому что очень глупо красить ногти», — подумала Юленька, но не сказала этого. Она совсем растерялась. Обе дамы так много говорили, что ей не удавалось вставить ни одного слова.

— К чему все это? — непрерывно повторяла Юленька. У нее было белое летнее манто, которое она еще ни разу не надевала. Она надела его поверх платья.

Внизу их ждал светло-серый кадиллак. За рулем сидел Эдмон Дэрблэ. Он церемонно поклонился дамам. Сюзи села рядом с ним, Сесиль и Юленька — сзади. Автомобиль чуть качнулся, а затем мягко и бесшумно покатился по широкому шоссе, высоко над морем. Темное южное небо было усеяно яркими звездами, далеко внизу волны глухо разбивались о прибрежные камни, запах моря сливался с ночным запахом сосновой рощи, тянувшейся вдоль шоссе. Равномерно вспыхивал и угасал маяк, соперничая со звездами. Автомобиль мягко скользнул сквозь теплую летнюю ночь...

...«Как хорошо! Как чудесно! — думала Юленька, откинувшись на спинку мягкого сиденья, жадно вдыхая опьяняющее ночное благоухание. — Вот так ехать бы и ехать, долго-долго, без конца!»

Огромное здание казино, его залы, террасы, веранды над морем — все сияло яркими огнями. Было светло, как днем.

— Я вас покидаю, — сказала Сесиль, когда они вышли из автомобиля. — Мне скоро выступать.

Эдмон Дэрблэ повел Сюзи и Юленьку в большой зал, весь заставленный столиками. Две огромные люстры розовым светом освещали разноцветные платья женщин и темные силуэты мужчин. В конце зала находилась высокая эстрада. На ней под резкую завывающую музыку шесть совершенно одинаковых полуодетых танцовщиц проделывали странные движения ногами и телом.

Эдмон Дэрблэ был в смокинге, придававшем ему церемонный, даже несколько торжественный вид. В темных глазах его поблескивало скрытое оживление. Он на голову возвышался над всеми.

К их столику подошел элегантно одетый молодой человек с правильными, но невыразительными чертами очень бледного лица.

— Ну, наконец-то! — сказал он. — Я уж решил, что вы раздумали.

— Да ведь еще рано! — возразила Сюзи. — Экий ты нетерпеливый, Густав!

Она повернулась к Юленьке.

— Вот познакомьтесь! Это мой приятель, Густав Лано, художник. А это — мадемуазель Жюли, новая звездочка на нашем небе!

Густав впился бесцветными глазами в Юленьку.

— Ах, вот в чем дело! — сказал он с видом человека, разрешившего головоломку. — А я и не знал! Ты меня не предупредила, Сюзи!

Эдмон Дэрблэ бросил на него строгий взгляд.

В зале захлопали. На эстраде появилась Сесиль Дюваль. Аплодисменты усилились. Она стояла на эстраде, стройная, красивая, в своем блестящем светло-желтом платье и, улыбаясь, ждала, пока аккомпаниатор усаживался за рояль и брал первые аккорды вступления.

У нее оказался небольшой, но очень приятный, звучный голос. Пела она выразительно, с прекрасной дикцией и с изящной мимикой. В этом, по-видимому, и заключался ее особый шарм. Репертуар не отличался большим разнообразием, но публика щедро награждала ее аплодисментами, заставляя бисировать некоторые номера. Сесиль, видимо, была любимицей публики.

Юленька внимательно слушала, легко запоминая мотив и интонации певицы. Случайно оглянувшись, она увидела, что художница и ее кавалер не сидят больше за их столом. Это показалось Юленьке странным. Она вопросительно взглянула на Дэрблэ. Он сидел в конце стола, сбоку, так, что она могла видеть только его римский профиль, внимательно смотрел на сцену и снисходительно аплодировал. Юленька опять оглянулась, ища глазами художницу, но ее нигде не было...

Эдмон повернулся к Юленьке.

— Вы ищете Сюзи? — спросил он, улыбаясь. — Она сейчас придет. Она пошла потанцевать с Густавом. Всю программу нашей милой певицы она знает наизусть.

Он еще поаплодировал немного и встал.

— Хотите танцевать? — спросил он. — Но сначала выпейте вот это. — Он сел ближе к Юленьке и налил ей в рюмку что-то очень крепкое и ароматное. Юленька только пригубила рюмку.

— Выпейте! Это предохраняет от простуды, — настаивал ее сосед.

Юленька засмеялась.

— Какая теперь может быть простуда? Так тепло!

— Вечером очень свежо, а здесь сильные сквозняки.

Юленька подумала, что сейчас уже не вечер, а ночь, но из вежливости ничего не сказала и сделала несколько глотков.

— Ну вот и хорошо! — сказал он. — У вас старомодная прическа. Но это очаровательно. Дивные косы! Вы совсем особенная, вы не похожи на других.

Дэрблэ, добродушно улыбаясь и не сводя с Юленьки своих черных глаз, стал рассказывать о том, что Тин сегодня в первый раз на него залаял. Лапка заживает, но ходить он еще не может. Очень забавный щенок!

— Вы возьмете его с собой в Париж? — спросила Юленька.

— Обязательно! А когда он вырастет, вы можете взять его у меня. Я ведь только воспитатель, а не владелец.

У Юленьки слегка кружилась голова от выпитого вина. Она представила огромного пса волчьей породы в своей комнатушке на мансарде. Эта мысль вызвала у нее неудержимый смех.

— Я никогда не смогу взять у вас Тина, — произнесла Юленька сквозь смех. — Нет места. Мои работодатели никогда мне не позволят этого сделать.

Добродушное выражение темных глаз Эдмона Дэрблэ неуловимо изменилось. В глубине их мелькнуло циничное любопытство, на мгновение придавшее его смуглому лицу что-то коварное и опасное.

— А вы что, всю жизнь собираетесь пребывать в зависимости от этих работодателей? — спросил он, как бы озорно подзадоривая ее и наливая в бокал вина. — Выпейте! Не хотите? Ну тогда пойдёмте потанцуем! — Дэрблэ выпрямился и церемонно склонился перед Юленькой.

Юленька встала. В самом деле, почему бы и не потанцевать? Последний раз она танцевала на детском балу в Лозанне два года назад, еще до болезни Мари. Юленька сказала ему об этом, и глаза его заблестели.

Танцевал Эдмон отлично, вел даму мягко, уверенно, легко переходил на очень быстрый темп и вновь властно замедлял ритм.

Вальс танцевали всего три пары. Остальные, столпившись вокруг, смотрели на танцующих.

— Я давно не вальсировал, — сказал Дэрблэ, глядя сверху вниз на светлую Юленькину голову с ее тяжелыми косами, — но лучшей партнерши, чем вы, нельзя и пожелать! Танцевать с вами — редкое удовольствие!

— Вы тоже хорошо танцуете, — вежливо ответила раскрасневшаяся Юленька, закидывая назад голову и поднимая на него смеющиеся глаза. — Для такого высокого человека, как вы, — это необычно.

— Откуда у вас такие познания? — удивился он.

— Об этом говорил наш учитель танцев в Лозанне, — объяснила Юленька.

Они вернулись к своему столу, оба оживленные и веселые. Дэрблэ теперь смотрел на Юленьку откровенно влюбленными глазами. Юленька улыбалась по-детски счастливо, ей давно не было так весело.

— Ого! — воскликнула Сюзи, разливая по бокалам вино. — Дела идут на лад! Впрочем, у вас, Эдмон, иначе ведь и не бывает. Мы с Густавом любовались вами. Вы оба замечательные танцоры! А вот и Сесиль!

Сесиль Дюваль в сопровождении коренастого, невысокого, довольно небрежно одетого господина средних лет не спеша пробиралась между столиками, по пути она обменивалась улыбками и приветствиями со знакомыми, которых у нее, по-видимому, было великое множество. Ее появление обрадовало Юленьку. Сесиль, в свою очередь, добродушно и приветливо улыбнулась Юленьке.

— Поль, — обратилась она к своему спутнику, — это мадемуазель Жюли, о которой я вам говорила. Не правда ли, она очаровательна?

Поль внимательно посмотрел на Юленьку и небрежно пожал плечами.

— Это ребенок, — сказал он, — ей здесь совсем не место!

— Какая дерзость! — воскликнула Сюзи. — Можно ли так оскорблять молодую даму, мсье Жерар? Это невежливо! Это не по-джентльменски! Не ожидала я от вас этого!

— Я нисколько не обиделась, — спокойно улыбаясь, возразила Юленька. — Может быть, мне, действительно, здесь не место, я не знаю.

Мсье Жерар сел рядом с ней и некоторое время внимательно ее разглядывал.

— У меня есть племянница, которая чем-то похожа на вас, — начал он. — Она целый день сидит за учебниками, зубрит, готовится к экзаменам, а в десять часов вечера спит так, что ее и пушкой не разбудишь.

На этот раз Юленька почувствовала обиду.

— У вашей племянницы, вероятно, есть папа и мама, — сказала она с внезапной грустью. По лбу ее пролегла упрямая складка, глаза потемнели. — Я тоже хотела бы сидеть за учебниками и готовиться к экзаменам.

Мсье Жерар посмотрел на нее с симпатией.

— Вот как! — протянул он.

— Сесиль, ты еще не видела, как она танцует! — вмешалась в разговор Сюзи. — Она так вдохновенно кружилась с Эдмоном в вихре вальса! Право, на это стоило посмотреть!

В зале стало темнее, включили красноватые лампы.

— Жермена здесь, — негромко, но многозначительным тоном вдруг сказала Сесиль, обращаясь к Эдмону Дэрблэ.

Что-то предостерегающее почудилось Юленьке в ее словах и голосе.

Эдмон поднял голову и чуть прищурился.

— Где? — спросил он.

— Да вот, посмотрите налево. Идет прямо к нам! — ответила Сесиль.

К ним подошла высокая красивая брюнетка, очень худая, декольтированная, с хаотичной прической и блестящими, огромными, полными дерзкого веселья, черными глазами. Лицо у нее чуть подергивалось нервным тиком. Она остановилась, держась чрезвычайно прямо, и быстрым взглядом окинула общество, сидящее за столом. Мужчины встали.

— Со всеми здесь я как будто знакома, — начала она низким контральто, нарочито растягивая слова, и остановила свой взгляд на Юленьке, — со всеми, кроме...

Она, не спеша, обошла стол, протянула Юленьке маленькую, нервную руку, окинула ее холодным, любопытным взглядом и договорила, вызывающе повысив голос:

— ...кроме этой Гретхен! Где вы ее взяли?

Не ожидая ответа, она обратилась к Дэрблэ:

— Эдмон! Вы с прошлого раза остались мне должны одно танго. Надеюсь, вы не забыли?

Дэрблэ, слегка пожав плечами, поднялся медленно, с явной неохотой.

— Я всегда плачу свои старые долги, — сказал он, насмешливо щуря глаза.

Это была красивая пара, партнеры подходили друг другу по росту, но Дэрблэ танцевал вызывающе небрежно, держа даму на расстоянии, недопустимом для танго. В этом было что-то пародийно-комичное, чувствовался преднамеренный умысел. Мужчины за столом улыбались, дамы возмущались.

— Насильно мил не будешь! — оценил ситуацию Поль Жерар.

— Ну что ей за охота! — пренебрежительно заметила Сесиль. — Упрямая она, эта Жермена! Какой смысл в этой настойчивости? Просто неприлично так танцевать танго. Она себя компрометирует, и только!

— Испанская кровь! — объяснил Густав. — Мать у нее была испанка.

— Можно ли мсье Эдмона принимать всерьез! — воскликнула Сесиль.

— Как видите, можно, — рассудительно возразил Густав. — Эдмон — обаятельный мужчина. Женщины вешаются ему на шею. Он не виноват.

— Не виноват! Другого такого ловеласа днем с огнем не сыщешь! — возмутилась Сюзи.

— Дон-Жуан! — улыбнулась Сесиль.

— Любитель разнообразия! — сказал Жерар.

— Что ж, существует множество различных типов женщин. Он их изучает с научной целью! — острил Густав. Сесиль нахмурилась.

— Она ломака, эта Жермена, — объявила певица. — Ей нравится думать, что она — неразрешимая загадка, неразгаданная тайна для мужчин...

— А он, как видно, эту тайну разгадал! — насмешливо подхватил Жерар.

— Ничего вы все не понимаете, — объявила Сюзи, залпом опорожнив свой бокал. — Для Жермены это вопрос самолюбия.

— И денег! — добавил Поль.

— Фи, мсье Жерар! Как вы некрасиво выражаетесь! Это дешевый сарказм! — поморщилась Сюзи.

Когда Жермена в сопровождении Эдмона подошла к их столу, Юленьку поразило выражение ее лица. Свирепостью, чем-то жестоким, переходящим в неприкрытое бесстыдное бешенство дышало это красивое, смуглое, подергивающееся в нервном тике лицо. Жермена села и залпом выпила бокал шампанского, который услужливо налил ей Густав. Рука ее заметно дрожала. Огромные черные глаза медленно обратились в сторону Юленьки и впились в нее настойчивым злым взглядом, полным убийственной иронии.

— Пора ехать! — объявил Эдмон, решительно вставая. — Уже поздно! Кто со мной?

— Нам с Густавом еще рано, — ехидно заметила подвыпившая Сюзи, видимо, наслаждаясь назревающим скандалом. — Люблю, когда воздух насыщен электричеством, это щекочет нервы...

— А вы, Сесиль? — спросил Дэрблэ.

Ему ответил Поль.

— Мы с Сесиль отвезем домой эту девочку, — сказал он тоном, не допускающим возражения. — Моя машина внизу.

Поль встал.

— Ну, в таком случае я прощаюсь, — заявил Эдмон. — Мне пора!

И тут произошло нечто неожиданное и безобразное.

Жермена торопливо налила два полных бокала красного вина и, прежде чем кто-либо успел опомниться, с кошачьей ловкостью выплеснула один бокал в лицо Эдмону Дэрблэ, а другой — в сторону Юленьки, залив ей платье и шею, но не попав в лицо. Совершив свой подвиг, Жермена разразилась победоносным хохотом, выкрикивая Юленьке сквозь истерический смех о каких-то прелестях разнообразия, о том, что крайности сходятся, о Мефистофеле и о патентованной дуре Гретхен.

Юленька не помнила, как, ухватив под руку, возмущенный Поль Жерар вместе с Сесиль вывел ее из зала, как они вышли из казино. Опомнилась она только в машине. Рядом сидели Поль и Сесиль. Машина бесшумно катилась по залитому холодным светом луны прибрежному шоссе.

— Боже, как неприятно, как это ужасно! — сокрушалась Сесиль. — Такой скандал! Все на нас смотрели: знакомые, незнакомые, даже лакеи уставились во все глаза, даже управляющий! Ужас! Ужас!

Она наклонилась к Юленьке:

— Вы испугались, бедняжка! Если бы я могла предвидеть, я бы ни за что...

— Предвидеть было нетрудно, — холодно отозвался Поль, крепко держа руль и не сводя взгляда с блестящего шоссе. — Я не виню вас, Сесиль. Вы хотели доставить удовольствие этой девочке, но, право же, нужно уметь различать...

— Ах, это все Сюзи! А он нас обеих так упрашивал, — начала было оправдываться Сесиль и осеклась...

— Он? Упрашивал?! — усмехнулся Поль. — Так вот оно что! Как могла ты взять на себя такую роль, Сесиль? — продолжал он тихо, укоризненно покачивая головой. — Разве мы все недостаточно знаем Эдмона?

Юленька слушала, как во сне. Сесиль продолжала возмущаться:

— Но ведь это дико! Это некультурно. Кто мог такое ожидать! Подумаешь, страсти африканские!

— Такая способна и серной кислотой облить, — ответил Поль Жерар.

У себя в комнате Юленька с отвращением сбросила залитое вином платье, разорила сложную прическу, протерла одеколоном лицо и шею.

Она долго не могла уснуть. В голове шумело, мысли путались, в ушах еще звучала резкая джазовая музыка, перед глазами мелькали яркие огни люстр, кружащиеся пары, пестрые платья женщин. Потом вдруг появилось темное небо в ярких звездах, глухо зашумело море. Юленька ненадолго забылась в полусне.

V

Уже светало, когда она открыла глаза. Снизу доносился скребущий звук граблей.

Она вскочила, накинула халатик, вышла в коридор, тщательно заперла свою комнату и быстро побежала вниз, к морю. Ей инстинктивно хотелось смыть с себя грязь вчерашнего вечера.

Грязь? Да, теперь она в этом не сомневалась.

Рано утром на пляже никого не было. Солнце еще слабо грело. Маленькие розовые облака висели над заливом, а море все было в белом блеске.

Беспредельная даль моря и неба, холодная утренняя вода, возбужденные крики чаек — все показалось Юленьке иным, не таким, каким она все это видела каждый день, когда приходила сюда с детьми. В охватившей ее растерянности, недоумении и смутном недовольстве собой природа показалась жуткой, суровой и грозной в своем равнодушии к человеку.

На обратном пути она взглянула на монументальное здание отеля — самодовольный образец человеческой цивилизации, беспечно гнездившийся здесь, лицом к лицу со стихией.

Когда она оделась и сошла вниз, дети уже встали. Эдит

сразу объявила, что сегодня после обеда они едут большой компанией на трех автомобилях в Сан-Ремо, в Италию.

— Не знаю, будет ли место для вас, — жеманно поджимая губы, сказала Эдит, — нас очень много едет... — И она стала по пальцам перечислять участников экскурсии.

После обеда они, как обычно, отправились на пляж. Юленька обрадовалась, что народу было немного и она не встретила знакомых.

Ощущение усталости и недовольства собой не проходило. Зачем она вчера согласилась поехать в казино? Разве нельзя было отказаться? Ведь она совсем не знает этих людей. Что им от нее нужно? Одели ее, как куклу... Короткие фразы, которыми обменивались в автомобиле Сесиль и Поль Жерар, казались ей странными и непонятными. Что они хотят от нее — и Жермена, так безобразно ее оскорбившая, и Эдмон Дэрблэ, который казался таким добродушным, так ухаживал за искалеченным щенком?..

После обеда большая, шумная компания рассаживалась по автомобилям. Для Юленьки действительно не оказалось места.

— Оставайтесь, мисс Джулия, — свысока сказала ей миссис Джекстон. — Вы видите, что нет места.

— Могу взять на колени! — радостно воскликнул рыжий весельчак мистер Бич, похлопывая себя по бедрам. — Мои колени к вашим услугам!

Все захохотали. Мисс Карин, ехидно поджав губы, взглянула на Юленьку с убийственной иронией.

— Не огорчайтесь, — крикнул кто-то. — В другой раз увидите Сан-Ремо!

Эдит выглядела победительницей. Джон состроил гримасу и показал кончик языка. Оба они были чрезвычайно довольны унижением своей гувернантки.

«А ведь я нисколько не огорчена, ну, ни чуточки не огорчена, — искренне подумала Юленька. — Я очень рада, что останусь сегодня одна».

Она поднялась к себе, разделась, легла в постель, с наслаждением вытянулась и крепко проспала более двух часов. Потом встала, взяла «Молодую гвардию» Фадеева и пошла в парк.

Юленька сидела на скамейке в глухой аллее, под большим старым платаном, и переживала подвиг краснодонцев. Их духовная стойкость, великая дружба, общность идеалов

и стремлений глубоко волновали ее, поднимая целый вихрь мыслей и чувств. Она читала долго, не замечая никого вокруг. А когда она случайно оторвалась от книги, то увидела русского садовника. Он орудовал огромными садовыми ножницами — обрезал розовые кусты.

— Я должен извиниться перед вами, — сказал он по-русски, широко улыбаясь. — Вы прошлый раз так быстро ушли, что я не успел представиться, не успел даже ответить на ваш вопрос, русский ли я.

— Теперь в этом нет сомнения, — ответила Юленька, с удовольствием прислушиваясь к чистой русской речи: давно ей не приходилось говорить по-русски.

— Я очень удивился, — продолжал он, — я считал вас сначала англичанкой, потом француженкой. Всегда вы с этими детьми.

— Я гувернантка и служу у американцев, их дети здесь учатся французскому языку, — объяснила Юленька.

Они разговорились. Юленька узнала, что его зовут Андреем, что родился он в Ленинграде, а перед войной жил с родителями около Смоленска. Четырнадцатилетним парнишкой фашисты угнали его на работу в Германию, потом он попал в лагерь. После войны Андрей очутился во Франции, здесь и застрял. «По глупости», — как он выразился.

— Наболтали, наговорили мне всяких небылиц, — рассказывал Андрей, — будто, кто однажды попал за границу, тому, точно прокаженному, никогда в Советском Союзе житья не будет! До конца, мол, дней твоих будешь несчастный, всеми отвергнутый и презираемый! И ведь как уверяли! Казалось, такие правдоподобные примеры приводили! А ведь все это ложь, все брехня и клевета! Теперь я в этом вполне убедился. Вот тут у меня газета. Почитайте, если заинтересуетесь.

Он оставил Юленьке газету и вернулся к своей работе. Юленька отложила книгу и торопливо развернула русскую газету. Прежде всего ее поразило название: «За возвращение на Родину»*. У Юленьки даже дыхание перехватило. С жадностью и увлечением она стала читать. Повеяло родным, но далеким. Мама, Вера Загарина... Русские лица, слова приветов, теплые и искренние. Юленька внимательно смотрела на фотографии: город весь в разва-

* Орган Комитета за возвращение на Родину и развитие культурных связей с соотечественниками. С 1960 г. газета называется «Голос Родины». (Прим. ред.)

линах и рядом тот же город, восстановленный до неузнаваемости! Она перевернула страницу. Вот мать разыскивает сына. Какое доброе, озабоченное лицо у этой старушки!

«Родной ты мой, — пишет она. — Как можешь ты думать, что на чужбине тебе будет лучше, чем на Родине! Опомнись! Я не понимаю, что с тобой сделалось! Приезжай скорей, все наши ждут тебя с нетерпением. Работу сразу получишь и жить будешь дома со своими». Юленька закрыла глаза. «Жить дома со своими... каждый день говорить по-русски... теплое, дружеское отношение, радостный труд...» Если бы Юленьку кто-нибудь так позвал и ждал с нетерпением! Но такого человека нет на свете. Никто ее не ждет! И чувство одиночества вновь охватило девушку.

— Ну как, прочитали? Интересно? — спросил Андрей. Юленька подняла на него печальные глаза.

— Очень! — ответила она, подавляя вздох. — Но у меня ведь там никого-никого нет...

Он с живостью сел на скамейку рядом с ней.

— И у меня никого нет, — сказал он негромко, доверительно смотря ей прямо в глаза. — Ни души! Мои все погибли... Но Родина... Родина-то ведь осталась!

— Вам, вероятно, это трудно понять, — произнес он медленно, как будто рассуждая сам с собой, — ведь вы почти иностранка. Вы родились во Франции.

«Как будто я в этом виновата!» — с горечью подумала Юленька.

Он снова развернул газету.

— Посмотрите, ведь нашлись же русские люди, которые заинтересовались судьбой соотечественников, заблудших, обманутых, бездомных, растерявших все надежды... А что мы им, этим русским людям? Какое им, казалось бы, до нас дело? Значит, Родина не забывает нас, беспокоится о нас, хочет нам помочь. Я понял одно: надо быть всегда на той стороне, с которой тебя связывает кровь! Каждый человек должен понять, где его место и как он может служить своему народу. Только тогда жизнь его получит смысл. Только на Родине обретет он то, что называется счастьем. Разве на чужбине — жизнь? Это фальшивая подделка, прозябание! Даже в самых лучших условиях тебе чего-то не хватает, а это «что-то» — не пустяк, не малое. Это — Родина, это — свои люди, родной язык, родная среда, это — прошлое, настоящее и будущее родного народа.

Юленька смотрела на него, не отрываясь.

— И вы... уедете туда... на Родину? — спросила она.

— Через месяц! — ответил юноша решительно, и лицо его просияло. — У меня уже все готово: документы, виза, все! Дослужу здесь еще месяц, а там... Через месяц с небольшим я буду в Ленинграде.

Он счастливо улыбнулся.

— А я? — неожиданно для себя самой растерянно спросила Юленька. — Что же мне делать?

Андрей посмотрел на нее удивленно и внимательно, Юленька показалась ему маленькой и очень беспомощной.

— Вам? — переспросил он. — Что вам делать?..

Он помолчал, а потом задумчиво сказал:

— Я не знаю, как вам поступить. Я, видите ли, пришел к этому решению после долгой внутренней борьбы, пришел вполне сознательно, преодолев множество сомнений. А вы... вы так молоды, вы родились во Франции, вы говорите по-французски, как француженка, вы живете в роскоши...

Юленька улыбнулась полунасмешливо, полугрустно и посмотрела куда-то в сторону.

— Но вы только что сказали, что нужно всегда быть на той стороне, с которой человека связывает его кровь, — тихо сказала она. — И еще вы сказали, что даже в самых, допустим, лучших условиях человеку на чужбине всегда «чего-то» не хватает...

Андрей посмотрел на нее долгим, изучающим взглядом.

— Я не знаю... — повторил он смущенно и задумчиво. — О вашем случае мне трудно судить. Я совсем не знаю вашей жизни, ваших склонностей и вкусов, привычек и взглядов... Если о них вообще можно говорить в такие молодые годы... — добавил он после минутного молчания.

Мимо них быстро прошел тот голубоглазый незнакомец, которого Юленька однажды видела на пляже, а потом в парке, когда он разговаривал с садовником. Он приветливо поздоровался с Андреем и прошел мимо.

— Кто это? — спросила Юленька.

— Славный парень, — ответил Андрей. — Был рабочим-металлистом, сейчас журналист. Коммунист. Пишет интересные статьи в «Юманите». Недавно вернулся из Алжира. Служил в свое время во флоте, а теперь освобожден: искалечена левая рука. Усиленно изучает русский язык. Я старался помочь ему. Когда ни увидишь его, всегда он с русской книгой или газетой.

Незнакомец, отойдя довольно далеко, вдруг круто повернул назад и быстрыми шагами направился к ним.

— Пьер Дюфур, — представился он Юленьке коротким поклоном. — Разрешите присоединиться к вашему обществу.

Последнюю фразу он произнес по-русски, забавно расставляя ударения на словах.

— Пожалуйста, — сказала Юленька.

Завязался разговор. Юленька вскоре почувствовала, что у Дюфура был какой-то свой план. Он странно поглядывал на Юленьку и вдруг заявил:

— А я, знаете ли, вчера вечером с товарищем впервые посетил казино в Каннах. Хотелось полюбоваться, как здесь развлекается международная буржуазия второй половины двадцатого столетия. До сей поры никогда еще приходилось лично наблюдать. А было на что поглядеть...

Он рассмеялся и повернулся к Андрею.

— Вообрази, кого я там увидел!

Он откинулся на спинку скамейки и продолжал торжественным тоном, сдобренным специфическим галльским юмором:

— Имел я честь лицезреть там в «однообразном и безумном» вихре вальса, кого бы ты думал, Андрей, а? Одну из самых, можно сказать, первейших акул капитализма, владельца нашего завода, господина Эдмона Дэрблэ самолично! Впрочем, я и раньше имел удовольствие наблюдать этого господина здесь на пляже. Меня в лицо он не знает, я ведь — одна из тысяч ничтожных человеческих особей, которая совсем еще недавно работала на него.

Юленька слушала, широко раскрыв глаза, а он вдруг искренне и весело расхохотался.

— Но последняя сцена была великолепно! — воскликнул он со смехом. — Бокал красного вина прямо в физиономию! Клянусь, я не пожалел, что присутствовал! До сих пор о похождениях мсье Дэрблэ я знал только понаслышке, а тут довелось увидеть вочию. Есть о чем рассказать товарищам!

Он повернулся к Юленьке и вдруг спросил негромко, покачивая головой насмешливо-сочувственно:

— Но вам-то почему так жестоко досталось?

Юленька вздрогнула и густо покраснела. Андрей смотрел, явно ничего не понимая.

— Вот в какую компанию вас затянули, — так же насмешливо-сочувственно продолжал Пьер Дюфур, — и как

быстро это случилось! Я ведь был три дня тому назад на пляже, когда вы познакомились с актрисой Сесиль Дюваль. И весь ваш разговор с ней я тогда слышал. И вот в результате милого знакомства — безобразнейшая сцена. Да, не повезло вам, бедняжка! Правильно говорят: с кем поведешься, от того и наберешься! А вальсировали вы бесподобно! Замечательно!..

Юленька выпрямилась, кровь отлила от ее щек, теперь она была очень бледна.

— Я не обязана оправдываться перед вами, — холодно сказала она и встала.

— Не сердитесь! — воскликнул Пьер Дюфур, схватив ее за руку. — Когда вы выходили из зала в сопровождении этой самой Сесиль и депутата парламента Поля Жерара, который не прочь иной раз и полиберальничать, и благородство чувств показать — без всякого, впрочем, ущерба для своего кармана, — вы прошли совсем рядом со мной, никого и ничего не видя. У вас был вид маленькой девочки, которую несправедливо наказали, на вас больно было смотреть!

— В чем дело? — спросил Андрей.

Но Юленька уже быстро уходила от них. Она едва удерживала слезы, с трудом пытаясь разобраться в сложности охвативших ее чувств и мыслей.

VI

На следующий день за обедом Юленька, случайно взглянув в сторону, увидела на другом конце зала за отдельным столиком Эдмона Дэрблэ. Он обедал.

«Значит, он переселился в наш отель», — с какой-то неясной тревогой подумала Юленька и до конца обеда не отрывала глаз от своей тарелки. Но когда подали десерт, она вдруг инстинктивно, всем своим существом, почувствовала, что он приближается к ней. Ее охватил страх.

А Дэрблэ, пройдя весь зал, действительно, подошел к их столу. Оказывается, он был знаком с мистером Джекстоном.

Американец представил его своей жене и свояченице. Познакомить его с Юленькой никто не нашел нужным. Он подсел к их столу и начал разговаривать с ними на очень хорошем английском языке. Дети проявляли знаки нетерпения, и миссис Джекстон разрешила Юленьке увести их наверх. Вставая из-за стола, Юленька случайно взглянула

в ту сторону, где сидел Дэрблэ, и встретила пылкий взгляд. Она смутилась, нахмурилась и поспешила уйти вместе с детьми.

Следующая встреча Юленьки с Эдмоном Дэрблэ произошла на пляже. Элегантно одетый, в белом костюме, с Тином на руках, Дэрблэ, подойдя к Юленьке, неожиданно опустил ей щенка на колени.

— Он вымыт и вычесан, — сказал Дэрблэ. — Ручаюсь, что у него нет ни одной блохи.

Щенок заерзал, стараясь принять удобное положение; забинтованная лапка беспомощно повисла, он положил голову на руку девушки и лизнул ее розоватым теплым язычком.

Юленька подняла на Дэрблэ серьезные, печальные глаза.

— Мадемуазель, — начал он негромко, обжигая ее жарким взглядом, — я в отчаянии от того, что произошло в казино! Эта женщина — сумасшедшая! Ее давно следовало упрятать в клинику. Я готов на все, чтобы только заслужить ваше прощение.

Юленька внимательно смотрела на него.

— Вы чувствуете себя виноватым? — спросила она. — Но ведь вы тоже пострадали! — В голосе ее прозвучала плохо скрытая насмешка.

В памяти звучали слова Сесиль: «Он меня так упрашивал!» И Поля Жерара: «Как могла ты взять на себя такую роль!»

Скинув голову, Юленька посмотрела откровенно негодующим взглядом в глаза Эдмону Дэрблэ.

— Для чего вы все это организовали? — спросила она, побледнев от охватившего ее возмущения. — Зачем вы просили Сесиль и Сюзи привезти меня в казино? Вы отлично знали, что я не принадлежу к вашему обществу!

И вдруг очень резко и решительно она прибавила:

— Я такой же пролетарий, как любой из рабочих на вашем заводе, которых вы и по имени-то не знаете и в глаза никогда не видели!

Хмурое лицо Эдмона Дэрблэ оживилось, будто он услышал что-то неожиданное, очень забавное и занятное.

— Вот как! — сказал он. — Вы что же, значит, маленькая коммунистка?

Юленька покачала головой:

— Я еще слишком невежественна, слишком мало знаю,

чтобы считать себя коммунисткой, но все мои симпатии, мое сочувствие — знайте это! — всецело на их стороне, а не на вашей!

Она опять посмотрела ему прямо в глаза.

— У меня нет ничего общего с вами, мсье Дэрблэ, — сказала Юленька. — Я русская и мечтаю вернуться на родину моих родителей. Я хочу учиться, хочу работать, а не быть игрушкой в руках праздных и чужих мне людей. Здесь на каждом шагу ущемляют мое самолюбие, оскорбляют человеческое достоинство. Не останусь я здесь!

— Как вы прелестны, когда сердитесь! — воскликнул он с восхищением, пожирая ее глазами. — Эту черту характера я и не подозревал в вас! Вы казались мне очень сдержанной, спокойной. Я и не думал, что у вас столько темперамента! До чего же вы очаровательны!

Юленька хотела встать, но у нее на коленях спал Тин, вытянув вперед большую лапку.

— Вы что же, считаете, что я лицемерю, интересничаю? — спросила она с негодованием. — Вы не видите, какое у меня здесь положение? Я во власти капризов избалованных людей, которые считают меня низшим существом, обязанным во всем им повиноваться!

Дэрблэ принял серьезный и сочувственный вид.

— Я вполне понимаю всю тяжесть вашего положения, мадемуазель Жюли, — сказал он проникновенным голосом, смотря на нее преданными глазами, — и я был бы очень счастлив, если бы вы разрешили мне помочь вам. Вы хотите учиться, хотите быть самостоятельной, это похвально, но для этого вам совсем не нужно ехать так далеко — в страну, которую вы не знаете и где у вас никого нет. Вы родились в Париже («И этот попрекает меня тем, что я родилась в Париже!»), — с раздражением подумала Юленька), в совершенстве владеете тремя языками. («Откуда он это знает?») Вы могли бы получить отличное место секретарши. И вот, счастливая случайность: у меня в бюро, в Париже, как раз освободилось место секретарши. Если бы вы согласились занять его, то имели бы приличный оклад, определенные часы работы, свободные вечера, выходные дни, ежегодный оплаченный отпуск, — перечислял он деловым тоном.

— Место секретарши? — переспросила изумленная Юленька. — Но для этого нужны специальные знания, которых у меня нет. Стенографию я не знаю, на машинке пишу плохо...

— Не велика премудрость! — сказал он со смехом. — Месяц практики, и ваши пальчики забегают по клавишам с быстротой виртуоза. У вас музыкальная рука. Вы играете на рояле?

— Играю, — нехотя призналась Юленька.

— Это видно. А что касается стенографии, то существуют вечерние курсы: превосходная современная методика, научитесь быстро, не сомневаюсь в этом!

Дэрблэ опять заговорил деловым тоном, слегка нахмутив брови.

— Мой выбор, — сказал он строго, — потому останавливается на вас, мадемуазель Жюли, что вы свободно владеете двумя иностранными языками: русским и английским. Это не часто встречается. Эти языки нам нужны в деловых сношениях с иностранными государствами, особенно русский язык. Наши культурные и экономические связи с Советским Союзом развиваются очень интенсивно. Вас ждет интересная работа.

Юленька, погрузив руку в мягкую шерсть блаженно спящего Тина, задумчиво устремила взор в бездонную даль моря.

«Жить в Париже, — подумала она мечтательно, — иметь постоянную интересную работу. Подумать только: культурная и экономическая связь с СССР!

А вечером учиться... В Париже есть Советское посольство и консульство, часто приезжают русские писатели и артисты, бывают выставки, наверное, есть русская библиотека...»

— Я должна подумать, — ответила она нерешительно.

— Подумайте! — охотно согласился Дэрблэ. — И прошу вас верить, что ничего, кроме добра, я вам не желаю!

Он снова нахмурился, но в глубине его глаз играли озорные огоньки.

— Я должен предупредить вас, мадемуазель Жюли, что я довольно строгий шеф, — добавил Дэрблэ сухим, официальным тоном. — Люблю аккуратность в работе, порядок и дисциплину. Того, кто работает добросовестно, я ценю и всегда стараюсь быть справедливым.

Юленька повернулась к нему и повторила:

— Я должна подумать.

— Отлично! А теперь позвольте взять у вас нашу собаку, — сказал он, пряча в плотно сжатых губах улыбку. — Я очень спешу. До свидания!

Дэрблэ взял у нее с колен Тина, закрыл глаза и на мгновение прижался лицом к щенку, еще согретому теплотой ее рук.

Юленька этого не видела. Она стояла в нерешительности и недоумении. Все складывалось так неожиданно для нее, нужно было обдумать предложение, посоветоваться... Но с кем?..

VII

В отеле появилось новое американское семейство — близкие друзья Джекстонов, только что прибывшие из Америки. Джекстоны бурно приветствовали земляков. Даже мисс Карин слегка оживилась и стала разговорчивее. Джон и Эдит ликовали: приехало еще трое ребят — два мальчика и девочка. Они почти не говорили по-французски.

В результате такого увеличения американской колонии дети окончательно отбились от рук, стали убегать от Юленьки, девочки в одну сторону, мальчишки в другую, ловко прятались и надолго пропадали. Это стало для них новой интересной игрой.

«В сущности, почему бы им и не побегать? — размышляла Юленька. — На то они и дети! От этого, правда, страдает французский язык, изучать который они приехали. Пожалуй, следует поговорить с миссис Джекстон...»

А миссис Джекстон, застав однажды Юленьку одну в парке, расвирепела и, не желая слышать никаких объяснений и возражений, набросилась на нее с несправедливыми и оскорбительными упреками.

— Вы не смеете оставлять детей одних. Все вы одинаковы: только даром деньги желаете получать. Где ваша честность и добросовестность! — Она еще долго кричала и возмущалась.

Если бы в ту минуту перед Юленькой появился Дэрблэ, она, не раздумывая, согласилась бы на его предложение, но он куда-то исчез, и это начало не на шутку беспокоить девушку. А что, если он раздумал? Может быть, он нашел более подходящую кандидатуру? Девушку, хорошо владеющую стенографией? Юленька купила учебник французской стенографии и поздно вечером принялась усиленно зубрить ее. Она не могла предположить, что у опытного обольстителя Эдмона Дэрблэ — это обычный прием. Он внимательно следил за девушкой и мысленно

уже поздравлял себя, радуясь своей победе — умению «заставить с нетерпением ждать себя».

Как-то раз, после долгих бесплодных поисков детей, которые ловко от нее прятались, нисколько не страшась родительского гнева, очевидно, ничуть не угрожавшего им, а раздражавшегося над головой их гувернантки, Юленька присела отдохнуть на безлюдной рыбацкой пристани, расположенной далеко от пляжа. Небо предвещало дождь. Лодки пахли дегтем, рыбой, солью. Зеленоватые волны с кружевными гребнями угрожающе набегали на пристань. Пронзительно кричали чайки. Касаясь воды, они носились над морем, вылавливая рыбу, но волны мешали им, и они кричали еще злее. На западе солнце чуть золотило край облака, на горизонте дымил грузовой пароход. Сзади, за шоссе, возвышались высокие старые пальмы, а за ними виднелись красные крыши поселка и маленькая белая церковь.

Юленькой овладела усталость, она остро почувствовала свое одиночество.

«Надо бы написать Мелани в Лозанну, — апатично подумала она, вспомнив своего далекого, но верного друга. — Как-то она там живет? Я давно о ней ничего не знаю. В Советском Союзе я тоже буду чужая, ведь я родилась в Париже и плохо говорю по-русски. Как заговорю, так сразу определяют, что я иностранка!» — грустно продолжала думать Юленька.

«Положение гувернантки заставляет кривить душой, — размышляла Юленька, — вынуждает глотать несправедливые упреки и обиды. А что ждет меня впереди?.. Как могла бабушка Мари всю свою жизнь прожить в гувернантках? Сначала в России, потом в Англии, Америке. Я не могу... не могу...»

Послышались чьи-то быстрые шаги. Юленька отняла руки от лица и оглянулась. Перед ней стоял Пьер Дюфур. Быстрым взглядом окинул он съезжившуюся, маленькую фигурку и опечаленное лицо Юленьки. Вероятно, он возвращался с длительной прогулки. Волосы его растрепались от ветра, загорелое лицо лоснилось, сандалии посеребрили от пыли. В правой руке он держал большую суковатую палку, левая висела неподвижно. В целом вид у него был бодрый.

— Как поживаете? — спросил Пьер добродушно, как у хорошей знакомой. — Все еще сердитесь на меня? Право же, я ни в чем не виноват!

Юленька сразу не поняла, почему она так обрадовалась, — от неожиданного появления этого мало знакомого ей человека, от прямого взгляда его слегка насмешливых глаз, от простого, добродушного тона его вопроса на нее вдруг повеяло совсем иным миром, иными понятиями, иной человеческой правдой, и она глубоко и облегченно вздохнула. Ряды набегających на пристань волн показались ей вдруг не такими угрожающими, небо не столь мрачным, а черный силуэт уходящего парохода — не таким уж печальным и зловещим. Присутствие этого человека как-то разом разогнало ее невеселые мысли.

«А если спросить у него совета? — подумала она обрадованно. — Интересно, что он ответит?»

И Юленька принялась обстоятельно и подробно рассказывать Пьеру о предложении Эдмона Дэрблэ поступить к нему в бюро секретаршей. По мере того, как она обстоятельно перечисляла все преимущества, связанные с предлагаемой ей новой работой, — возможность быстро научиться печатать, на вечерних курсах изучить стенографию, — лицо его постепенно менялось. Из добродушного оно стало изумленным, затем строгим и отчужденным. А когда Юленька заговорила о том, какое значение имеет в данном случае ее знание русского языка, и об интересной работе, связанной с культурными и экономическими сношениями с СССР, француз зло рассмеялся.

Юленька старалась понять его мысли. От всего ее облика — ясного лба, на котором вспухла жилка от усердия припомнить все подробности сделанного ей делового предложения, широко раскрытых серьезных глаз, полураскрытого маленького рта, даже от чинно сложенных на коленях маленьких рук — веяло нравственной чистотой, наивностью и непониманием грязи и коварства жизни.

«Что же скрывается в основе этой чистоты? — думал Пьер, не сводя с Юленьки недоумевающего взгляда. — Нравственная порядочность, полнейшее незнание жизни? Или... игра в невинность?»

Но он тотчас же отбросил эту мысль.

Француз молчал, давая ей возможность высказаться до конца. А Юленька смотрела на него вопросительно, ожидая ответа. Наконец он вздохнул, встал и начал:

— Слушайте, — сказал он негромко, недоумевающе пожимая плечами, — неужели вы так и не понимаете, что именно вам предлагают?

— Я вам только что очень подробно рассказала, что мне предлагают, — обиженно возразила Юленька. — Кажется, я ничего не пропустила. Во всяком случае, это несравненно лучше, чем целый день бегать и ловить избалованных детей, выслушивать несправедливые упреки их родителей. Хоть определенные часы работы будут. А сейчас я в зависимости от своих господ целый день, с утра до вечера. Думаю, что вы этого не станете отрицать!

— Нет, это что-то невообразимое! — сказал Пьер, разводя руками, точно говорил сам с собой. — К сожалению, великому сожалению, многие современные девушки вашего возраста отлично поняли бы, чего же, собственно, от них хотят!

— Я не знаю, на что вы намекаете, — сердито ответила Юленька. — С вами невозможно серьезно разговаривать. Мне жаль, что я попросила у вас совета.

— Так! — воскликнул француз. — Жалеете!

Он опять сел рядом с ней на полусгнившую скамейку.

— Позвольте задать вам один вопрос! Вам, так сказать, сделали блистательное деловое предложение, изумительное, принимая во внимание ваш возраст и вашу неподготовленность! Вам предлагают занятие, несравненно лучшее, чем нынешнее. Допустим! Так отчего же, — соблаговолите мне объяснить все это! — отчего вы сразу с радостью, с восхищением не ухватились за это блистательное предложение? Почему вы колеблетесь? Раздумываете? Ищете совета и одобрения у людей объективных и беспристрастных? Отчего? Оттого ли, что не знаете стенографии и плохо пишете на машинке? Не уверены в своих силах? Но ведь этому, как вы говорите, можно легко и быстро научиться! Значит, существует какая-то другая причина, может быть, не совсем для вас ясная. Что же это за причина? В чем тут дело? Почему вы не решаетесь? Почему боитесь? Подумайте хорошенько!

Юленька не опустила глаз перед его пронизательным взглядом и нисколько не смутилась. Она добросовестно последовала его совету «подумать хорошенько». В самом деле, почему она не решилась сразу согласиться на предложение Эдмона Дэрблэ? Почему до сих пор переносит злые шалости детей, косые взгляды мисс Карин, глупые шутки мистера Бича, несправедливые упреки миссис Джекстон?..

Дэрблэ взял к себе искалеченного щенка, был так добр к Тину, так внимателен к ней в казино, так деловито го-

ворил с ней о ее будущих обязанностях у него в канцелярии... Но вот перед ее мысленным взором возникает искаженное бешенством лицо Жермены, и ее охватывает страх, она видит в ресторане, далеко за столиком, обедающего Эдмона Дэрблэ, и ей становится жутко, он подходит к их столу, и Юленька почти готова вскочить и убежать... Что это?..

Из задумчивости ее вывел голос Пьера Дюфура:

— Неужели вы не понимаете, в какую среду вас завлекают? Знание русского языка, интересная работа, культурные отношения с СССР! Да врет он все! Дело обстоит много проще: быть секретаршей, или как вы это там называете, у господина Эдмона Дэрблэ — это значит быть его любовницей. А любовниц этих он меняет, как перчатки...

Юленька густо покраснела.

— Где у вас основания, чтобы говорить такие гадости? — спросила она дрожащим от обиды голосом и отвернулась.

Он встал, быстро заходил по пристани и остановился перед скамейкой, на которой сидела Юленька.

— Я, кажется, наконец понял, чем вы так заинтересовали этого субъекта, этого Дэрблэ, — сказал он хмуро, смотря ей прямо в лицо. — Вы, по-видимому, действительно, довольно редкий экземпляр среди современной молодежи. Для него — это нечто совсем новое и весьма любопытное! Он любитель разнообразия, как истерически вопила та сумасшедшая в казино в тот вечер. Прямая противоположность! После разнузданной вакханки — вы! На этот раз для него сладость победы — в длительности осады. А в победе он абсолютно уверен!

Пьер опять сел рядом с Юленькой.

— Послушайте, — начал он возбужденно, желая предотвратить непоправимое. — Этот человек толкнет вас на плохой путь. Вы только начинаете жить, у вас все впереди. Он уничтожит все лучшее в вас: чистоту, доверчивость, желание работать, серьезный, честный взгляд на жизнь. В лучшем случае он превратит вас в роскошную игрушку, пустую, избалованную, обленившуюся, развращенную, а может случиться и худшее, и гораздо худшее! Он сломает вашу жизнь... Да вы не обижайтесь на меня, не отворачивайтесь! Я правду говорю. Ведь вы совершенно одиноки, у вас нет никого близкого, кто позаботился бы о вас, заступился... Нет, я обязательно должен... я должен поговорить о вас с Андреем!

Он опять вскочил и заходил по пристани.

— При чем тут еще Андрей? — сердито спросила Юленька. — Кажется, никакого отношения...

— Э, бросьте! Дело слишком серьезное! В сущности, это Андрей должен был бы обо всем этом с вами разговаривать, а не я. Поймите, этот Дэрблэ и иже с ним принадлежат к общественному слою, обреченному на гибель.

— Я ничего не понимаю! — растерянно воскликнула Юленька.

Он посмотрел в ее внимательные и серьезные глаза.

— Слышали вы в школе о древнем Риме в эпоху упадка? — спросил он, стараясь возможно понятнее объяснить ей.

Юленька утвердительно кивнула головой, она любила уроки истории.

— В древнем Риме была такая же пустота, безнадежность и нравственная извращенность, как сейчас на Западе. Так всегда бывает перед заменой одного вида цивилизации другим. Чем эти люди восполняют пустоту своего существования, свою духовную нищету? Культом того, что они называют любовью. Но это не любовь, это разврат, обостренная чувственность, извращение нормальных человеческих чувств. Ими владеет страх, отчаяние, злоба, они готовы на любое преступление, только бы остановить колесо истории, только бы повернуть его вспять! Свет все еще разделен на две части: миллионы простых людей хотят мира, справедливости, творческого труда, а против них выступают сытые, алчные, лицемерные враги человечества. И вы хотите примкнуть к ним, перейти в их лагерь?

— Мне предложили работу... Вы тоже у него работали, на его заводе... — сказала Юленька.

Пьер махнул рукой.

— Нужно поговорить с Андреем, — сказал он как бы про себя. — А если и он не поможет...

— При чем тут Андрей? — настойчиво спросила Юленька.

— Да при том, что у вас с ним одна Родина! — воскликнул Пьер Дюфур с досадой. — Он обязан вмешаться в вашу судьбу и не допустить непоправимого!

Дюфур откинулся на спинку скамейки, и Юленьку изумило выражение его лица, задумчивое и одухотворенное.

— Иметь такую Родину, как Советский Союз, какое это счастье! — сказал он тихо и проникновенно. — Самая

мысль о том, что Советский Союз существует, что он есть, помогает жить, бороться против несправедливости великому множеству людей. Вон там. — Он протянул руку и показал на море. — Там, за тысячи километров отсюда, — Алжир! Французские власти отнимают у народа миллиарды франков и бросают на войну против Алжира. Изощренные пытки, преступления, ужас которых превосходит все, что можно себе представить...

Он встал и, подойдя к самому краю пристани, долго смотрел в бурлящую морскую стихию.

Когда он обернулся, то показался Юленьке постаревшим и очень уставшим.

— Что ж! — воскликнул Пьер. — Новое всегда рождается в борьбе и муках, старое долго обороняется. Мы вот тут только еще штурмуем это старое... а там, у вас, все это уже давно пройденный этап! Какая вы счастливая, что вы русская!..

В наступившем молчании был слышен только плеск набегающих волн.

— Подумать только, — сказал Дюфур, — из жизни устранено все, что тормозит свободное развитие народа. Работай — ведь работы непочатый край!.. Чтобы быть счастливым, человек должен что-то созидать и сознавать, что он делает полезное, нужное, необходимое для всех. Какой размах в Советском Союзе! Как там должны быть счастливы люди!

Он вздохнул, посмотрел на Юленьку и вдруг заторопился:

— Ох, мне пора идти! Ведь я завтра уезжаю отсюда. Но я еще успею переговорить с Андреем, — пообещал Пьер. — Прощайте же! Может быть, нам когда-нибудь еще суждено встретиться. Жизнь ведь длинная! Вот тогда-то вы вспомните сегодняшний разговор!

Он с силой пожал ей руку и быстро ушел.

Эта встреча ошеломила Юленьку. Она долго сидела на безлюдной пристани, думала, сравнивала... Даже ее подопечные не выдержали и, наконец, вылезли из своей засады, подошли к ней и потребовали увести их домой, в отель.

Юленька встала, рассеянно и задумчиво посмотрела вокруг. Дети недоумевали — гувернантка совсем равнодушна к их выходкам.

Волны шумели. Накрапывал дождь.

VIII

«Посоветуюсь с Сесиль Дюваль, — после бессонной ночи решила Юленька. — Как я раньше об этом не подумала?»

Сесиль Дюваль жила в большой вилле с колоннами. Высокая чугунная ограда с длинным рядом массивных копий окружала виллу. Перед домом высоко вверх выбрасывал тонкую прозрачную струю фонтан, обрамленный клумбами лиловых ирисов. Вдоль дорожек густо разрослись декоративные мимозы.

Сесиль только что встала. Юленька застала ее в столовой за утренним кофе. Сияющий паркет столовой, прекрасная дубовая мебель, стены, выложенные бледно-желтыми панелями, резной плафон, белоснежная льняная скатерть с кружевными прошивками, серебряный кофейный прибор, сама Сесиль, благоухающая после ванны и косметических притираний, — на всем лежал отпечаток комфорта, роскоши, спокойной и устроенной жизни.

Сесиль очень приветливо встретила Юленьку, усадила за стол и заставила выпить чашечку кофе.

— Рада вас видеть, моя дорогая! — заговорила она, наливая Юленьке кофе. Казалось, она зачарованно прислушивается к звукам своего голоса. — Я думала, что вы сердитесь на меня, все так неприятно тогда вышло!.. Поль напал на меня. Вот он обрадуется, когда узнает, что вы меня посетили!

Холеными руками она придвинула к Юленьке сахарницу, похожую на серебряный саркофаг, и корзиночку с печеньем.

Когда Юленька рассказала ей о цели своего посещения, подведенные красивые глаза Сесиль расширились от изумления. Казалось, она онемела от неожиданности.

— Эдмон Дэрблэ предложил вам поступить к нему секретаршей?! — воскликнула она наконец и разразилась веселым смехом. — Серьезно? Без шуток? Ну, значит, он не на шутку в вас влюбился! А мы-то все были уверены, что после скандала в казино он тотчас же уехал в Париж! Его с тех пор нигде не видно. В отеле, где он жил, нам сообщили, что он выехал, а он, оказывается, еще здесь и даже нашел себе очаровательную секретаршу!

Она смеялась от души.

— Мсье Дэрблэ сказал, что мое знание русского языка необходимо ему для деловых сношений с Советским Сою-

зом, — очень серьезно сказала Юленька. Ее задел легкомысленный тон Сесиль. — Я владею двумя иностранными языками. Мсье Дэрблэ говорит, что это не часто встречается... Особенно русский.

Сесиль продолжала смеяться.

— И вы расстались с американцами? — весело спросила она.

— Да нет же! — нахмурившись, ответила раздосадованная Юленька. — Я еще не дала окончательного ответа мсье Дэрблэ. Я просила его подождать, дать мне возможность обдумать его предложение. А к вам я пришла посоветоваться... Идти мне к нему в секретарши?..

Сесиль перестала смеяться и некоторое время пристально и внимательно вглядывалась в Юленьку.

— Что же вы хотите, чтобы я вам сказала? — спросила она.

— Я не знаю, — растерянно произнесла Юленька. — Откуда мне знать, что вы скажете...

— Вы в самом деле верите тому, что Эдмону Дэрблэ нужно ваше знание русского языка для деловых сношений? — спросила она, наконец, осторожно стряхивая пепел в маленькую пепельницу на круглом полированном столике.

Юленька расширила глаза.

— А отчего же мне не верить? Если мне предлагают работу на определенных условиях, то почему бы мне не принять ее? А не понравится, я всегда могу отказаться и уйти...

— Ох, дитя мое, — вздохнула Сесиль. — Не так легко уйти от Эдмона Дэрблэ, если он не захочет вас отпустить. Он наверняка примет вас на работу по контракту на год. Вы подпишете...

— Я могу и не подписывать...

— Все это не так просто! Вы этим обидите его. А он отлично умеет разыгрывать обиженного, когда уверен в том, что вы вся в его руках.

— Так, значит, вы не советуете мне принимать его предложение? — быстро спросила Юленька с неясным еще ей самой облегчением. Точно тяжесть свалилась с плеч!

Сесиль отбросила сигарету.

— Слушайте, Жюли, — сказала она решительным тоном. Давайте говорить начистоту, без обиняков! Вы сирота, у вас нет близких, нет никаких средств к существова-

нию, кроме работы, маленьких познаний, молодости и очаровательной наружности. На что вы можете рассчитывать в жизни? Вот вы служите гувернанткой, над вами издеваются, вы терпите все это, пока вы наивны и доверчивы, но нервы постепенно начнут сдавать. Со всех сторон вас подстерегают соблазны, опасность сделать ложный шаг, глупый, непоправимый шаг, и с каждым годом опасность бессмысленно, по неопытности проиграть свою жизнь будет для вас все реальнее и все бесчеловечнее...

Сесиль приостановилась.

— Давайте говорить откровенно! Вам шестнадцать лет, вы еще совсем дитя, и вот случайно вы встречаете человека, который вами заинтересовался. С моей точки зрения, — это удача! Он очень богат, он может обеспечить вашу будущность, вы музыкальны, я слышала, как вы напевали на пляже. Если у вас окажутся настоящие способности, он поможет вам сделать артистическую карьеру, как когда-то, — она доверительно понизила голос и наклонилась к Юленьке, — как когда-то помог и мне...

Юленька отшатнулась от нее.

— О, это дела давно минувших дней! — воскликнула Сесиль и опять закурила сигарету. — Мы с ним давно уже просто друзья. Но без него я никогда не стала бы тем, что я теперь! Я вышла на дорогу. Скоро выхожу замуж за Поля Жерара. Это проверенное чувство. Моя жизнь вполне обеспечена, но чтобы всего этого достигнуть, нужно уметь скользить, моя дорогая, скользить, а не упираться! Это свойство надо вырабатывать смолоду. Сумеете ли вы? Ох, не знаю! Боюсь, что нет!

Она покачала головой.

— Вы не по летам серьезны и добросовестны, искренни и наивны, доверчивы и... честны!

Сесиль улыбнулась.

— Вы, я думаю, созданы для скромного семейного уюта: дети, хозяйство, рукоделие, цветы... Может быть, садик и огород? Дорогая моя, все это существует только для девиц с солидным приданым. Нам, девушкам без средств, это — увы! — недоступно. Мы должны искать иные пути, если не хотим быть растоптанными жизнью.

Сесиль встала и прошла по комнате. Остановилась перед Юленькой и дружески положила ей на плечо руку.

— Глядя на вас, хочется прибавить к вашей серьезности хоть немного живого практицизма, — сказала она с шутиливой досадой, — хотелось бы вдохнуть в вас хоть чу-

точку цинизма... Пусть не пугает вас это слово, без него в наше время не проживешь! Вы, кажется, из тех, кто ждет избранника, суженого, родственную душу... Такого, милочка, в жизни просто не бывает.

Юленьке вспомнилась Мари, комната умирающей и ее лихорадочная речь.

Она встала. Сесиль задержала ее.

— Уже уходите? Я знаю, что не убедила вас ни в чем. Но помните, что такой случай встречается далеко не каждый день. Упустить его, а потом жалеть об этом всю жизнь? Смотрите, как бы так не получилось.

— А я не буду жалеть! — сказала Юленька.

— Вы так в этом уверены? О, молодость! Как вы неопытны еще! Да разве можно строить жизнь на иллюзиях?

Сесиль вздохнула.

— Приходится в который раз уж признаться, что единственный учитель жизни — это свой собственный опыт!

Они вышли на террасу. Сесиль обняла Юленьку за плечи и повернула к себе лицом.

— Секретарша! — воскликнула она, смотря Юленьке прямо в глаза, и рассмеялась. — Кто-то сказал: «Приятно иметь возможность поцеловать своего секретаря!» Не сердитесь! Но этот «кто-то» говорил о своей жене. Что ж! Бывает и так, но очень редко. На это рассчитывать не приходится!

Юленька торопливо простилась.

Фонтан, окруженный лиловыми ирисами, по-прежнему журчал. Обходя лужайку, Юленька оглянулась. Сесиль стояла в картинной позе, прислонившись к белой колонне, и смотрела ей вслед. Она улыбнулась Юленьке и махнула рукой.

IX

Юленька шла медленно. Одна мысль, что вот сейчас она увидит семейство Джекстонов и должна будет провести с ними целый день, показалась ей невыносимой. А вдруг она встретится с Эдмоном Дэрблэ?

Она шла по извилистой дорожке парка. За поворотом она почувствовала запах свежести, послышалось шипение водяной струи, и Юленька увидела Андрея. Он тоже заметил ее, тотчас прекратил поливку, быстро намотал шланг на деревянный барабан и подошел к ней.

— Как хорошо, что я вас встретил, — сказал Андрей. — Поговорить мне надо с вами...

Юленька молча смотрела на него.

— Присядем, — предложил он.

Они сели на скамейку.

— Ну и задал же мне перцу вчера Пьер Дюфур! — сказал он с усмешкой, покачивая головой. — Здорово умеет он убеждать людей. Настоящий пропагандист! — прибавил он с явным восхищением.

— Что он вам говорил? — спросила Юленька.

Она побледнела, сердце тревожно забилося.

Андрей улыбнулся своей широкой, добродушной улыбкой.

— Он доказал мне, как дважды два—четыре, что я обязан взять вас с собой в Ленинград.

— Взять с собой, — машинально повторила Юленька. — Взять с собой! Но ведь я все-таки не вещь, чтобы брать меня с собой...

— Я, очевидно, не совсем удачно выразился, — поправился Андрей. — Но я обязан помочь вам уехать отсюда. Дюфур доказал мне, что это мой прямой долг. Иначе я буду бессердечным эгоистом, потерявшим всякую совесть, возмутительным типом, никуда негодным гражданином, человеком с допотопными понятиями и еще чем-то, уж всего и не припомню!

Он развел руками и улыбнулся, потом повернулся к Юленьке и заговорил деловым тоном:

— Сначала мы с вами поедem в Париж. Уверен, что визы вы получите, эта процедура мне хорошо известна. Я сегодня же напишу знакомому в Париж, чтобы прислали анкеты. В Ленинграде я тоже буду вам полезен, хотя бы тем, что на первых порах лучше вас буду ориентироваться.

Теперь он говорил спокойно, уверенно, как о деле, окончательно решенном.

Юленька повернулась к Андрею. Лицо ее пылало.

— А что я буду там делать? — спросила она.

— Вы? Что будете делать? Я думаю, что будете учиться. Вы отлично говорите по-французски и по-английски. Так и пойдете по этому пути. В будущем сможете преподавать иностранные языки. Отличная специальность! Конечно, ваши практические знания необходимо подкрепить более солидной научной базой. Придется подучиться. Что ж! Впереди у вас целая жизнь.

Он помолчал.

— А, может быть, музыка? — спросил Андрей. — Дю-

фур слышал, как вы пели на пляже, и уверяет, что из вас выйдет замечательная артистка.

Он смотрел на Юленьку с доброй улыбкой.

— Когда же?.. Когда же это будет? — едва выдохнула Юленька.

— Отъезд? Через две недели во всяком случае надо ехать. Предупредите ваших американцев и приготовьтесь!

Он встал.

— Через две недели, — повторила Юленька, смотря прямо перед собой сияющими глазами, чувствуя, как все ее существо властно охватывает еще не вполне осознанная радость. — Через две недели!..

Х

Через две недели над лазурным берегом разразилась буря. Она избородила море, покрыла его белой кипящей пеной, опустошила парк, смыла дорожки. Что-то грозное и неумолимое было в идущих одна за другой волнах, в завывании ветра, в громовых раскатах, в водяных потоках, льющихся из черных, прорезываемых молнией туч.

По мокрой дорожке парка, среди луж, поломанных веток и выпирающих корней ковыляло, прихрамывая, маленькое, несчастное, всеми покинутое четвероногое существо. Это был Тин. Густая темно-коричневая шерсть его промокла насквозь, он дрожал всем телом. Трудно было узнать в нем холеного, красивого щенка. Он забился под скамейку и тихо, жалобно заскулил.

В парке никого не было.

Но вот в конце дорожки показалась женщина. Довольно пожилая, в очень изношенном, когда-то, вероятно, дорогом меховом манто и бесформенной шляпе на седой голове. Она приблизилась к скамейке, под которую забился Тин, и остановилась, услышав его безнадежный плач.

— Чего скулишь? — спросила она по-русски, заглядывая под скамейку. — Недоволен жизнью, голубчик? Плохо, брат, наше с тобой дело, а?

Тин, уловив сочувственную нотку в голосе женщины, высунул свою черную мордочку из-под скамейки и заскулил еще жалобнее.

— Да ты, оказывается, красивый! Хороший! — сказала женщина, вытаскивая его за шиворот из-под скамейки. —

Малыш ты этакий несчастный! Как ты сюда попал? И лапка у тебя не совсем в порядке. Ушиб ты ее, что ли?

Она долго рассматривала щенка, потом вынула из сумки смятую газету, деловито расправила ее, аккуратно завернула в нее недоумевающего Тина и сунула его в свою сумку.

Выйдя из парка, женщина медленно поплелась в гору по узкой извилистой улице, в ту часть старого города, где нет ни отелей, ни вилл с лепными фасадами и резными балконами, ни фешенебельных ресторанов, ни элегантной курортной публики.

Она подошла к крошечному домику-хибарке с одним окошком на улицу. Дом состоял из одной комнаты и узеньких сеней. Женщина оставила в сенях мокрый зонт, сняла мантию и шляпу, вынула из сумки Тина и пустила его на пол. Тин встряхнулся и заковылял по комнате, обнюхивая все углы. А спасительница его тем временем вымыла руки и принялась что-то подогреть на керосинке. Налила в тарелку молока и поставила ее перед Тином.

— Как же тебя назвать? — спросила она и задумалась.
— Дружок... Да-да. Дружок!

Когда стемнело, она уложила Дружка на мягкую подстилку, не зажигая огня, разделась и легла на узкую, скрипучую кровать.

Было тихо. Дождь не прекращался, он нежно постукивал по стеклу, будто кто-то робко, но настойчиво просил пустить его в комнату.

Женщина шепотом, а потом вполголоса читала стихи:

**Завались в свою берлогу,
Как медведица зимой.
Засыпая понемногу, позабудь души тревогу,
Вихри мыслей успокой!**

Дождь вдруг энергичней забарабанил по стеклу, но женщина не слышала шума. Ей, видимо, мерещилась совсем иная картина, иная погода.



СТРАНА ЧУДЕС

Страна Чудес была знакома с детства.
На чердаке, где зной и пауки,
Я получила от отца в наследство
Большие, как гробницы, сундуки.
В них старых книг подрагивали крылья,
И целый мир передо мною рос,
Под балками, припудренными пылью,
В лучах заката цвета желтых роз.
Запутанно, волшеббно и неверно
Баюкали страницы тишину,
И улетал воздушный шар Жюль Верна
На медленно всходящую луну.
А гномы в колпачках из сказок Гримма,
В подземном закаленные огне,
Мне кланялись и проходили мимо,
Взмахнув лопатой в слуховом окне.
Но с жадностью читая том за томом,
Не угадала я сквозь книжный бред,
Что чудеса лежали рядом с домом,
Что в каждой грядке пламенел жар-цвет.
В часы тоски, когда меня сковали
И семь замков повесили на дверь,
Открылись мне из необъятной дали
Все чудеса, доступные теперь.

Моя страна, спаленная в багрянце
Великих зорь, ты позвала меня,
И по волнам твоих радиостанций
Бежит струя подземного огня.
В тебе сбылись: и папоротник рдяный,
Кащей Бессмертный, и Хрусталь-Гора,
И звонкий смех царевны Несмеяны,
И черных недр алмазная игра.
Как белый сокол, в зареве заката,
Над куполами реет и поет
Победоносный внук азростата —
Сверкающий на солнце самолет.
Колумбами по океанам ночи
К междупланетным тайнам тишины!
Путь от Москвы до Волги не короче,
Чем от кремлевских башен до Луны.
И если нет отверженным возврата,
То жизни не бывает без любви.
Там родилась я, там жила когда-то...
Страна моя, мечта моя, живи!
В чердачное, полуслепое око,
Прорезанное в небе, лился свет.
Страна Чудес, тебя со мною нет,
Но тот же свет в моем окне — с Востока!

T. S. F. *

Охмелев,
Нараспев,
В звоне, грохоте, шуме,
В сумасшедшем самуме,
T. S. F.
Фокстрот, рапсодия, соната, хотя,
Австралия, Берлин, Тунис.
За нотой нота,
Скачками, вниз
Из
Проволок, тумана, ветра...
И где-то, где-то,
Среди делений, ламп, винтов,
Как хлопья снега,
Как лихач с разбега,
В огнях подков,
Влетели, врезались слова Москвы.
И нараспев
Мадрид
Кричит,
И негры двух Америк
Раскаты бубна с берега на берег
Пригоршнями бросают в T. S. F.
Эй, вы, проклятые! Глухие! Вы!
Молчите, слушайте слова Москвы.
Здесь, в деревянном аппарате,
Не цифры вспыхнули — глаза Кремля.
Скрипит мороз, гудит моя земля,
И ветер захлебнулся на Арбате.
И высоко над сетью проводов,
Над музыкой миров — косые брови,
Лицо скуластое, и буйство крови,
И гром ломающихся льдов.

* Французское обозначение радиоприемника.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Мы говорим на языке,
Который стал бледней и суше,
Как стали суше, вдалеке
От чернозема, наши души,
Как мельче стали и скупей
Запасы слов, что по дорогам
Мы унесли в мешке убогом
Из золотых своих степей.
А мимо нас спокойным шагом,
В спокойном цоканье подков,
Идут, идут под красным флагом
Живые рати свежих слов.
Пусть, выгорая, знамя бьется,
Пусть побледнел пурпурный цвет,
Но слово блещет, слово вьется,
И гибели для слова нет!
Оно идет, идет, все шире,
Проникновеннее, острей
Над снегом, шелестящим в мире,
Над зыбью северных морей,
Над каждым днем, над каждой птицей,
Над звездами морозной тьмы...
Над европейскою больницей,
В которой задохнулись мы.



СУДЬБА АРТИСТА

Мемуары артиста эстрады? Это может показаться странным, тем более не в специальном журнале, посвященном искусству.

О чем же может рассказать эстрадный артист? У автора этих мемуаров А. Н. Вертинского была сложная биография, и он рассказал о многом — о своих разочарованиях, горестях, о скитаниях, о том дурном, бесчеловечном, что видел на чужбине.

А. Н. Вертинский был не просто артистом эстрады со своим особым репертуаром, а своеобразным, характерным явлением последних лет старого мира накануне его крушения.

Мемуары актеров не всегда удовлетворяют читателей: часто мы встречаем в них эгоцентризм, выпячивание своих заслуг, порой незаслуженные и чрезмерные комплименты своим современникам. Мемуары Вертинского не свободны от переоценки успехов, но ценность его воспоминаний в том, что все виденное им не прошло мимо него, в том, что он сумел сказать правду о жизни за рубежом, о переживаниях человека без Родины.

* * *

Почти полвека назад в Москве среди артистической молодежи обратил на себя внимание молодой человек с походкой на псевдоним фамилией — Вертинский.

Странной и неожиданной была его судьба, как вообще странными были в то время судьбы молодежи, вышедшей из интеллигенции. В 1905 году начиналась их юность, еще не окрепшими юношами они приняли на себя злейшие удары реакции. Волна мистицизма, порнографии, отступничества обрушилась на этих молодых людей. Они быстро росли и видели свое назначение главным образом в искусстве и литературе — устремлялись в театральные школы и студии, забрасывали редакции журналов и газет стихотворениями, поэмами. И тут их постигало жестокое разочарование: эпидемия самоубийств, наркотики губили даже одаренных людей; так называемая богема была обречена на голодное или полуголодное существование, и только немногие находили место в жизни.

И вот среди этих молодых людей оказался тоненький,

хрупкий блондин. Он явственно грассировал, был довольно застенчив, робко читал свои стихи. Но было в нем что-то привлекательное — добродушие, юмор, деликатность. Его упрекали в аристократичности, хотя было известно, что он вырос в семье железнодорожника из Киева.

В начале первой мировой войны Вертинский появился в военной форме санитаря Красного Креста, но он не был «земгусаром» — так называли здоровенных лоботрясов, которые укрывались от фронта в учреждениях Земского союза. Он работал на фронте, на передовой, в качестве простого санитаря и о том, что там видел, рассказывал с глубоким сочувствием к солдатам, к их страданиям и лишениям. И это было искреннее сочувствие человека, увидевшего воочию войну.

Кончалась первая мировая война. Ужасающим был контраст между фронтом и тылом. Петроград. Москва с ресторанами для новых богачей — спекулянтов, авантюристов, «героев тыла» — и очереди голодных людей у булочных, инвалиды на костылях...

В один день создавались громадные состояния, в один час делали карьеру царские министры. Предчувствие конца не тревожило господ, роскошно устроившихся в тылу, и все же их томило какое-то беспокойство, им хотелось забвения, томной грусти, после которой особенно приятной была бы обычная сытая жизнь.

И вот на сцене одного из модных тогда театров «миниатюр» выступил в гриме и костюме Пьеро артист — исполнитель так называемых интимных песенок — Александр Вертинский. Он сам сочинял стихи, мелодии. Экзотика его песенок пленила бездельников и бездельниц, которые в то же время рвались на «поззоконцерты» поэта-эгофутуриста Игоря Северянина.

В ту пору Вертинский выступал на эстраде как-то робко, неуверенно, у него по-настоящему дрожали руки, это было неподдельное волнение — он словно сам удивлялся своему успеху у публики. А успех был, по-моему, понятен — артист каким-то чутьем угадал конец прежней жизни, подобрал в себя, певца, претенциозность, тоску, отчаяние, безнадежность класса обреченных. Он шел от декадентства, но сумел довести до полной ясности опустошенность, обреченность того, что декаденты называли «серебряным веком».

Удивительно было то, что артист, показывая на сцене нечто болезненное, был вполне здоров, разумен, обладал чувством юмора и вполне искренне презирал публику, которая после Октября искала прежней вольготной жизни то в гетманской «державе», то под крылышком генерала Деникина, то, наконец, за границей.

Именно там в 1927 году, в Париже, я увидел Вертинского, но уже не загримированного под Пьеро, а человека в обыкновенном костюме.

Вертинский сам говорил, что у него нет голоса (кстати, так же, как у Ива Монтана), но он обладал искусством вы-

разительного жеста. Это позволяло ему без грима, мгновенно создавать образ — то светского хлыща, то капризной и глупой дамы-щеголихи, то мечтателя, то бродяги поэта. В его песенках была легкая ирония, он забавно высмеивал пустых фатов и ветреных модниц, мечтал о голубых полярных льдах, о пальмах тропиков, о звезде среди миров мерцающих светил. Не все песенки были сочинены им самим, но в собственных его стихах встречались интересные поэтические образы. Но он, конечно, не пел, а «сказывал» стихи. Недаром Шаляпин, очень скупой на похвалы, на подаренном Вертинскому снимке сделал теплую надпись, назвал его «сказителем». Главной особенностью исполнения Вертинского было то, что его песенка была своеобразной театральной пьеской, которая длилась две-три минуты и блестяще разыгрывалась талантливым актером.

Еще в 1927 году Вертинский говорил автору этих строк, что ему душно и тяжело в эмиграции, на чужбине, что ему отвратительна его публика — господа, которые все еще верят, что им вернут их имения, заводы, дома.

В Варшаве он просил полномочного представителя СССР Петра Лазаревича Войкова разрешить ему вернуться на Родину. Вертинский любил свою Родину, любил Киев, Украину, и даже в те годы, когда он был на Западе модным певцом и граммофонные пластинки с записью его песенок расходились тысячами, он скучал по родной стране, томился и создал тогда простую и искреннюю песенку «В степи молдаванской». С чужого берега, «сквозь слезы» он глядел на родную землю...

А. Н. Вертинский вернулся на Родину в 1943 году, когда еще продолжались жестокие битвы с гитлеровскими захватчиками, и здесь ему пришлось держать трудный экзамен перед зрителями. То, что было в его песенках от эстетства, искушалось блеском исполнения; он мог выступать с таким репертуаром только потому, что был талантливым, единственным в своем жанре артистом. У Вертинского было подкупающее зрителей чувство собственного достоинства на эстраде. Он не заискивал перед публикой, не ждал аплодисментов, не посылал в публику улыбок. Он знал, что в зале немало людей, считающих его жанр безыдейным и пустым, но вот кончался концерт, и они уходили, удивленные его исполнительским мастерством.

В последние годы жизни артист покорила даже своих недоброжелателей, с успехом сыграв несколько ролей в кинофильмах. Он превосходно владел лицом, жестом, каждым движением, и это помогло ему на экране. Он владел искусством перевоплощения, мы видели его то кардиналом в «Заговоре обреченных», то князем в фильме «Анна на шее», то венецианским дожем, то польским вельможей. Он был превосходен в гриме французского генерала, но сыграть эту роль в фильме «Олеко Дундич» ему уже не пришлось.

Режиссеры, операторы, киноактеры с удивлением и восхищением наблюдали его работу на съемках. Точность его жеста была изумительной.

— Я поднимаю мой бокал... — произносил Вертинский и поднимал воображаемый бокал так, что зрители видели его, видели, что он держит бокал так, чтобы не расплескать налитое до краев вино.

Вертинский много ездил по стране. В номере гостиницы перед концертом — в знойном Ташкенте, на метельном Сахалине, в осеннем, дождливом Ленинграде — он не сидел без дела: писал мемуары, киносценарии, письма друзьям, — писал об искусстве, о только что прочитанной книге или просто о впечатлениях от того края, куда его привела судьба странствующего артиста. Он вел скромный, трудовой образ жизни, не очень любил засиживаться до поздней ночи, не любил нетрезвых собеседников. Он знал, как пагубен для человека искусства богемный образ жизни, и предостерегал молодежь, показывая пример точности и добросовестности в работе.

Автор мемуаров был интересным, остроумным собеседником. Литераторы и актеры любили слушать его рассказы о скитаниях, необычайных встречах, — почти все это вошло в воспоминания. Артистический талант, мимика, жест делали его рассказы особенно забавными, увлекательными, остроумными.

Теперь, когда мы уже не видим афиши с именем Вертинского, можно подвести итог его сложной жизни. Первая ее глава окончилась в октябре 1917 года. Другая глава неотъемлема от агонии русской эмиграции за рубежом и в то же время проникнута искренней грустью по утраченной Родине. Последние четырнадцать лет Вертинский жил на Родине и работал в полную силу, отдавая искусству всего себя.

Вместе с Вертинским умер созданный им на эстраде жанр, и сколько бы не старались подражатели, никто не в состоянии его продолжить или повторить, потому что искусство артиста было своеобразно, и он умел им владеть, как никто другой. Для этого надо было не только обладать талантом, но и прожить жизнь, полную тревожений, искшений, ошибок и поисков настоящего счастья.

Вертинский служил своим искусством зрителям, как умел, и те, кто его хоть раз видел и слышал, вряд ли его забудут. Впрочем, он сам напомнит о себе на страницах своих воспоминаний.

Перед читателем предстает не только артист своеобразного дарования, но и интересный мемуарист, человек, который рассказал о своем жизненном пути и исканиях живо, увлекательно, с юмором, искренне. В этом ценность его мемуаров.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ РОДИНЫ

ОДЕССА

...**Ш**ЕЛ 1918 год. Одессой правил тогда полунемецкий генерал Шиллинг. По улицам прекрасного приморского города расхаживали негры, зуавы; они скалили зубы и добродушно улыбались. Это были солдаты оккупационных французских войск, привезенные из далеких стран, — равнодушные, беззаботные, плохо понимающие, в чем дело. Воевать они не умели и не хотели. Им приказали ехать в Одессу — и они поехали. Как туристы. Им интересно было посмотреть Россию, о которой они так много слышали, и... больше ничего. Они ходили по магазинам, покупали всякий хлам, переговаривались на гортанном языке.

Испуганные обыватели, уstraшенные маскарадным видом африканцев, сначала прятались, потом, убедившись, что они «совсем не страшные», успокоились.

В Одессе было сравнительно спокойно. Работали театры, синема, клубы. Музыка играла в городских садах.

Бои шли где-то далеко. В магазинах доставали из тайников запрятанные на всякий случай товары. В кафе, у Робина, у Фанкони, сидели благополучные спекулянты и продавали жмыхи, кокосовое масло, сахар...

На бульварах, в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой. Они были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, то без всякого повода. Потом теряли эквилибр и стреляли из наганов в люстру.

Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда-то.

В это время у меня шли гастролы в Доме артистов.

Внизу было фешенебельное кабаре с Изой Кремер и Плевицкой, а сверху — карточная комната. Я пел там ежевечерне. Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в три ночи меня разбудил стук в дверь. Я встал, зажег свет и открыл ее. На пороге стояли два затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку.

— Простите за беспокойство, его превосходительство генерал Слащев просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина.

— Господа! — взмолился я. — Три часа ночи! Я устал, хочу отдохнуть!

Возражения были напрасны. Адъютанты были любезны, но непреклонны. На всякий случай они старательно поправляли кобуры с револьверами.

— Его превосходительство изъявил желание видеть вас, — настойчиво повторяли они.

Спротивление было бесполезно. Я оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина.

Через десять минут мы были на вокзале. В огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, сидели за столом десять — двенадцать человек. На столе — грязные тарелки, бутылки вина, цветы... Все скомкано, смято, залито вином, разбросано. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная, статная фигура Слащева. Огромная рука протянулась ко мне.

— Спасибо, что приехали. Я большой ваш поклонник. Вы поете о многом таком, что мучает нас всех. Кокаину хотите?..

— Нет, благодарю вас.

— Лида, налей Вертинскому! Ты же в него влюблена! Справа от Слащева встал молодой офицер в черкеске.

— Познакомьтесь, — хрипло бросил генерал. — Юнкер Ничволодов.

Это и была Лида, его любовница, женщина, делившая с ним походы, участница всех сражений, дважды спасшая ему жизнь. Худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой.

Я поздоровался. Только теперь, оглядевшись вокруг, увидел, что посредине стола стояла большая круглая табакерка с кокаином и что в руках у сидящих были гусиные перышки-зубочистки. Время от времени гости набирали в них белый порошок и нюхали его. Привезшие меня адъютанты почтительно стояли в дверях.

Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо. Длинная, белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы.

Он был напудрен. Пот стекал по его лбу мутными, молочными струйками.

Я выпил вина.

— Спойте мне, милый, эту... — Он задумался: — «О мальчиках»... «Я не знаю, зачем»... — Его лицо стало на миг живым и грустным. — Вы удивительно угадали, Вертинский. Это так верно, так беспощадно верно. Действительно, кому? Кому это было нужно? Правда, Лида?..

На меня взглянули серые русалочьи глаза.

— Мы все помешаны на этой песне, — тихо проговорила она. — Странно, что никто не сказал этого раньше.

Я попытался отговориться:

— У меня нет пианиста...

— Глупости. Николай, возьми гитару! Ты же знаешь наизусть его песни! И притуши свет. Но сначала понюхаем...

Генерал набрал в нос большую щепотку кокаина. Я зашел.

Высокие свечи в бутылках озаряли лицо Слащева — страшную гипсовую маску с мутными, широко выпученными глазами. Его лицо дергалось. Он кусал губы и чуть-чуть раскачивался.

— Вам не страшно? — неожиданно спросил он.

— Чего?

— Да вот, что все эти молодые жизни... псу под хвост! Для какой-то сволочи, которая на чемоданах сидит!

Я молчал. Он устало повел плечами, потом налил стакан коньяку.

— Выпьем, милый Вертинский! Спасибо за песню!

Я молча выпил. Он встал. Встали и гости.

— Господа, — сказал он, глядя куда-то в окно. — Мы все знаем и чувствуем это, только не умеем сказать! А вот он умеет! — Слащев положил руку на мое плечо. — А ведь с вашей песней, милый, мои мальчишки шли умирать! И еще неизвестно, нужно ли это было? Вы правы!

Гости молчали.

— Вы устали? — тихо спросил он.

— Да... немного...

Он сделал знак адъютантам и сказал:

— Проводите Александра Николаевича!

Адъютанты подали мне пальто.

— Не сердитесь, милый! — улыбаясь, сказал генерал. — У меня так редко бывают минуты отдыха! Вы отсюда куда едете?

— В Севастополь.

— Ну, увидимся! Прощайте! — И подал мне руку.

Я вышел. Светало. На путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, пронзительно свистел паровоз.

СЕВАСТОПОЛЬ

Белые армии откатывались назад. Уже отдали Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Шикарные штабные офицеры постепенно исчезали с горизонта. Оставались простые, серые, плохо одетые, усталые и растрепанные. Вместе с армией «отступал» и я со своими концертами. Последнее, что помню, была Ялта. Пустая, продуваемая сквозным осенним ветром, брошенная временно населявшими ее спекулянтами. Концерты в Ялте я уже не давал. Некому было их слушать.

Несколько дней городом владел какой-то Орлов, не подчинившийся приказам белого командования. Потом его куда-то убрали, и все затихло. Ждали прихода красных. Я уехал в Севастополь.

В гостинице Кйста, единственной приличной в городе, собралась вся наша братия. Там жили актеры, кое-кто из писателей и много дам. Деньги уже ничего не стоили. За ведро воды нужно было платить сто тысяч рублей.

К концу 1918 года под неудержимым натиском Красной Армии белые докатились до Перекопа. Это был последний клочок русской земли, еще судорожно удерживаемый горстью усталых, измученных, упрямых людей, уже не веривших ни в своих вождей, ни в свою авантюру. Белая армия фактически перестала существовать. Оставались только ее разрозненные, кое-как собранные остатки. Генералы перессорились между собой, не поделив воображаемой власти, часть из них уже удрала за границу, кое-кто застрелился, кое-кто перешел к красным, кое-кто исчез в неизвестном направлении.

Армия разлагалась и таяла на глазах у всех. Дезертиры с фронта — оборванные, грязные и исхудавшие, переодетшиеся в случайное «штатское» платье, — бродили по Севастополю, заполняя собой улицы. Спали всюду — на бульварных скамейках, в вестибюлях гостиниц и прямо на тротуарах, благо, ночи в Крыму теплые. А те, кто еще носил форму, — отпускные, командированные в тыл, — по целым дням торчали в комендатуре, где с утра до ночи бегали с бумагами под мышкой военные чиновники, охрипшие и ошалевшие. Сами ничего не знавшие, они никому и ничем помочь уже не могли. Но рвали взятки с живого и с мертвого.

Высокие, худые, как жерди, «великосветские» дамы и девицы, бывшие фрейлины двора, графини, княжны и баронессы с длинными породистыми «лошадиными» лицами, некрасивые и надменные, продавали на «черном рынке» свои бриллиантовые шифры и фамильные драгоценности, обиженно шевеля дрожащими губами. Слезы не высыхали у них на глазах.

Днем они толкались в посольствах и контрразведках иностранных держав, в консульствах, различных учреждениях и комитетах, где можно было купить любой паспорт. Спекулянтков можно было узнать сразу. Котиковый сак. Тюрбан на голове. Заплаканные глаза и мольба: «Визу на Варну!», «В Чехию, в Сербию, в Турцию — куда угодно! Только бежать, бежать!..» Они не мылись неделями, спали, не раздеваясь. От них шел одуряющий запах «лоригана-коти», перемешанный с запахом едкого пота. Ни-

кто из них ничего не понимал. Словно их контузило, оглушило каким-то внезапным обвалом. Они ждали чего угодно, но только не революции. Они не могли осознать случившегося и только жалобно скулили, когда кто-нибудь пытался с ними заговорить.

«Безработные призраки прошлого» — таково было их шутовское прозвище.

По улицам ходил маленький князь Мурузи и, встречая знакомых, сладко и заливисто разговаривал, сильно картавя.

— Тут нет жизни! — восклицал он, всплескивая ручками. — Надо ехать на фронт! Это безобгазие!

Однако сам он ни на какой «фронт» не ехал. Уговаривать нас князь начал еще в Одессе. И теперь докатился до Севастополя. Исчерпав все убеждения, он озабоченно спросил у меня:

— Скажите, догогой, а где тут хагашо когмят?

— Тут. У Кйста, — отвечал я. — Тут же и хорошо, тут же и плохо! Потому что другого места все равно нет,

Единственный в городе театр «Ренессанс» ежевечерне был набит до отказа серыми шинелями — отпущенными или бежавшими с фронта офицерами. Мне предложили гастроли. Я отказался. Петь было нелепо, ненужно и бессмысленно.

Поэт Николай Агнивцев — худой, долговязый, с длинными немытыми волосами — шагал по городу с крымским двурогим посохом, усеянным серебряными монограммами — сувенирами друзей, и читал свои последние душераздирающие стихи о России:

**Церкви — на стойла, иконы на щепки!
Пробил последний, двенадцатый час!
Святой боже, святой крепкий,
Святой бессмертный, помилуй нас!**

На его визитной карточке было напечатано: «Николай Агнивцев (миллионер)».

Знакомый восточный князь Меламед купил шхуну и гостеприимно предлагал актерам ехать на ней в Турцию. Предлагал и мне, Собинову, Балановской, Плевицкой. Молодые актеры нанимались кочегарами на «Рион» — большой пароход, стоявший в порту. Спекулянты волновались и покупали все что угодно, лишь бы только отделаться от

корниловских «колокольчиков» — тысячерублевков. Перекоп — узкая полоска земли, отделявшая нас всех от оставленной Родины, — еще держался. Его защищал Слащев. На стенах города появились приказы генерала Слащева: «Тыловая сволочь! Распаковывайте ваши чемоданы! На этот раз я опять отстоял для вас Перекоп!»

Иногда в осенние ночи, когда море шумело и билось за окнами нашей гостиницы, Слащев приезжал с фронта со своей свитой. Испуганные лакеи спешно накрывали стол внизу в ресторане. Сверху стаскивали пианино, звали меня. Я одевался, стуча зубами. Спускался вниз, пил с генералом водку, разговаривал, потом пел по его просьбе. Но водка не шла. Голова болела, было грустно и пусто. Слащев дергался, как марионетка, хрипел, давил руками бокалы и, кривя страшный рот, говорил, сплевывая на пол:

— Пока у меня хватит семечек, Перекопа не сдам!

— Почему семечек? — спрашивал я.

— А я, видишь ли, — мы уже были на «ты», — иду в атаку с семечками в руке. Это развлекает и успокаивает... моих «мальчиков»!

Черноморский матрос Федор Баткин — краснобай, демагог и пустомеля, «выдвиженец» Керенского — кого-то в чем-то безуспешно убеждал. Но люди пожимали плечами и, не дослушав до конца, уходили...

— Визу, визу, визу! Куда угодно! Хоть на край света!

Остальное никого не интересовало. С Перекопа бежали. Слащев безумствовал. В Джанкое он приказал повесить на фонарях железнодорожных рабочих за отказ исполнить его приказы.

Однажды утром я получил телеграмму: «Приезжай ко мне, мне скучно без твоих песен. Слащев».

В этот день на рейде стоял пароход «Великий князь Александр Михайлович». Капитан его, грек, был моим знакомым. Пароход отходил в Константинополь. На нем уезжал обиженный Деникиным генерал Врангель со своей свитой. Ночью, встретив капитана в гостинице, я попросил его взять меня с собой. Он согласился.

Утром, погрузив несложный багаж и захватив с собой единственного друга — актера Бориса Путятю и пианиста, я уехал из Севастополя.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Рано утром мы вошли в Босфор. Нашим глазам предстала панорама из тысячи и одной ночи. Залитый огнями Золотой Рог. Сахарно-белые дворцы султанов со ступенями, сходящими прямо в воду. Море огней. Тонкие иглы минаретов. Башня, с которой сбрасывали в Босфор неверных жен. Маленькие лодочки — канки. Красные фески. Люди в белом. Гортанный говор. И флаги, флаги, флаги! Без конца. Как на параде!

Военные корабли на рейде. Ярко начищенные медные части маленьких катеров сверкают, играют тысячами бликов, горят под лучами солнца.

Я сошел с парохода. В Константинополь. В эмиграцию. В двадцатилетнее добровольное изгнание. В долгую и горькую тоску.

Все пальмы, все восходы, все закаты мира, всю экзотику далеких стран, все, что я видел, все, чем восхищался, — я отдаю за один, самый пасмурный, самый дождливый и заплаканный день у себя на Родине!

К этому я согласен прибавить еще и весь мой успех, все восторги толпы, все аплодисменты, все цветы, все деньги, которые я там зарабатывал... Все, все, все, ибо все это было мне не нужно!

Поселились мы с Борисом Путятой в самом фешенебельном отеле Константинополя — «Пера Паласе». Разутюжили наши российские «костюмчики» — знаменитый актерский «гардеробчик», по которому антрепренеры оценивали молодых актеров, и вышли на улицу — на Гранд Рюде-Пера, по которой взад и вперед прогуливалось немало наших, приехавших раньше нас.

«Ба! Откуда вы? Когда приехали? На чем?» Приподымались шляпы. Пожимались руки.

«Вы уже пообедали? Нет? Ну зайдем куда-нибудь». «Хотите в «Уголок»? Тут русские держат!»

Заходили. Выпивали. Закусывали. Разговаривали по душам.

Борщ подавали отменный — мы от такого борща давно уже отвыкли. Все было первоклассного качества. А главное, подавали дамы. Молодые, нарядные, слегка кокетничавшие своим неумением подавать.

«Ну, откуда же мне знать это?.. — говорили их глаза. — Мы же не привыкли!»

— Горчички? Ах да!.. Забыла... Еще чего хотите?

Смелый, немного беспомощный взгляд и улыбки, улыбки без конца...

Это заменяло недостаток сервиса. Обалдевшие, подвыпившие гости уходили, оставляя «на чай» даме больше, чем стоил весь обед. «Неудобно. Она такая милая!..»

Мы с другом тоже оставляли много. Но потом спохватились и стали ходить в дешевые турецкие кофейни.

Город шумел, орал и сверкал, как огромный базар. Тысячи голосов. Щелканье бичей «арабаджи», гордо восседавших на козлах своих фаэтонов, окрики полицейских, гудки машин, вой нищих, пение продавцов птиц и сладостей, лай собак — все сливалось в общий гул. На улицах настоящий карнавал. Сотни офицеров и солдат в самых экзотических формах и нарядах. Шотландцы в юбочках, с волынками в руках маршировали под какую-то детскую музыку. Негры в фесках и шароварах, итальянцы с петушиными перышками на шляпах, французы в голубых с золотом кепи, американцы в белых шапочках, англичане со стеками в руках, греки, чехи, сербы, румыны... Кого только здесь не было! И все это двигалось, маршировало, играло, пело. «Победители» демонстрировали свою мощь.

На углу, около кафе Токатлиана, старый турок жарил каштаны на маленькой жаровне и плакал. Один из «победителей» толкнул его жаровню — она мешала ему пройти, — и каштаны рассыпались по мостовой. По вечерам в узких улочках, прямо на тротуарах, пристраивался «кафеджи» — продавец кофе — ароматного турецкого кофе, в чашечках величиной с наперсток. За пять пиастров он подавался тут же на улице. Можно было сесть на маленькую табуретку, покурить, послушать заунывную восточную мелодию, исполняемую бродячим турецким музыкантом, и погрустить о Родине.

В Галате дервиши — в длинных одеждах, босые — кружились в священном танце. Кружились до тех пор, пока в судорогах не падали на землю.

В большой праздник «байрам» мы ходили в Галату смотреть дешевую иллюминацию и бродили без цели по базарам, покупая всякую ерунду.

В темных, прохладных магазинах сидели, поджав под себя ноги, мудрые седобородые турки и терпеливо торговали чудесными коврами, угощая посетителей крошечной чашкой кофе с рахат-лукумом.

Турецкие женщины в национальной одежде с «чарчафами» — вуалями, закрывавшими пол-лица, — обжигали прохожих быстрыми и любопытными взглядами. Подойти к ним или завести знакомство было невозможно. Полиция зорко следила за ними. Мужчинам за попытки познакомиться ничего не было, а женщин таскали в полицию, вызывали родных и родственников.

В больших грязных кафе ели плов из барашка, крошечные шашлыки, «долму», запивали «дузикой» — анисовой водкой, разбавленной холодной водой. Какие-то допотопные органы, вроде наших московских «машин», какие когда-то были в извозчичьих трактирах, ревели, гудели и цокали, внезапно останавливаясь, когда кончался завод.

По узеньким, кривым, немощным улочкам и переулкам бежали страшные, опаршивевшие собаки и рылись в мусоре, который выбрасывали на тротуар обыватели. Трогать собак было нельзя. По мусульманским законам собаки считаются священными животными. Англичане долго думали: что с ними делать? Наконец полковник Максвелд додумался: всех собак переловили, свезли на какой-то пустынный остров, где они перегрызли друг друга.

Яркий, красочный быт Турции еще существовал, но уже исчезал понемногу под напором «цивилизации», нахлынувшей вместе с оккупационной армией. Той Турции, о которой писал Клод Фаррер, в которую когда-то был влюблен Пьер Лоти, — уже не было. Где-то во дворце сидел султан, восточный повелитель, давным-давно купленный европейцами и оставленный ими только «для декорации». Без власти и без силы, без всякого значения. Правда, в его великолепном дворце «Ильдиз-Киоске» по пятницам, в «селямлик», еще бывали приемы. На них присутствовал весь дипломатический корпус. Но и туристы тоже. Приглашение на эти приемы можно было получить по знакомству за деньги.

...Сначала все были полны надежд. «Это ненадолго!» — говорили спокойные, уверенные спекулянты, которым удалось кое-что вывезти и кое-что заработать. Многие заходили в своем оптимизме еще дальше.

— Англичане дают деньги, экипировку и вооружение, — говорили они.

— Но они уже давали, — робко возражал я.

— Будет сформирована новая армия. Она будет отправлена на английских кораблях и высажена.

— Но они уже высаживали! — деликатно напоминал я.

— Ничего. На сей раз это вполне серьезно!

Возражать было напрасно. Какой-то купец из старых московских фамилий даже заключал пари на любую сумму, что «к Новому году будем в Москве».

Некоторых подозрительных лиц спешно вызывали в разведки и штабы, вели с ними какие-то переговоры. Много обещали, много предлагали. Немолодые особы сомнительной репутации, работавшие в «Осваге» и в белых разведках, делая «хорошую мину при плохой игре», загадочно улыбались и иногда, по большой доверенности, интимно говорили:

— Ждите больших событий! Скоро поедем домой!

А в Галиполи, на острове, тихо умирала бессильная, разоруженная армия. И было какое-то трагическое сходство между нею, изолированной от всего остального мира, и теми собаками, которых англичане свезли на остров.

А на острове Принкино — в настоящем земном раю, среди роз, глициний и магнолий, в лучшем отеле мира — сидели, как в концлагере, русские эмигранты на английском пайке и играли в карты на коробки консервов, проигрывая друг другу свои полуголодные пайки. Они отвинчивали дверные медные ручки и продавали их за гроши на барахолке, чтобы курить и пить турецкую водку.

Старые, желтозубые петербургские дамы, в мужских макинтошах, с тюрбанами на голове, вынимали из сумок последние портсигары — «царские подарки» с бриллиантовыми орлами — и закладывали или продавали их одесскому ювелиру Пурицу в наивной надежде на лучшие времена. Они ходили все как одна одинаковые — прямые, как лестницы, с плоскими ступнями больших ног в мужской обуви, с крымскими двурогами палочками-посохами в руках — и делали «бедное, но гордое» лицо.

Молодые офицеры, сопровождавшие их, какие-то «Вовочки» и «Николя», бывшие корнеты лихих гусарских и драгунских полков, продавали сувениры дам и «красиво» прожигали деньги.

В фешенебельном игорном доме, открытом предприимчивым одесситом Сергеем Альтбрандтом, играл Жан Гулеско, знаменитый скрипач-румын, любимец петербургской кутящей публики. Было одно желание — забыться. Забыться во что бы то ни стало. Сперва играли в «баккара», потом ужинали, потом пили «шампитр». Собирались

мужскими компаниями по несколько человек и кутили, вспоминая старый Петербург.

— Жан, нашу Конногвардейскую!

Гулеско знал наизусть «Чарочки» всех полков. Раздувая цыганские страстные ноздри, он подходил к столу.

— Гулеско, наш Егерский! Ну-ка!.. Встать! Господа офицеры!

Вставали. Пили. Требовали «Боже, царя храни».

Гулеско играл, сверкая белками глаз, как-то особенно ловко подхватывая на лету и перекладывая в карман швыряемые ему десятки.

Клубы эти были запрещены. Начальник полиции колонель Максвелд с чисто английской спортивной выдержкой, несмотря на тысячи ухищрений хозяев, в один прекрасный день перелезал где-то через забор и в самый разгар врывается в клуб. Энергично размахивая стеком направо и налево, он забирал всех в полицию. И держал до утра. Потом выгонял, записав фамилии.

Я помню, тогда мне бросилась в глаза одна странная вещь. Я заметил, что многих, очень многих людей революция поставила на их настоящее место... И даже не то. Вернее, в эти дни, как в проявителе, который употребляют фотографии, ясно обозначились те черты некоторых людей, которые раньше не замечались и не могли быть замечены, как ничего нельзя увидеть на негативе, пока его не опустишь в проявитель.

Кем и чем были эти люди до революции? Многие из них занимали посты, играли видную роль при дворе, работали то на одном, то на другом поприще, часто были всеильны, всемогущи, имена их были известны каждому, — и все это было не то, что они представляли собой на самом деле. Только здесь, в эмиграции, выброшенные из своей тихой заводи шквалом революции, они обрели свою истинную сущность, показали свое истинное лицо, нашли истинное призвание.

У меня, в кабаре «Черная роза», на вешалке стоял швейцаром бывший сенатор. Я никогда не видел швейцара, который был бы более удачен на своем месте, чем он. Он был услужлив, любезен, сообразителен и умел угодить публике, как никто. Он занимался всем, вплоть до сводничества. И зарабатывал великолепно. Очень многие, весьма щекотливые дела устраивались через него. И самое главное — он был вполне счастлив. Весь мир, такой огромный,

такой сложный для него раньше, поделился теперь только на две половины, на два сорта людей: «дающих на чай» и «не дающих на чай». И он безошибочно разбирался в них.

— Разве это гость? — презрительно говорил бывший сенатор. — Я для него машину вызывал, за девочками ездил, домой его пьяного отвез, а он... пять лир — на чай!.. — И брезгливо пожимал плечами.

— Тяжело вам, Константин Иванович? — иногда спрашивал я.

— Что вы! Что вы! Отлично!..

Он махал на меня руками. Он был счастлив. Это было его настоящее призвание. А вся жизнь, прожитая им ранее, была ошибкой, сном, досадным воспоминанием.

На кухне шикарного ресторана-кабаре «Эрмитаж», в котором мне пришлось петь и быть еще директором, служил поваром бывший губернатор. Не знаю, каким он был администратором в России. Вероятно, плохим. Знавшие его говорили, что он был зол, туп, придирчив и завистлив. Но поваром он был чудесным! Бывало, придя в ресторан в восемь часов утра, я заставлял его за огромной чашкой чая с клубникой. Он потягивал горячий напиток и благодушно улыбался. Еда была его стихией. Целый день он пробовал соусы, вылизывая языком ложки, потом обедал — жирно, вкусно, — пил настойку. Вечером снова ел.

— Ну как, Николай Васильевич? — спрашивал я. — Трудновато?

— Да что вы, милый! Я отдыхаю! Только теперь я понял, что такое красота жизни!

И это была правда — он нашел себя.

А сколько великолепных лакеев, услужливых метрдотелей, лихих шоферов выходило из людей, принадлежавших к самым богатым, самым высшим классам старого общества! Сколько сутенеров, жуликов, шулеров вышло их тех, кто носил самые громкие титулы, самые аристократические фамилии!

Значит, какая-то правда была в том, что

**Эту накипь
Революция выплеснула
за борт.**

Правда, вместе с этой накипью за борт попали и совсем иные люди. Но об этом потом.

Русские необыкновенно легко осваиваются повсюду. У них какое-то исключительное умение «обживать» чужие страны. Ибо куда бы мы ни приехали, —

К мысу ль Радости,
К Скалам Печали ли,
К Островам ли
Сиреневых птиц,
Все равно, где бы мы
Ни причалили...

— как писала Н. А. Тэффи, всюду мы приносим много своего, русского, только нам одним свойственного, так украшиваем своим бытом быт чужой, что часто кажется, будто не мы приехали к ним, а они — к нам.

— Ну, как вам нравится Константинополь? — спросил я одну знакомую даму.

— Ничего, довольно интересный город... Только турок слишком много, — ответила она.

Конечно, в больших городах, таких, как Париж, Лондон или Берлин, мы растворялись в многомиллионных массах местного населения, но зато в маленьких... С нашим приездом Константинополь стал очень быстро «русифицироваться». На одной только Рю-де-Пера замелькали десятки вывесок ресторанов, кабаре (дансингов тогда еще не было), магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных...

Зернистая икра, филипповские пирожки, смирновская водка, украинский борщ дразнили аппетит, взывали к желудку. И деньги тратились легко — турецкие деньги, а наши «колокольчики» уже ничего не стоили. Кто успел обменять их раньше — тот был спасен. Остальные с горечью говорили:

— Вот чемодан «лимонов», а жрать нечего.

Положение женщин было лучше, чем мужчин. Они «привились», и их охотно брали на всякие должности. Мужчинам же найти работу было очень трудно. Они устраивались главным образом около ресторанов, чистили картошку или ножи, мыли посуду. Почтенные генералы и полковники охотно шли на любую работу чуть ли не за тарелку борща.

Все это было очень грустно. Какие-то организации, вроде Земского союза, пытались что-то делать, устраивая бесплатные столовки и ночлежки, но за недостатком средств учреждения эти дышали на ладан.

И все-таки все как-то жили. Около тех, кто ел пироги, как всегда, питались крохами голодные. Голодных, конечно, было больше, чем сытых, но и сытых было немало. Предприимчивые купцы возили что-то в Батум, нагружали пароходы, возвращались и снова куда-то везли. Потом, когда возить уже было нельзя, «загоняли» пароходы, часто им не принадлежавшие, и долго еще жили на эти деньги.

Первое время какой-то микроб «беспечности» носился в воздухе. Думалось — все поправится, скоро вернемся на Родину. Сделки, барьпши, деловые знакомства — все это «вспрыскивалось» по-старинному — шампанским, отмечалось кутежами, швырянием денег.

Главный заработок был от иностранцев. Им очень нравилось все русское. Начиная от русских женщин, капризных и избалованных, которые требовали к себе большого внимания, и кончая русской музыкой и русской кухней. Грубоватые американцы, суховатые снобы-англичане, пылкие и ревнивые итальянцы, веселые и самоуверенные французы — все совершенно менялись под «благотворным» влиянием русских женщин. «Переделывали» они их изумительно — русские женщины любят «переделывать» мужчин! Для иностранцев «условия» были довольно трудные. Но чего не перетерпишь ради любимой женщины!

Помню, был у меня один приятель француз. Человек довольно неглупый, молодой, богатый и веселый. Подружились мы с ним потому, что он обожал все русское.

— Гастон, — спросил я его однажды, — вот вы так любите все русское. Почему бы вам не жениться на русской?

Он серьезно посмотрел мне в глаза. Потом улыбнулся.

— Видите ли, мой дорогой друг, — раздумчиво начал он, — для того чтобы жениться на русской, надо сперва выкупить все ее ломбардные квитанции. А если у нее их нет, то — ее подруги. Раз! Потом — выписать всю семью из Советской России. Два! Потом купить ее мужу такси или дать отступного тысяч двадцать. Три! Потом заплатить за право учения ее сына в Белграде, потому что за него уже три года не плачено. Четыре! Потом положить на ее имя деньги в банк. Пять! Потом купить ей апартаменты. Шесть! Машину. Семь! Меха. Восемь! Драгоценности. Девять! И т. д. А шофером надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь. И такой милый. И большевики у него отняли все-все, кроме чести, конечно.

После этого она вам скажет: «Я вас пока еще не люблю. Но с годами я к вам привыкну!» И вот, — вдохновенно продолжал Гастон, — когда она, наконец, к вам почти уже привыкла, вы застаете ее... со своим шофером! Оказывается, что они давно уже любят друг друга, и понятно, вы для нее нуль. Вы — иностранец, «чужой». И к тому же — хам, как они говорят. А он все-таки «бывший князь». И танцует лучше вас. И выше вас ростом. — Гастон расхохотался. — Ну, остальное вам ясно. Скандал. Развод. На суде она обязательно вам скажет: «Ты владел моим телом, но душой не владел!» Зато ваш шофер имел и то и другое. Согласитесь, что это комплике (сложно), мой друг!

Шарж был ядовитый. Но в общем довольно верный. И тем не менее женщины все-таки побеждали. Они выходили замуж за кого угодно, начиная от самых «больших» особ первого класса и кончая самыми маленькими.

А турки вообще от них потеряли головы. Наши голубоглазые, светловолосые красавицы для них, привыкших к своим смуглым восточным повелительницам, показались ангелами, райскими гуриями, женщинами с другой планеты. Разводы сыпались, как из рога изобилия. Мужья получали «отступного» и уезжали искать счастья — кто в Варну, кто в Прагу, кто куда, а жены делались «магометанскими леди» и наряжались иногда в восточные одежды, которые носили не без шика.

Турецкие жены забили тревогу. Собрав много тысяч подписей, они подали петицию коменданту Константинополя полковнику Максвельду, в которой наивно жаловались на измены мужей, подчеркивали опасность, угрожающую их семейному очагу, и требовали... выселения всех русских женщин из Турции! Не знаю, какой ответ им дал комендант, но факт остается фактом.

А пугаться было чего. Константинополь был буквально переполнен молодыми и хорошенькими женщинами. Военная молодежь из белых армий где-то в Крыму, в Ростове, Екатеринодаре переженилась «с перепугу» на молодых девчонках и привезла их с собой, надеясь на знаменитый русский «авось». Девчонки сразу освоились и как-то внезапно, точно по уговору, оказались все дочерьми генералов, полковников, губернаторов и миллионеров. Иностранцам они рассказывали о себе чудеса. Те слушали их, разинув рты, и лезли из кожи. Мужья сердились, но терпели. «Главой в доме» была жена. Сменив военную форму на

штатское, мужчины чувствовали себя как-то неуверенно. Имея много свободного времени, они ревновали своих жен, тяготились создавшимся положением или, наоборот, спокойно мирились с ним и от скуки целыми днями торчали в бильярдных.

Я пел в «Черной розе». Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали из-за незнания русского языка, а преимущественно цыганские. Веселые, с припевами, в такт которым они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это им нравилось. Почти ежевечерне по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристоль. Он приезжал с женой и свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую «Гусарскую песенку» («Оружием на солнце сверкая...»), которую я ему пел, искусно приправляя эту песенку всякими имитациями барабанов и военных труб.

Тратил он очень много, и мой патрон был в восторге. А за адмиралом тянулась и остальная денежная публика. Постепенно меня стали приглашать на все официальные банкеты и приемы в посольстве — я танцевал с пожилой адмиральшей и разговаривал по-французски, — английского я не знал.

Однажды адмирал пригласил меня даже обедать на свой флагманский корабль. В это время Кемаль-паша, будущий создатель Новой Турции, сидел в Анатолии, оцетившись всеми верными ему штыками, и не обращал внимания на угрозы союзников. Американские и английские корабли блокировали Анатолийское побережье. Где-то шли какие-то переговоры, пока же остальная Турция во главе с султаном была ими изолирована.

Однажды я был приглашен в «Ильдиз-Киоск» к султану на «селямлик». Я приехал со своим оркестром и в ожидании выхода султана стоял в приемной зале дворца и разговаривал со знакомыми дипломатами. Греческий атташе Псилари объяснял мне, как надо заводить роман с турчанками, чтобы не повредить их репутации. Я слушал и смотрел в окно: до приема султан должен был по ритуалу посетить мечеть.

Мечеть находилась тут же, в ограде дворца, и скоро показалось его ландо, запряженное шестеркой белых лошадей. Султан в блестящем, расшитом золотом мундире, с лентой и орденами, сидел один, а по бокам от его коляски в полных парадных одеяниях и также при всех орде-

нах и регалиях бежали его министры, положив руку на крыло экипажа. Полюбовавшись парадом, я отошел от окна. Вечером, после приема, вдоволь напевшись, я получил от султана в подарок ящик его личных сигарет из чудесного турецкого табака с длинными картонными мундштуками, украшенными султанской эмблемой.

В числе наполнивших город соотечественников, к моему изумлению, оказался и Слащев. Он поселился где-то в Галате с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. В числе их была и «знаменитая» Лида. Мы встретились. Вернее, я сам разыскал его. Слащев жил в маленьком грязноватом домике, где-то у черта на куличках. Он еще больше побелел и осунулся. Лицо у него было усталое. Темперамент куда-то исчез. Кокаин стоил дорого, и, лишенный его, он утих и постарел сразу на десять лет.

Разговор вертелся вокруг одной темы: о Врангеле. У Слащева была смертельная, неизлечимая ненависть к этому человеку. Он говорил долго и яростно о каких-то приказах — своих и его, ссылаясь на окружающих, грозил, издевался над германским происхождением Врангеля, кричал, что Россию продали немцам, и упорно сводил счеты с другими белыми генералами. Трудно было понять что-нибудь в этом потоке бешенства. Всем своим новым, «штатским» видом Слащев напоминал мне больную птицу, попавшую в клетку. Адъютанты молчали, потихоньку перестригаясь из «львов» в «пуделей» и подумывая о новом хозяине. Как ни странно, но о «красных» Слащев ничего не говорил. По-видимому, он уже «что-то понял».

Встретив в городе турка, которого я знал по России, — некоего Нуридин-бея (он был дипломатом в Петрограде и говорил по-русски), я рассказал ему о Слащеве и о том, что тот нуждается. Нуридин-бей предложил посылать ему хлеб на всю братию (у него была своя булочная) и обеды из нашего ресторана «Черная роза», открытого этим турком.

Я аккуратно посылал Слащеву еду. Так продолжалось с полгода. Потом я потерял его из виду.

Еще через год я ушел из «Черной розы» и пел уже в загородном саду «Стэлла». Хозяином его был знаменитый русский негр Федор Федорович Томас, бывший хозяин московского варьете «Максим».

Однажды вечером в «Стэлла» приехал Слащев. Он был с компанией неизвестных мне лиц, много пил и молчал. После пения я подошел к нему. Он обрадованно, но груст-

но улыбнулся. Его лицо изменилось до неузнаваемости. Это уже не был «белый генерал», «герой Перекопа», как его величали, «трагический Пьеро» разбитой армии, — это был грустный, усталый и старый человек.

Слащев предложил мне вина.

— А ты ведь действительно «что-то знаешь»! — вдруг раздумчиво сказал он. — Но и ты ошибся! Как я! Мы все ошиблись! Ужасно, непоправимо, непростительно ошиблись! Мы проглядели самое главное! Мы не имеем права жить!

Он взял в руку деревянную палочку-размешалку, которую подают к шампанскому, и сломал ее. Его лицо скривилось в мучительной гримасе.

Мы молчали. Говорить при посторонних было неудобно.

— Хочешь послушать моего совета? — спросил он. — Возвращайся в Россию!

Я молча кивнул головой. Увы, я это понял, едва ступив на берег Турции. Но поправить свою мальчишескую ошибку я уже не мог.

Через несколько дней я узнал, что Слащев уехал в Советскую Россию, а еще через два года из газет мне стало известно, что его убил на улице рабочий, брат одного из тех, которых он повесил в Джанкое.

Так окончилась жизнь этого странного и страшного человека.

* * *

До сих пор не понимаю: откуда у меня набралось столько смелости, чтобы, не зная толком ни одного иностранного языка, в двадцать пять лет, будучи капризным, избалованным русским актером, неврастеником, совершенно не приспособленным к жизни, без всякого жизненного опыта, без денег и даже без веры в себя, — так необдуманно покинуть Родину. Сесть на пароход и уехать в чужую страну. Что меня толкнуло на это?

Задавая себе этот вопрос спустя десятки лет, я все еще не мог найти в своей душе искреннего и честного ответа.

Я ненавидел Советскую власть? О, нет! Советская власть мне ничего дурного не сделала.

Я был приверженцем какого-нибудь иного строя? Тоже нет. Убеждений у меня никаких в то время не было. Но тогда что же случилось? Что заставило меня уехать? Почему я оторвался от той земли, за которую готов был теперь с радостью отдать свою жизнь, если бы это было нужно?

Очевидно, это была просто глупость! Юношеская беспечность. Может быть, страсть к приключениям, к путешествиям, к новому, еще не изведанному? Не знаю.

Так или иначе — я оказался в Турции...

Начиная с Константинополя и кончая Шанхаем, я прожил длинную и не очень веселую жизнь эмигранта, чело- века без Родины.

Я много видел, многому научился. Может быть, у себя дома, поставленный в благоприятные условия существо- вания — искусство у нас очень поощряется и очень бережно культивируется, — я бы не дошел до такой остро- ты чувств, до такого понимания чужого горя, до такой «человечности», какую мне дали годы скитаний.

Говорят, душа художника должна пройти по всем му- кам. Моя душа прошла по многим из них. Сколько уни- жений, сколько обид, сколько ударов по самолюбию, сколько грубости, хамства натерпелся я за эти годы! Сколько проглоченных обид! Сколько пропущенных без- молвно оскорблений Родины!

Это была расплата. Расплата за то, что когда-то я пос- мел забыть о ней. За то, что в тяжелые для Родины дни, в годы борьбы и испытаний я ушел от нее. Оторвался от ее берегов.

ГАЛИПОЛИ

Галиполи в переводе с греческого — «город красоты». Трудно было себе представить, почему турки назвали так пустынное, выжженное солнцем место. Наши солдаты на- зывали его «Голо-поле», и это название больше подходило. Солнце. Синие горы вокруг. Жара. Раскаленный камень. Ящерицы. И очень мало зелени. Так выглядел Галиполи, когда из черных, закопченных транспортов на него выса- дилась тридцатитысячная армия усталых, разочарован- ных, отвоевавшихся людей, людей без Родины, без буду- щего и даже без настоящего.

Когда-то здесь стояли шатры крестоносцев. Белые пер-ья рыцарских шлемов развевались по ветру. Здесь был рынок, где продавали рабынь. Когда-то разъяренный Ксеркс приказал здесь высечь цепями Геллеспонт. Потом все смывающий ветер истории начисто выдул отсюда все признаки прошлого. Несколько землетрясений... И только забытые турецкие могилы — серые камни в белых тюр- банах — скучно молчат на серо-желтом фоне. А вокруг море и море...

Для русского лагеря отвели место на земле какого-то турецкого полковника. Называлось оно «Долиной роз и смерти», потому что хотя над речкой, в расселинах гор, рос дикий шиповник, но москиты, скорпионы и змеи стерегли здесь человека на каждом шагу.

Вот на этом-то голом месте в очень короткое время вырос белый полотняный город. Почти год прожила там армия, зализывая раны. Отмылась, отчистилась от вшей, от тифа, от дизентерии. Кутепов завел строгую дисциплину, видя в ней единственное спасение. За малейший проступок сажал на гауптвахту. Он хотел спасти армию во что бы то ни стало, спасти самое сердце «белой идеи». Но идеи уже не было. Идея угасла еще там, в России. Кому нужны были, кому были дороги интересы белой армии, кроме нее самой?! Никто даже не вспоминал о ней. Спекулянты нажились, интеллигенция стремилась к центрам — в Париж, Берлин, Лондон. Молодежь просилась в Америку, в Бразилию, Аргентину — куда угодно, лишь бы вырваться отсюда и начать новую жизнь.

«Союзники» помогали слабо. Кроме консервов да кое-какой одежды, от них ждать было нечего. Жили впроголодь. Вначале солдаты даже просили милостыню. Французы запретили им ловить рыбу. От селитры, которая была в консервах, у многих на теле стали появляться какие-то язвы. Подкармливал немножко женщин и детей Земсоюз.

Днем проходили учения, маршировали, занимались, как полагается. В юнкерском училище юнкерам читали лекции. Россия жива. Россия будет. И надо ей служить. Все равно где — здесь или в Африке. Сторожили знамена. Тосковали по Родине. Мечтали о походе на Константинополь... Захватить суда и потом — в Россию. Восемь офицеров застрелились от тоски. Два генерала сидели в приморском кафе — пили. Увидели на рейде маленький истребитель, схватили нагану и, как обезумевшие, бросились в воду. Доплыть, захватить истребитель и — в Россию!.. В воде отрезвились, подобрал их русский катер.

Когда по всему миру русские эмигранты впали в истерику, когда их «политики» стали делать ставку на «эволюцию большевизма», на «крестьянские восстания», «голод», когда «Общее дело» заявляло, что через две недели начнется поголовное бегство комиссаров из Кремля, сухопарые, очкастые галиполийские лекторы, загибая тощие пальцы, говорили: «Не верьте! Все это истерика или вы-

думка. Не сегодня и не завтра придет спасение. Не верьте политиканам. Они ослепли в политической мгле. Это самообман, а правда — проста. Мы одни. Мы полузабыты, и мы должны крепить свой дух».

Все эти белые мальчики верили в свой подвиг. Они думали, что приносят свои жизни на алтарь Родины — для ее счастья, ее спасения. Белые воевали за старое, за прошлое. Красные воевали за новое, за будущее. Русский народ пошел за теми, кто дал ему настоящее счастье на земле, перестроил его психологию, весь его внутренний мир, всю его сущность.

...На рейде время от времени появлялся старый, закоптелый пароход «Решид-паша», который ходил в Одессу и мог увезти на Родину. И долго смотрели на него люди в белых рубашках, и тысячи мыслей о том, как бежать, как вырваться, как вернуться, рождались в их головах. И бессильно умирали. Возврата не было.

Армию продвигали на Балканы.

ОТЪЕЗД ИЗ ТУРЦИИ

В зеленой гуще деревьев и пальм в Бебеке, где стояли белые турецкие виллы, увитые снизу доверху огромными чайными желтыми розами, пели соловьи. А в «Пти-Шане» пели шансонетки. Балетмейстер Виктор Зимин ставил «Шахерезаду». В «Стэлле», в саду у нашего московского негра Томаса, играли русские музыканты, танцевали русские балерины, русские дамы пленяли сердца американцев, англичан и французов. Все шло как по маслу. Но деньги кончались.

Те, кто «устроился», так или иначе еще существовали, остальные, истратив все и продав все «фамильные драгоценности», невольно вынуждены были как-то устраивать свою дальнейшую судьбу. Опять началась беготня за визами. Кое-куда их еще давали. «Интеллигенцию» принимали чехи. Туда двинулись профессора, писатели, журналисты. Желających «сесть на землю» звали в Аргентину. Туда стремилось казачество. Люди со средствами уезжали во Францию, в Париж. Эмиграция рассасывалась.

Турецкое правительство, слегка опомнившись от своих собственных переживаний, подбодренное независимым положением неукротимого Кемаль-паши, потихоньку приходило в себя. На эмиграции это отразилось довольно чув-

ствительно. Появился ряд декретов, сильно ограничивших свободу и даже пребывание русских в Турции.

Нужно было куда-то «бежать» дальше. Я стал думать о своей дальнейшей судьбе. Тут передо мной возникли два основных вопроса: куда ехать и с какими документами? Был еще и третий вопрос: с какими средствами?

Того, что я зарабатывал пением, хватало на жизнь, но и только. А пароходные билеты до любой страны стоили сотни лир. Но, очевидно, судьба думала обо мне. Вскоре возле меня стал вертеться маленький юркий «театральный человечек» — русский грек, некий Кирьяков. У него родилась «идея» повезти меня в Румынию, главным образом в Бессарабию, где было коренное русское население и где можно было на мне «заработать». Выбирать мне не приходилось. Я искренне обрадовался этому предложению и стал готовиться к отъезду. Вскоре у меня появился греческий паспорт, купленный Кирьяковым за сто лир на имя греческого подданного, рожденного в городе Киеве, Александра Вергидиса (так переделал мою фамилию предприимчивый Кирьяков для большего сходства с Грецией). О родителях было сказано, что отец из Афин, а мать — с Украины. В общем, получался недурной «коктейль».

С благодарностью вспоминал я потом об этом человеке. Что бы я делал, если б не он? И не только в тот момент, но и в дальнейшем. Как-никак, но с этим «паспортом» я объехал чуть не полсвета, минуя все эмигрантские затруднения.

На прощание симпатичный чиновник, продавший мне этот паспорт, сказал:

— Можете ездить по всему свету, только старайтесь никогда не попадать в Грецию, а то его у вас моментально отберут!

Этот завет я помнил всю жизнь. Вероятно, поэтому я так и не видел Греции!

Постепенно закрывались рестораны, прижатые новыми правилами. Прикрывались игорные дома и лото-клубы, сворачивались магазины, лопались дутые предприятия, отбিরались пароходы...

Правительство султана висело на волоске, а Кемаль рычал, как разъяренный тигр, на мирно отдыхающих «победителей» и не давал им покоя. Приходилось «сматывать удочки».

Я не дождался переворота. Взял билет в Констанцу и,

закурив последнюю ароматную сигарету, подаренную мне его величеством, отплыл в неизвестность, навсегда попрощавшись с солнечной страной — родиной Шахерезады, Босфором, Золотым Рогом...

* * *

Однажды, рассказали мне, в Кишиневе появилась русская женщина, отличавшаяся необыкновенной красотой. Она тайком перешла границу по льду Днестра у Тирасполя, а оттуда пробралась в Кишинев, где ее приютил богатый одесский грек Пападаки, владелец кино «Орфеум». Эта женщина должна была ежедневно являться в комендатуру, ее подвергали допросам, стараясь выяснить, не является ли она «шпионкой оттуда». Добиться от нее ничего не могли, потому что это была обыкновенная буржуазная дама, убежавшая из Советской России, как убежали сотни спекулянтов, буржуев, растратчиков. Именно они составляли «кладезь премудрости» и информации о Советской России для русской эмиграции и иностранных государств. Сколько откровений было сделано именитыми белыми журналистами по рассказам бежавших! По их сенсациям выходило, что Россия ждет и никак не может дожидаться... возвращения белой эмиграции на помочах каких-либо интервентов. В этом, в частности, кроется просчет некоторых держав, строивших свои отношения к СССР на «точной» информации. СССР — это сфинкс. Красная Армия — это сфинкс, повторяли одна за другой иностранные газеты. На деле же оказалось, что никакого сфинкса нет. Наш славный народ за годы Советской власти стал монолитным, а наша Родина — могучей мировой державой.

Вернемся, однако, к этой даме. Она имела несчастье обратить на себя внимание всемогущего «диктатора» Бессарабии — генерала Поповича. Изматывая ее допросами и запугивая, генерал в конце концов предложил ей сойтись с ним, обещая за это свободу. Дама отказывалась. Генерал настаивал. Видя, что сломить ее упорство невозможно, разъяренный генерал приказал погнать женщину по льду Днестра обратно в Советскую Россию. В пять часов утра ее вывели на берег реки. Когда она отошла на некоторое расстояние, ей послали вдогонку несколько пуль.

Узнав об этом, Пападаки бросился в Бухарест, взял самого лучшего адвоката; не жалея денег, кидался по всем инстанциям, требуя расследования. Подавал жалобы министрам и даже дошел до короля. Но все было напрасно. Генерал был недосыгаем и неуязвим. Тогда Пападаки поднял

на ноги прессу. За деньги, конечно. Оппозиционные газеты затеяли настоящую травлю генерала. Коллегия адвокатов заявила формальный протест в суде. Скандал разросся до небывалых размеров... И тем не менее дело замяли, грека куда-то запрятали и потом «ликвидировали».

Вот к этому самому генералу Поповичу я и попал со своими концертами. Приехал я из Констанцы через Бухарест прямо в Бессарабию, где рассчитывал исключительно на русское население. Сначала все было хорошо. Концерты мои давали отличные сборы, публика меня баловала до предельной возможности, друзья окружили заботой, вниманием и лаской. Но потом вдруг все неожиданно и странно изменилось. Как-то после концерта я ужинал со своими друзьями в саду местного собрания. Мы сидели в ресторане, а дальше, в глубине сада, был кафешантан со столиками. Во время ужина мне стало жарко, я решил пройтись по саду. Не сказав никому ни слова, я вышел из-за стола и направился к ярко освещенному кафешантану. Остановившись у барьера, стал смотреть, как проделывали какой-то трудный номер немецкие акробаты.

Неожиданно из темноты сада ко мне подошла уже немолодая дама.

— Вы мсье Вертинский? — спросила она.

Я молча поклонился.

— У меня к вам просьба... Я певица. — Она назвала какое-то имя, вроде Мира или Мара. — Я пою здесь... В субботу у меня бенефис. Я бы хотела, чтобы вы выступили у меня в этот вечер.

Я был удивлен:

— Вам, вероятно, известно, мадам, что я связан договором с менаджером. Кроме того, у меня в субботу собственный концерт, который я не могу отменить, и, помимо всего, я никогда не выступаю в кафешантанах.

— Значит, вы мне отказываете? — улыбаясь, спросила она.

— Я не вижу возможности исполнить вашу просьбу, мадам.

— Вы пожалеете об этом! — глядя мне прямо в глаза, вызывающе сказала она.

Я пожал плечами и отошел. Вернувшись к своему столу, я, к сожалению, забыл об этом эпизоде и не рассказал о нем никому из друзей. Вот это-то и было моей роковой ошибкой.

В СТЕПИ МОЛДАВАНСКОЙ

На другое утро я уехал из Кишинева в турне по Бессарабии.

Трудно передать чувства, которые охватили меня при виде нашей русской земли, такой знакомой, такой близкой и дорогой сердцу и в то же время «чужой». Русские вывески: «Аптека», «Трактир», «Кондитерская», «Ренковский погреб», «Бакалейная торговля» — вызывали во мне чувство нежности. словно я повстречался с милыми, давно забытыми людьми моей юности. словно я через много лет вернулся в родной город, и меня встречают уже иные, незнакомые лица. Но все же это «свои» — люди моего города. Носильщики на вокзалах, извозчики, продавцы в магазинах, нищие — все говорили по-русски. Человеку, оторвавшемуся от родной почвы и жившему долго у чужих, это было ново, радостно и до слез приятно. В запряженном парой худых кляч провинциальном фаэтоне, на козлах которого гордо восседал извозчик Янкель — тоже худой и длинный, как жердь, с рыжевато-седой библейской бородой, — мы покатали в ясный, солнечный день по нашей — «почти нашей» — русской земле в Молдаванские степи. Те же милые сердцу белые хаты, те же колодцы с жестяными распятиями, как у нас на Украине, те же подсолнухи, кивающие из-за тына, тот же воздух, то же солнце, те же птицы.

**Что за ветер в степи
Молдаванской...
Как поет под ногами
земля... —**

танцевали у меня в голове первые строфы будущей песни.

Коляска подпрыгивала. Янкель что-то напевал о строгой учительнице, которая обманывает своего «ребенка», и хотя пел он по-еврейски, но выходило как-то «по-русски». Так, вероятно, пел еврей-ямщик и где-нибудь на Украине. Встречные возы с сеном, запряженные такими же русскими волами, давали нам дорогу, сворачивая со шляха. Крестьяне кланялись, снимая шляпы.

Все эти Бендеры, Сороки, Оргеевы — типичные русские «местечки» с белой церквушкой, бакалейными лавочками, где пахнет хомутами и дегтем, где продают гвозди и мыло, кнуташица и квас, колбасу и веревки.

В синем небе высоко кружил ястреб. Ласточки сидели

на телеграфной проволоке, и кругом, куда ни кинешь взгляд, — степь и степь. Так похоже на Родину! Иногда под вечер в степи мы встречали цыганский табор. Настоящий табор, о котором всю жизнь слышишь в романах, кстати сказать, написанных людьми, никогда его не видевшими. Горели костры. Кибитки стояли полукругом с поднятыми оглоблями. Мы останавливались, шли к цыганам, садились к костру, ужинали, пили вино, слушали песни. Под гитарные переборы грустили о Родине. А степь была уже серебряной от лунного света, звенели цикады, кричали перепела, и было много общего между жизнью этих людей без Родины и моей. Так родилась моя песня «В степи Молдаванской».

* * *

В Бендерах мы остановились в маленькой гостинице. Нам принесли самовар. Хозяин пришел поговорить с нами. У окон собралось посмотреть на меня все местечко. Это было так «по-русски».

До концерта оставалось полтора дня. Я располагал временем и решил пойти на берег Днестра, посмотреть на родную землю.

Было часов восемь вечера. На той стороне реки нежно синели маковки церквей. Тихий звон едва уловимо долетел до меня. По берегу ходил часовой. Стада мирно паслись у самой реки.

Все это было невероятно, безжалостно, обидно близко, совсем рядом. Казалось, всего несколько десятков сажень отделяли меня от Родины.

«Броситься в воду! Доплыть! Никого нет, — мелькало в голове. — А там? Там что?.. Часовой спокойно выстрелит в упор, и все... Кому мы нужны? Беглецы! Труссы! «Сбежавшие ночью». Кто нас встретит там? И зачем мы им? Остатки прошлого! Разбежавшиеся слуги барского дома. Нас засмеет любой деревенский мальчишка. А что мы умеем? Ничего. Что мы знаем? Чем мы можем быть им полезны? Полы мыть, и то не умеем».

Я сел на камень и заплакал. Кирьяков увел меня домой — в гостиницу.

— Не расстраивайтесь. Завтра концерт, — сказал он.

Прийдя в комнату, я закончил песню:

— Это неправда! — кричал он. — Он — большевик! Он вам делает митинг! Он поет про Россию. Артистам не делают таких демонстративных оваций.

Вот тут он был прав. Овации были действительно демонстративными. И не потому, что я уж так хорошо пел, а потому, что я был русский, свой, запрещенный.

Шаг за шагом, город за городом, не минуя даже маленьких местечек, я катил по Бессарабии, напоминая людям об их языке, об искусстве их великой Родины, о том, что она есть и будет. А вместе со мной, как снежная лавина, катился все увеличивающийся ком доносов, рапортов со всех мест, где ступала моя нога, где звучал мой голос.

Публика была возбуждена, ко мне тянулись, благодарили чуть не со слезами на глазах за то, что приехал, за то, что привез русское слово, что утешил, успокоил. Воистину это окрылило меня. У меня открылись глаза. Это было и радостью, и наградой.

Однажды в степи, около Сорок, мы встретили мальчишку-пастуха. В руках у него на веревке, головой вниз, висел полузамученный большеглазый степной орленок. Мы остановили лошадей.

— Продай птицу, — предложил я.

Мальчик согласился. Он рассказал, что птица прилетела «с той стороны». Я дал ему денег, взял орленка и, доехав до берега Днестра, вышел из экипажа.

— Что вы будете с ней делать? — улыбаясь, спросил Кирьяков.

Я развязал орленку крылья и лапы, положил его в густую траву у самого берега, присел возле него на корточки.

— Когда ты отдохнешь и поправишься, — тихо сказал я, — и сможешь летать, — возвращайся на Родину и поцелуй нашу землю. Скажи, что это от меня...

Орленок взглянул мне в глаза. На секунду его взор стал строгим и пристальным. Он точно читал правду. И вдруг, к моему восторгу, взмахнул крыльями и взвился в небо. Через несколько секунд он был на середине Днестра. Потом, становясь все меньше и меньше, черной точкой исчез на том берегу, где сйнели леса моей Родины.

Мы закончили наше турне и через две недели вернулись в Кишинев, где намеревались дать еще несколько концертов, а затем ехать в Польшу.

В Кишинев я приехал к вечеру. Наскоро поужинав в отеле, лег и уснул как убитый. В пять утра в мой номер постучали.

— Пожалуйте в управление!

Кирьяков открыл. На пороге стояли жандармы. Сообразив, что дело дрянь, он бросился в город предупредить моих друзей. Самыми «влиятельными» из них были директор банка Черкес и директор Бессарабских железных дорог Николай Николаевич Кодрян — русский инженер, родом из Бессарабии, умница и большой дипломат, умевший ладить с румынами, — единственный русский, занимавший здесь такой большой пост. Через полчаса оба они уже были в управлении, обеспокоенные случившимся.

Меня ввели в кабинет к ротмистру. Он указал на стул.

— Подайте мне «дело» Вертинского! — распорядился он.

— «Дело»? У меня дело? Но какое?

Я с изумлением и тревогой смотрел на толстую папку, до отказа набитую бумагами. Потом я узнал, что все это были донесения из провинции обо мне и моих концертах, наскоро состряпанные местными агентами.

— Вы большевик? — в упор глядя на меня, спрашивал ротмистр.

— К сожалению, нет!

— Почему «к сожалению»?

— Потому что, если бы это было так, я пел бы у себя на Родине, а не ездил бы в такие дыры, как Кишинев.

— Вы занимаетесь пропагандой!.. — крикнул ротмистр, стуча кулаком по столу.

— Укажите мне, в чем она заключается...

— Вы поете, что Бессарабия должна принадлежать русским!

— Неправда!

Он ткнул мне в лицо перевод песни.

— Я не читаю по-румынски и не знаю, что здесь. Я знаю только то, что я написал!

Ротмистр злился. Он грозно потрясал в воздухе моей безвредной песенкой «В степи Молдаванской».

— Да-да, конечно. Вы маскируете смысл, но все понимают, что вы хотите сказать!

— Было бы странно, господин ротмистр, если бы я пел так, чтобы меня не понимали!

— Вы — советский агент! — раздражаясь все больше, кричал он. — Вот здесь мне доносят, что вас засыпают цветами! Вы разжигаете патриотические чувства... у русских! Вы обращаетесь с речами...

— Никаких речей я не говорю!

— Я запрещаю ваши концерты. Как вы попали сюда? Кто дал вам визу?

Допрос длился час.

Резолюция была коротка: выслать из пределов Бессарабии в Старое Королевство.

Напрасно хлопотали мои друзья, нажимая на свои связи и знакомства. Ничего сделать было нельзя. Совершенно ясно, что «дело» о моем «большевизме» было мне «пришито». Настоящая же причина крылась в чем-то другом. После нескольких дней, во время которых меня ежедневно в пять утра таскали на допрос, я, наконец, догадался рассказать друзьям историю с шансонеткой в кишиневском саду.

После этого все стало окончательно ясно для них и для меня; я осмелился отказать в просьбе любовнице всеильного генерала Поповича! В ту же ночь я был отправлен в Бухарест, в главную сигуранцу.

Мы с Кирьяковым очутились в купе третьего класса. Напротив нас, небрежно закинув ногу за ногу, расселись знакомые сыщики, которым мы давали по десятке. На лицах их было особое выражение. Они как бы говорили: «Вот видишь, «последние» стали «первыми». Ты думал от нас десяткой отделаться, а теперь вот и тысячей не отделаешься!»

Мимо нас проплывали кукурузные поля, леса, небольшие станции. Мы вытащили из корзинки курицу и яйца, которые дала нам на дорогу добрейшая мадам Кодрян, сыщиков послали за бутылкой вина, и устроили завтрак. От крепкого бессарабского вина сыщики осовели и через час заснули, блаженно захрапев в углах вагона. Мы с Кирьяковым посмеялись и пошли в вагон-ресторан пить кофе. Там нас и отыскивали часа через два проснувшиеся сыщики. Радость их была неопишима. Они, вероятно, думали, что мы сбежали. Но бежать было некуда и незачем, и мы мирно продолжали свой путь до Бухареста, делясь папиросами и пищей со своими спутниками.

СИГУРАНЦА

В восемь утра наш поезд остановился на Бухарестском вокзале, а к девяти часам сыщики привели меня в сыскное. Толстый, упитанный начальник сигуранцы, прочитав сопроводительные бумаги, кивком головы отпустил сыщиков (Кирияков остался в коридоре), ухмыльнулся чему-то себе под нос и задал мне один-единственный вопрос:

— Деньги есть?

— Есть, — ответил я.

— Сколько?

В кармане у меня лежало пятьдесят тысяч лей. Это было все, что я заработал от концертов. Он взял деньги, внимательно сосчитал их, взял мои часы, портсигар, еще какие-то мелочи из карманов. Потом велел снять воротничок и галстук, как с бандита, спрятал все это в шкафчик и дал мне номер 63.

— Вы арестованы пока здесь, при сигуранце, впредь до особого распоряжения! — сказал он.

На мои попытки выяснить, за что я арестован, он отвечал:

— Это не наше дело.

Меня отвели в подвал, где сидело несколько воров. Это была большая комната, уставленная до половины «партами». Здесь читали лекции сыщикам, учили их всей премудрости ремесла.

Воры — поляки, бессарабцы — говорили по-русски, к тому же были еще моими поклонниками. По вечерам они просили меня петь. Петь свои песни мне не хотелось, и я обычно пел какую-нибудь русскую народную песню вроде «То не ветер ветку клонит», «Ермак» или, чтобы попасть им прямо в сердце, — «Александровский централ». Я знаю и люблю русские песни — звонкие и печальные, протяжные и залиvistые, пронизывающие все существо сладчайшей болью и нежностью, острой, пронзительной тоской, наполняющие до краев сердце любовью к далекой родной земле. Словно светлые невидимые нити тянутся к душе. Словно где-то вверху в тюремной камере открыли окно. И оттуда рвется на волю загнанная, брошенная душа... И омывается от грязи житейской, очищается светлыми слезами, слезами муки, жалости и прощения.

Славно пели воры. Пели не спеша, пропевая и протягивая каждое слово. Пели любовно и бережно. Осторожно

подходили к ноте, к фразе, точно у них в сердце она давно уже была обдуманна, пережита, перепета и обласкана.

Чудесная, великая сила — русская песня! Она отражает мужество, терпеливость, гордость народа, его глубочайшую мудрость, чистоту, любовь к Родине! С ней и работа легче, и горе тише, и смерть не страшна!

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Однажды утром дверь нашей камеры-школы открылась, и к нам вошел сравнительно молодой еще человек, который при ближайшем знакомстве оказался знаменитым международным воров Вацеком. Наш новый «товарищ» оказался милейшим парнем, веселым и добрым. Он был с полицией и сигуранцей, что называется, на «ты», был очень богат. И хотя денег у него, как у всякого арестованного, не могло быть, тем не менее ему сторожа приносили все, что он заказывал. У него, как у всякого «большого вора», был собственный адвокат, и, вероятно, он и оплачивал все его счета. У нас сразу появились вино и еда в неограниченном количестве и даже сигареты. Как настоящий джентльмен, Вацек широко угощал своих младших коллег, честно делия между ними все, что присылалось ему. Перепадало и мне от барской руки. Ко мне он сразу почувствовал симпатию, и мы начали подолгу разговаривать на разные темы.

Воры буквально благоговели перед ним. Это был настоящий «премьер» — красивый, воспитанный, умный, а главное — удачливый в своей профессии. Мелочами он не занимался — «работал» только с банками. Приехав в город, где его никто не знал, он приходил с «помощником» в самый большой банк в деловое время. В его руках был большой портфель. Быстро оглядев зал и учтя положение, он спокойно и решительно подходил к тому окошку, где получал крупную сумму денег, к примеру, артельщик, становился рядом с ним и раскрывал свой портфель, ища в нем какие-то бумаги. Когда артельщик пересчитывал деньги, помощник Вацека, проходя мимо, незаметно ронял на пол пачку денег, вежливо трогал его за плечо и любезно говорил:

— Простите, вы, кажется, уронили деньги?

Артельщик оглядывался и, нагнувшись, подымал пачку, благодаря за любезность. Этого момента Вацеку было достаточно, чтобы перебросить в свой уже открытый порт-

фель несколько крупных пачек его денег. После этого в тот же день он исчезал из города. Комбинация была чистая и смелая. На этот раз он тоже не попался, но во время обыска сигуранцы у него нашли двести тысяч лей.

Теперь их интересовало, откуда у него эти деньги.

— Я могу хоть сегодня уйти отсюда, — со смехом говорил Вацек. — Они не могут доказать ничего. Потому что я «достал» их даже не в Румынии. Мой адвокат докажет им, что в течение этого месяца в Румынии не было ни одного ограбления банка. Они просят пятьдесят тысяч, чтобы отпустить меня. А я и копейки не дам этой сволочи. — И он заразительно захохотал.

— Подержат еще пару дней и выпустят. Ничего со мной они сделать не могут!

По ночам я пел ему «блатные» песни — «Клавиши», «Централ» и другие. Он слушал меня часами и вздыхал.

Мы сдружились.

— Если я тебе смогу быть полезным, когда выйду отсюда, — сказал Вацек, — ты скажи, что тебе надо, я помогу с удовольствием.

Я поблагодарил его. Мне ничего не было нужно.

Через две недели утром меня вызвали наверх.

— Вы свободны, — сказал мне толстый начальник. — Можете ехать или оставаться в Бухаресте. Можете быть всюду, кроме Бессарабии.

Я кивнул головой.

— Вот ваши вещи!

Передо мной лежал галстук, портсигар, гребешок, но денег не было.

— А деньги? — спросил я.

Лицо начальника выразило максимум изумления.

— Деньги? Какие деньги?

— Пятьдесят тысяч лей!

Начальник строго взглянул мне в глаза.

— Итак, вы утверждаете, — откашлявшись, медленно проговорил он, — что у вас было пятьдесят тысяч лей? Так я вас понял?

Я кивнул.

— Стало быть, эти деньги у вас пропали?

— Да.

— А-а... — задумчиво протянул он. — В таком случае, мне придется задержать вас еще на некоторое время, пока мы произведем расследование.

Я понял.

— Извиняюсь, господин начальник, я совсем забыл. Я оставил их дома на комодке.

— Так будет лучше, — сказал он.

Я улыбнулся и вышел.

МЫТАРСТВА

Выйдя из сигуранцы, я стал соображать — что же делать дальше. Деньги у меня отобрали. Петь мне было негде. В Бессарабию ехать нельзя, а в Бухаресте очень мало русских. На целый концерт их бы не хватило, да и разрешили ли бы мне этот концерт? Пошарив в кармане, я наскреб двадцать лей. На эти деньги я сбрил бороду и усы и вместе с Кирьяковым остановился в номере маленького отеля.

Через несколько дней Кирьяков нашел мне место. Он «продал» меня в «шантан» одному греку. Шантан был третьесортный, довольно грязный. В главном зале публика смотрела программу, а рядом был ресторан с ложами. Программа состояла из бесконечного числа румынских девиц, танцевавших один и тот же танец, вроде «казачка», но в разных костюмах и под разную музыку. Кроме них, был куплетист, дрессированные собаки. Пел я какую-то ерунду с веселыми припевами, старые цыганские романсы, вроде «Нет, не хочу», «Ямщик, гони-ка к Яру» и т. д. Пел под оркестр. Посетителям нравилось. Они подпевали и раскачивались в такт песне. Хозяин был доволен и «положил» мне пятьсот лей в месяц. Этой суммы было вполне достаточно, чтобы не голодать и оплачивать отель. А дальше? Что делать дальше? Надо было пробраться в Польшу. Мы с Кирьяковым не сомневались, что мое имя там делает сборы. Но как доехать? Где взять денег? Одни билеты и визы туда, даже третьим классом, стоили около двадцати тысяч лей. Горизонтов у нас никаких не было. Оставалось ждать чуда.

В Бухаресте был русский консул, точнее, бывший консул, Поклевский-Козелл. Румыны позволили ему жить в здании посольства и даже приглашали его на некоторые полуофициальные приемы. Вокруг него группировалась как раз та часть русской публики, которую я не любил и которая не любила меня за мои «слишком левые взгляды» и суждения о Советской России. Эту группу составляли бывшие русские гвардейские офицеры, бессараб-

ские помещики черносотенного толка, «великосветские» дамы — бывшие фрейлины и жены генералов. Напрасно было бы искать там какого-нибудь сочувствия или поддержки. К тому же я считался не «эмигрантом», а греческим подданным, которому надлежало искать защиты у «своего» консула. Но греческого консульства в Бухаресте не было. Да я и не очень-то стремился попадаться на глаза «своим» консулам. Они могли отобрать у меня паспорт. Я молчал, как таракан, забившись в грязную щель второклассного отеля.

* * *

Из грязноватого театра, в который меня «устроил» Кирьяков, я перешел в самый фешенебельный в городе ночной кабак «Альказар», где выступали только иностранные артисты. Я уже получал полторы тысячи в месяц, но все равно уехать на эти деньги было невозможно. На многое я насмотрелся и многому научился в этом шантане. Прежде всего этот кабак, как и последующие, был для меня хорошей школой. До этого я был избалованный актер, «любимец публики», который у себя на Родине мог капризничать сколько угодно — мог петь или не петь по своему желанию, мог повернуться и уйти со сцены, если публика слушала недостаточно внимательно, мог менять антрепренеров, театры и города, заламывать любые гонорары и т. д. Все это сносилось очень терпеливо окружающими, которые, затаив дыхание, следили за робкими шагами моего творчества.

Наши актерские капризы и фокусы на Родине терпелись с ласковой улыбкой. Актер считался высшим существом, которому многое прощалось и многое позволялось, и все это объяснялось «странностями таланта», «широтой натуры».

От всего этого пришлось отвыкнуть на чужбине. Кабаки были страшны именно тем, что, независимо от того, слушают тебя или не слушают, ты должен петь. Публика может вести себя, как ей угодно. Петь и пить, есть, разговаривать, шуметь и даже кричать — артист обязан исполнять свою роль, в которой он здесь выступает. «Гость» — святыня, «гость» — всегда прав: он платит деньги.

Но возьмем лучшее. Представим, что публика ведет себя скромно, не кричит, не разговаривает, не мешает артисту выступать. Все же иметь успех в кабаке гораздо труднее, чем в театре. В театр приходят слушать, а в кабак — ку-

шать, пить, танцевать. И любой посетитель, если вы будете к нему в претензии за невнимание, может вам ответить:

— Я пришел сюда из-за бифштекса или сельянки, а не из-за вас, мой милый! И я не виноват, что вы тут поете и мешаете мне переваривать пищу! Я в кабаке, а не в театре!

И он прав. По-своему, как говорится, «по-каторжному», но прав.

И я пел. Пел при стуке ножей и вилок, хлопанье пробок, криках, шуме, визге, хохоте, ругани и даже драках. Пел точно и твердо, не ища «настроений», не дрожа и не расстраиваясь. Как механик или инженер, работающий под обстрелом. Я не искал успеха и не думал о нем — я пел для «мастерства», для практики. Оттачивая и уточняя детали, обдумывая каждую мелочь, спокойно, холодно и расчетливо. Совершенно не считаясь с выгодой.

Я имел успех и не имел успеха. Это зависело от публики и ее настроений. Конечно, мое имя много помогало мне и заставляло людей затихать при моем появлении. Но не всегда. Некоторые иностранцы, особенно англичане, меня терпеть не могли.

В кафе «Капша» на Кала-Виктория, лучшем кафе города, собирались «сливки» эмиграции. Там «хагашо когмят», — сказал мне еще раз князь Мурузи, попавший из Константинополя в Бухарест, отчасти по закону инерции, а отчасти из-за своей неутолимой любви к еде. Русская аристократия любила покушать. Румынско-французское меню «Капша» было переполнено русскими блюдами, которым «научили» дирекцию русские посетители. «Бессмертными» фамилиями Строгановых, Гурьевых и других гастрономических русских светил уже пестрели все карточки ресторана.

Сидя в уютном кабинете ресторана, тоскующие эмигранты начинали свои «гастрономические скитания». Терпеливо, любовно, тщательно. Для начала к столу подавали замороженные бутылки «тройки» — русской заграничной водки. «Усевшись» в эти «тройки», путешественники «мчались» по необъятной Руси. Первой остановкой была Астрахань. Какую там подавали икру!.. А дальше, вдруг капризно меняя маршрут, поворачивали в Москву. Какая сельянка или уха ждала их, какие расстегаи! Потом посещали Украину или Кавказ, ели котлеты в Киеве, шашлык в Грузии, запивали все это милым сердцу кисловодским

нарзаном, которого было много в городе, или настоящим «напареули» и «цинандали», которое тоже импортировалось из Советской России. На сладкое ели петербургскую гурьевскую кашу. После кофе подавали крымский виноград и персики, а иногда бывала возможность раздавить бутылочку «абрашки», как интимно звалось в этом кругу «абрау-дюрсо», — знаменитое наше шампанское.

Да. Эту эмиграцию нельзя было обвинить в недостатке «патриотизма».

* * *

Однажды, закончив свой «номер», я сошел в зрительный зал. Был один из тех пустых вечеров, когда публика, точно сговорившись где-то предварительно, отсутствовала.

Несколько шансонеток лениво бродили между пустых столиков. Танцор Фарабони — худенький итальянский сutenер — ссорился с дежурной «женой» из-за плохо выглаженных шелковых сорочек. Музыканты делили вчерашнюю выручку, громко поминая худыми словами какого-то гостя, который заказывал оркестру много вещей, а мало дал.

В вестибюле скрипнула дверь. На пороге показался метрдотель. Он мигом дал понять всем, что идет «гость». Музыканты бросились к инструментам. Девицы начали пудриться, красить губы, лакеи — опрашивать скатерти.

Вошел высокий, очень элегантный мужчина в прекрасно сшитом темно-синем костюме с хорошим платком и галстуком. Пройдя по вестибюлю, он не спеша выбрал столик и сел недалеко от меня. Вынул золотой портсигар, закурил, стал что-то объяснять лакею. Мне бросились в глаза его руки. Бледные и узкие, с блестящими ногтями. И почему-то знакомые мне.

«Где я видел эти руки?» — мелькнуло у меня. Его лицо было в тени, и мне оставалось только рассматривать хорошо выстриженный затылок и блестящие черные волосы, приглаженные ровной волной до затылка, как у аргентинских «жиголо». Он заказал мадеру и... неожиданно обернулся.

— Вацек! — радостно вскрикнул я.

Это был он, мой приятель по неволе, товарищ по несчастью.

— Хелло! — Он уже шел мне навстречу, протянув руки. — Что ты здесь делаешь, в этой труппе? Поешь? Зачем?

И кому? Этой сволочи? — закидывал он меня вопросами. — Но они ж тебя не понимают!..

Он смеялся и говорил, перебивая меня, как всегда напористый, насмешливый и уверенный в себе. Лакеи извивались перед ним, как ужи перед укротителем. Это был «настоящий» гость. Через полчаса музыканты окружили его столик, наигрывая ему одесские блатные мелодии. Знаменитый Григораш — первый скрипач Румынии — играл ему прямо «под ножку», в карман, в бумажник, туда, где лежали толстой новенькой пачкой банковские, прессованные, не распечатанные еще тысячи в кокетливой зеленой ленточке-бандероли. И он швырял им деньги.

Вацек был после удачного «дела». Это я сразу понял. Через десять минут внизу у оркестра был накрыт стол человек на сорок. За стол сели все артисты, музыканты и девицы, которые были в кабаре.

— Накорми и напои их! — коротко приказал он метрдотелю.

Мы остались ужинать вдвоем за его столиком.

— Как же ты отвязался от них? — спросил я, вспоминая сигуранцу.

— Через два дня после твоего ухода. Они выпустили меня за десять косых... И то я дал им из жалости. Мог и ничего не давать. А ты? Что же ты намерен дальше делать? — спросил он.

Я объяснил ему ситуацию.

— Денег нет. Билеты стоят дорого. Вот пою пока здесь, а что будет дальше — не знаю.

— Ничего, уладим, — сказал он, дружески похлопывая меня по плечу. — Сколько тебе нужно, чтобы уехать в Польшу? Я не хочу, чтобы ты служил в этом воровском притоне. Такой артист, как ты, не должен петь этим паразитам. Уезжай немедленно!

Вацек вынул пачку ассигнаций.

— Здесь — тридцать тысяч. Хватит?..

Этих денег хватало с избытком. Я поблагодарил его горячо и искренне.

— Вацек, — сказал я, — мы еще встретимся в этом мире. Дай бог, чтобы тебе везло всю жизнь. Но если когда-нибудь, в какой-нибудь стране тебе будет плохо, разыщи меня, если я там буду. Я выручу тебя, чего бы мне это ни стоило.

Он улыбнулся и махнул рукой.

— Ерунда! Мелочи! Что такое для меня деньги? Я не люблю их. Они мешают работать. С ними только гуляешь, вместо того чтобы заниматься делом серьезно, — пошутил он.

На другой день мы с Кирьяковым уже сидели в поезде, на долго покидая Румынию.

ПОЛЬША

К этой стране у меня всегда была какая-то нежность. Может быть, потому, что в моих жилах, несомненно, течет некоторая доза польской крови. Людей с моей фамилией в России я не встречал, зато в Польше она попадалась мне более или менее часто. Правда, там она произносится несколько иначе. Поляки говорят: «пан Вертыньский» или «пан Верцинский». Но это уже вопрос произношения. Какой-нибудь прадед у меня, наверное, был поляком. Потом мы, русские, вообще любим поляков. Мы любили Адама Мицкевича, Шопена, Венявского, Генриха Сенкевича, Пшибышевского. В большом фаворе у нас были польские артисты Дыгас, Орда, Кавецкая, Невяровская, Щавинский...

И вот в 1923 году я приехал в радушную и гостеприимную страну.

Сразу тепло принятый и публикой, и прессой, я пришел в себя, вздохнул полной грудью в родственной нам славянской стране, которая имела так много общего с моей Родиной.

Я объехал с концертами почти всю Польшу: Варшаву, Лодзь, Краков, Познань, десятки маленьких городков, все так называемые «крессы». И везде встречал самое горячее, самое восторженное отношение к себе и своему искусству.

Принимали меня прекрасно. А после того как я написал свою знаменитую «Пани Ирену», меня окончательно признали, и я надолго и крепко утвердился в сердцах гордых поляков и очаровательных полек.

Влияние России как старшей славянской сестры всегда было огромным. Какие бы счеты у поляков ни были с царской Россией — все равно в глубине души они ее любили и считались с ней. Я помню, как одна польская дама сказала мне:

— Вот видите — у меня на пальце кольцо. Это медальон с портретом Костюшко. Я ношу его всю жизнь. Я

польская патриотка, понимаете? И все-таки, когда я слышу русскую речь, русскую поэзию, русскую музыку, русское пение — я готова плакать от восторга.

Лучшие польские актеры, такие как Юноша Стемповский, Аптон Фертнер, Цвиклинская, Валтер, Майдрович, Смосарская, Щавинский, пришли ко мне за кулисы с дружеским приветом и горячими пожеланиями. Польские литераторы приняли меня в свое общество, и часто в старой Земьянской Кавярне, где собирались они ежедневно, я читал им Блока, Ахматову.

Единственная оппозиция, которую я встретил в Польше, шла от русских. В «савинковской» газете «За свободу» Дмитрий Философов, даже не посетив ни одного моего концерта, обругал меня худым словом. Но русская и польская молодежь, работавшая в этой же газете, горячо заступилась за меня. Началась полемика. Молодежь напирала. Через месяц Философов, вынужденный сдаться, недоуменно спрашивал: «В чем же дело, господа?.. Когда большевики посадили в тюрьму патриарха Тихона — все молчали. А когда я осмелился тронуть Вертинского — так подняли такой шум, будто я оскорбил их в самых лучших чувствах!..»

Так оно и было. Потому что я был с «ними». С теми, «кому больно», «кому тяжело», кто любит Родину и тоскует по ней.

Один из моих критиков писал: «Публика всегда умна — а Вертинский всегда с публикой, поэтому вместе с ней умен и Вертинский». Это верно. Я чутьем отгадывал самое главное, то, что у нее на уме, ее затаенные мысли, ее желания, верования. И когда меня ругали за упаднические настроения, то вина была не во мне, а в эпохе. С этих настроений и началось мое творчество. Меня корили ими очень долго разные мелкие и крупные журналисты еще тогда, в предреволюционной Москве, и ругали меня до тех пор, пока не пришел однажды «большой человек» — Влас Дорошевич и не написал черным по белому в большой газете того времени — «Русском слове»: «Те упреки, которые бросают Вертинскому, относятся не к нему, а к его слушателям. Вертинский — только зеркало своей эпохи. И нечего пенять на зеркало, коли рожа крива!»

С этого дня меня перестали травить.

Итак, моя «оппозиция» в Польше проиграла. А поляки вообще недоумевали, за что меня ругает русская газета, если я такой единственный русский артист и к тому же

их соотечественник. Приходилось долго объяснять, что такое эсеры савинковского лагеря, их отношение к СССР вообще и ко мне, подчеркивающему свои чувства к Союзу, в частности.

Но эта капля яда не отравила моего прекрасного душевного состояния. За несколько лет у меня образовался довольно большой круг друзей и почитателей. Через мою артистическую уборную прошли тысячи людей разных профессий, всех слоев общества. Бывали у меня адвокаты и народные учителя, профессора и рабочие, офицеры и ксендзы, чиновники и купцы.

Мой успех в Польше не был успехом у эмиграции — эмиграция там как раз была очень малочисленна, — это был успех у коренного населения, которое почти все, за исключением очень зеленой молодежи, понимало по-русски.

Здесь мне хочется сделать маленькое отступление. Уже в самом начале своего артистического зарубежного пути я заметил, что в сложившейся ситуации артист, тем более артист с именем, представляющий собой такую большую и такую интересную для всех страну, как Россия, должен быть не только узким профессионалом, а чем-то большим. Невозможно передать все разнообразие вопросов, на которые приходилось мне отвечать разным людям во время моих скитаний по миру. Я уже не мог оставаться только артистом — вынужден был стать дипломатом, осторожным, тактичным, спокойным и уверенным, серьезным и непоколебимым, защищающим честь и престиж своей Родины.

О чем только меня не спрашивали! Каких только вопросов мне не задавали! И на все я должен был отвечать. Терпеливо выслушивать абсурднейшие мнения, глупейшие убеждения. Грязная ложь об СССР, которой кормили за границу эмигрантские газеты, конечно, делала свое дело, и приходилось часто чуть ли не надрывать свой голос, чтобы доказать какому-нибудь иностранцу, что в СССР, к примеру, не едят... детей.

Приходилось бороться, пробивая стену тупости и кренинизма, воздвигнутую в ушах иностранцев злобной реакционной прессой. Но были среди иностранцев и люди, знавшие и любившие нашу литературу, искусство. Было много сочувствовавших усилиям, жертвам, которые приносила моя Родина, выковывая в огне революции новых людей и новую Россию.

Как-то, потеряв терпение в спорах с эмигрантами, я в одной из своих песен сказал:

**И еще понять
беззлобно,
Что свою, пусть
злую, Мать
Все же как-то
неудобно
Вечно в обществе
ругать.**

Какую бурю возмущения вызвала эта песня! Какой грязью обливали меня газеты!

* * *

Поляки очень любили и высоко ценили русское искусство. В польских театрах шли русские пьесы, в журналах и газетах сплошь и рядом печатались переводы русских авторов, в книжных магазинах было сколько угодно произведений русских поэтов и писателей на польском языке. А когда в Варшавской филармонии был объявлен «конкурс Шопена», то первый приз, да, кажется, и второй взяли пианисты, приехавшие из Советской России. Полякам это было обидно, потому что Шопен — их национальная гордость, и, казалось бы, кому же, как не им, исполнять его.

Помню, директор филармонии Млынарский говорил мне в фойе во время концерта:

— Мне делается страшно, когда я подумаю, какие возможности таятся в вас, русских... Ведь вот я столько раз слышал Шопена, но такого Шопена я еще никогда не слышал.

А победители — скромные, худые юноши — застенчиво кланялись и словно спешили скорей отвязаться от оваций, которыми их награждала публика, считая, что так и надо, и ничего, мол, тут особенного нет.

В Варшаве было много военных. Их разнообразная блестящая форма — шпоры, палаши, эполеты — напоминала времена старого Петербурга, гвардейских полков, баков и кутежей. Вообще, Польша того времени еще жила по-старинному. Мужчины стрелялись на дуэлях из-за женщин, в театрах балеринам и премьершам подавали на сцену корзины цветов в рост человека или коробки конфет величиной с ломберный стол. Богатые помещики жили за границей три четверти года и проигрывали в Монте-

Карло целые состояния. Газеты издавали на парижский лад, и было их множество.

Депутаты в сейме горячились, кричали и стрелялись порой из-за разницы во взглядах. Польские женщины, томные и нежные, влюбчивые и коварные, кружили головы и молодым, и старым, и нередко можно было слышать, а то и читать в газетах, о том, как какой-нибудь родовитый польский магнат женился в шестьдесят лет на восемнадцатилетней балерине или хористке из «Ревю».

Русская эмиграция была представлена слабо. Не знаю, по каким причинам, вероятно, потому, что все стремились «к центрам» и в Польше не задерживались, а может быть, и потому, что получить право на проживание в Польше было необычайно трудно. Во всяком случае, никаких «видных фигур» там не было. Помню председателя комитета старика Семенова, который любил покушать и поиграть в бридж, и еще две-три малозначительные фигуры, фамилий которых я, увы, не удержал в памяти.

Газета «За свободу», которую издавал Дмитрий Философов, влачила жалкое существование и, если бы не субсидия правительства, давно бы скончалась. В кафе у «Люрса» — внизу, в бильярдной, — писатель Арцыбашев ежедневно играл с желающими по несколько партий и давал большие «форы». Был он уже стар и почти глух. Приходилось кричать ему в самое ухо.

Встретив меня по приезде, он сказал:

— Читал, что ты теперь замечательно поешь. Приду, приду тебя посмотреть. — Слова «послушать» он так и не сказал.

Как-то после концерта мне довелось познакомиться с одним видным человеком. Это был Андрей Вержбицкий — депутат сейма и председатель Союза промышленников Польши. Он очень много помог мне. Все трудности, которые чинили власти иностранным артистам, когда дело касалось получения визы на въезд и права работы, мне были значительно облегчены благодаря его вмешательству. Вержбицкий был искренним любителем русского искусства. На Россию он смотрел как на старшую сестру Польши и считал, что у нее надо многому учиться. Он первый поднял вопрос об отправке торгово-промышленной делегации в СССР и сам стал во главе ее. Вернувшись из поездки, горячо ратовал за сближение обеих стран. Это обстоятельство еще более закре-

пило мои симпатии к нему. Я встречался с ним, вел переписку, и наша дружба все более крепла. Однажды у него в доме за ужином я познакомился с советским послом в Польше — Петром Лазаревичем Войковым. Было очень немного приглашенных, и после ужина Петр Лазаревич попросил меня спеть. Я с удовольствием согласился. Тут же вызвали моего пианиста и устроили небольшой концерт. Пел я охотно. Мне было приятно спеть своему, русскому человеку — оттуда, с Родины. Так приятно, как будто я пел «дома», для своих русских, на своей земле.

Когда я кончил петь, он подошел ко мне.

— Почему, Вертинский, вы не возвращаетесь на Родину?

Кое-как, довольно жалко, беспомощно, страшно волнуясь, я начал что-то сбивчиво и путано объяснять ему. Объяснять, собственно говоря, было нечего. И без слов все было ясно.

И Войков понял меня.

— Приходите ко мне — поговорим обо всем и сделаем все, что можно, — сказал он.

У меня сразу стало легче на душе. Заполнив соответствующие анкеты, я обратился с просьбой разрешить мне вернуться на Родину. К моему прошению была приложена вполне благожелательная для меня личная резолюция посла, но в то время в просьбе моей отказали.

Пишу я это для того, чтобы объяснить, как давно осознал я свою ошибку и как давно стремился ее исправить.

* * *

Путешествуя из города в город, я встречался с самыми разнообразными кругами польского общества — от самых левых до самых правых, монархических. Нейтральная маска актера позволяла мне входить в любые двери. Меня не спрашивали о моих убеждениях и не таились от меня. Благодаря этому я насмотрелся в жизни на многое и думал, что меня уже давно не удивляют и не возмущают самые дикие, самые абсурдные взгляды и убеждения — до такой степени глаз и ухо ко всему привыкли. И только тогда, когда Родина моя героическими усилиями своих сынов отбивалась от бешеного натиска разъяренных полчищ гитлеровцев, я вдруг «потерял нерв» равнодушия и спокойствия. Я не в силах был слушать людей так называе-

мых «белых» убеждений! Как могут, как смеют они думать о чем-нибудь другом, кроме победы нашей Родины, которая обливается кровью?..

«Чудовище, плюю на тебя!» — хотелось крикнуть мне такому человеку и бежать от него прочь, как от прокаженного, как от Иуды.

Но, возвращаясь назад, я хочу сказать, что тогда меня эти люди скорей удивляли и отчасти забавляли. В особенности монархисты. Все растерявшие, ничего не сохранившие, кроме чванства, снобизма и пустых традиций, никогда не борющиеся за свое положение, не сумевшие его защищать, они были похожи на людей, которые появились в обществе в полных парадных мундирах, со всеми регалиями, но... без штанов.

* * *

Однажды в Варшаве русская дама — жена какого-то дипломата, — встретившись со мной в одном доме, шутя сказала:

— Вы мне стоите массу денег!..

— Почему? — заинтересовался я.

Решив обзавестись моими пластинками, она зашла в музыкальный магазин и купила все, что там было из моего репертуара. Через полчаса она встретилась с мужем где-то в кафе, и тот сказал, что им обоим надо ехать в Бельведер к маршалу Пилсудскому на пятичасовой прием. Не имея возможности оставить где-нибудь свою покупку, дама взяла ее с собой. Приехали они во дворец очень рано. Маршал беседовал с ее мужем и обратил внимание на покупку.

— Что это вы покупали у нас, в Варшаве? — спросил он.

Дама объяснила, и маршал заинтересовался. Принесли виктролу и стали проигрывать мои пластинки. Маршалу так понравились песни, что он попросил дать ему этот комплект на несколько дней.

— Чтобы сделать ему приятное, я решила подарить их, — рассказывала дама. — Он был очень смущен таким подарком, но искренне обрадовался и заводил одну пластинку за другой.

«Какой изумительный ваш русский язык! — сказал он. — Для песни нет лучшего языка. И для выражения самых тончайших чувств и переживаний тоже». — Мне пришлось купить весь ваш комплект второй раз...

А через несколько дней полковник Венява-Длугошевский, личный адъютант маршала, большой друг богемы, говорил мне в Земянской Кавярне:

— Вы у нас во дворце в большой моде. Я целый день слышу ваш голос. Маршал «играет» вас, как только у него есть свободная минута.

СНОВА В ДОРОГУ

Сначала польское правительство очень гостеприимно принимало заграничных актеров. Приезжал Баттистини, хор «Сикстинской капеллы», Морис Шевалье, даже негритянская оперетта. Приезжали скрипачи, пианисты, певцы — одно имя чередовалось с другим. Я лично приезжал в Польшу раза три-четыре, более или менее легко получая визу и «право работы» на два-три месяца. Но постепенно доставать разрешение становилось все труднее и труднее. Официальным мотивом отказа было то, что иностранные артисты «вывозят деньги» за границу. Но настоящие причины были иные. Главная — это «Союз артистов польских», который был против, — он не хотел конкуренции — ни моральной, ни материальной.

— У нас много своих безработных актеров, которым есть нечего, — говорили заправилы союза, — а мы пускаем иностранцев.

Меня всегда удивляло это, как будто от того, что польская публика, лишенная возможности послушать Гофмана или Кубелика, бросится на помощь безработным артистам и отдаст им деньги, которые она собиралась истратить на знаменитостей. Это, конечно, был слабый довод. Немалую роль играла другая причина. Она касалась главным образом нас, русских артистов, особенно меня. Дело в том, что так называемые «крессы», то есть территория, принадлежавшая раньше России, была под большим влиянием русских. Часть населения вообще не говорила по-польски и жила своим, чисто русским укладом.

Вот тут-то и крылась настоящая причина.

— Мы полонизируем наше русское население, а вы, приезжая, его русифицируете, — сказал мне откровенно один большой польский сановник.

Со своей точки зрения он был прав. Я только напомнил ему о том, что, когда польские актеры приезжали к нам в

Россию, мы не боялись, что они «полонизируют» наше население.

Сановник рассмеялся.

— Вы сравниваете Россию с Польшей. России вообще нечего и некого бояться! — И с чисто польской любезностью рассыпался в комплиментах мне и моему искусству. Однако визы не дал.

В конце моего пребывания в Польше меня вызвали в министерство иностранных дел, где приходилось брать разрешения. Министр, с которым я был знаком еще по Москве, мой «поклонник», в очень деликатной форме дал мне понять, что «по не зависящим от него обстоятельствам» он вынужден просить меня на две недели уехать из Польши.

— Вы можете прожить эти две недели где-нибудь поблизости, в Данциге, например, а потом приезжайте и пойте сколько вашей душе угодно.

Я был поражен этой странной просьбой и просил объяснить мне причину.

— Я не могу дать вам никаких объяснений! — уклончиво сказал он.

И никто в городе не мог мне этого объяснить.

Ничего больше не оставалось, как собрать чемоданы и уехать в Данциг, что я и сделал.

Потом все разъяснилось. В Варшаве ждали визита румынского короля. До его приезда из Бухареста прибыл целый штат тайной полиции, чтобы подготовить охрану. Приехавшие сыщики затребовали у полиции списки всех иностранцев, пребывающих в данное время в Польше. Прочтя мое имя, они, очевидно, указали на меня как на «неблагонадежный элемент». И, вероятно, попросили меня на время убрать. Таким образом, рука сигуранцы еще раз дотянулась до меня.

* * *

В последний раз я уже не мог добиться визы с правом выступлений и поэтому, подписав в Германии контракт с польским граммофонным обществом «Сирена» на напев моих песен для пластинок, я взял визу в Вену через Польшу. Моя транзитная польская виза была действительна только на три дня. За эти дни я успел напеть свои песни, повидаться с друзьями, посмотреть Варшаву и ровно через семьдесят два часа уехать в Вену. Но там я пробыл недолго — подался в Париж.

Ф Р А Н Ц И Я

— Моя Франция — это один Париж, но зато один Париж — это вся Франция! — так могу сказать я, проживший в этой прекрасной стране почти десять лет.

Я любил ее искренне, и, кроме чувства благодарности к ней, у меня ничего не было в сердце.

Париж! Этот изумительный город покорял всех. Его нельзя было не любить, нельзя забыть или предпочесть ему другой. Объездив все города Европы, побывав в Америке и других частях света, я нигде не мог найти равного ему, найти слова, хотя бы отдаленно выражающие неизгладимое впечатление, которое оставил в моей душе его величественный образ. И при этом он был ко мне радушен и гостеприимен, как ни один город в мире. Это был город, где человеческая личность и ее свобода чтилась и уважалась. Ибо за нее когда-то боролись, ее добывали в огне революции, за нее заплатили дорогой ценой.

Свобода была у французов в крови. Она для них естественная и необходимая атмосфера, и только тот, кто долго жил во Франции, может себе представить, какое огромное национальное горе постигло эту чудесную солнечную страну, когда ее топтали сапоги фашистов.

Во Франции вы, будучи пришельцем, чужеземцем, могли жить без всякой опаски. Ваш покой, покой вашего очага, дома, семьи уважался и охранялся.

Обессиленная продолжительной войной, Франция нуждалась в мужском труде — война унесла многих ее сынов в могилу. Мужские руки ценились. Десятки тысяч русских эмигрантов работали на заводах Рено, Ситроена, Пежо и других. Много людей «село на землю» и занималось сельским хозяйством — и собственным, если были средства, и чужим, если приходилось наниматься. наших «русачей», способных, трудолюбивых, выносливых, принимали охотно на любые работы. Чем только не были мы во Франции! И инженерами, и шоферами, и гарсонами, и танцорами, и управляющими делами, и банкирами, и «жиголо», и законодателями мод!

Манташевские лошади брали «гран-при» на скачках. Туалеты наших буржуазных дам описывались в газетах, так же как и их приемы. Наши артистические силы блистали на парижском горизонте, как звезды первой величины.

В театре «Шан-з-Элизе» пел «сам» Шаляпин, в «Гранд Опера» танцевал изумительный Сергей Лифарь, в зале «Плейель» играл божественный Рахманинов. А балет «Монте-Карло» с Леонидом Мясиным, Рябушинской, Барановой и Тумановой буквально заворожил Париж, как и весь мир. «Летучая мышь» Балиева, путешествуя то по Англии, то по Америке, каждый сезон пленяла парижан своими блестящими постановками. Мы были тогда «анвог» — в моде. Перед нами в Париже были открыты все двери и все сердца. Правда, Париж познакомился с нами не только по эмиграции. Нас знали и раньше. Русские любили Францию давно. Париж знал и принимал нас.

Старые французы, вспоминая бывшие знакомства с нашими предками, нередко с нежной грустью называли то одно, то другое забытое имя, спеша заверить вас, что это был настоящий «бояр рюсс». Вам оставалось только представить себе, что выкидывал этот «бояр» в свое время в Париже.

Правда, тихие старички рантье, держатели наших военных займов и бумаг, много потерявшие от революции, ворчали себе под нос:

— Когда же, собственно, нам заплатят?

Но их всегда можно было успокоить. Для этого только нужно было назначить точную дату. Старички вздыхали и высчитывали — успеют они умереть до этого времени, чтобы не разочароваться, или нет? И тихо отходили в сторону.

Эмигрантское «нашествие» во Францию в те годы не отразилось на ней. Всего во Франции нас, русских, было тысяч двести — триста, в Париже — тысяч восемьдесят. Но мы как-то не мозолили глаза. В этом колоссальном городе мы растворялись, как капли в море.

А М Е Р И К А Н Ц Ы Р А З В Л Е К А Ю Т С Я

После утомительной и долгой войны, потребовавшей напряжения всех сил страны, люди устали. У всех было только одно желание — покоя, отдыха, комфорта! Война была забыта моментально, как дурной сон. Как будто никогда не было битвы на Марне, Вердена, Лувена, разрушенных городов, миллионов убитых.

Правда, любопытные американские туристы ездили иногда осматривать от скуки поля битв, где сотни тысяч рабочих выкапывали медь, свинец и железо из земли,

вспаханной германскими снарядами. Да еще раз в год, в День перемирия, по Елисейским полям проходила страшная процессия калек, людей, отдавших родине свои силы, здоровье и даже свой человеческий облик.

Вереницы безногих, безруких, слепых, в детских колясочках или гуськом, держась друг за друга, волоклись по улицам вечного города — поклониться праху Неизвестного солдата, спавшего вечным сном под Триумфальной аркой. Страшно кривились трагические маски их изуродованных лиц, точно вопия к небу. А впереди всех шла организация «Лягель кассе» — в грубом переводе «Разбитых морд»... Никакая фантазия художников, пожалуй, не могла бы придумать более страшных масок, которые остались от когда-то мирных и спокойных человеческих лиц. И огромные толпы народа, стоявшие по обеим сторонам широких парижских авеню, в ужасе отворачивались от этих призраков войны.

Раз в год в пользу этих несчастных устраивали бал в «Гранд Опера». Парижские дамы появлялись на нем в таких умопомрачительных туалетах, что в газетах не хватало места для описания хотя бы самых главных из них. Это были настоящие дуэли между женщинами. Состязания в роскоши, красоте, богатстве, эlegantности, и не только между носительницами платьев, мехов и бриллиантов, «доводящих ум до восторга», но и между их ювелирами, меховщиками, салонами мод — всеми этими Вортами, Пакэнами, Пату, Молинэ, проявлявшими чудеса вкуса и выдумки в линиях и фасонах платьев. Между Ван-Клифами, Фаберже и другими, придумывавшими для дам фасоны браслетов, серег и клипсов. Между куаферами, парфюмерами, сапожниками, целой армией художников, закройщиков, парикмахеров, мастеров, работавших на женщин дни и ночи на многочисленных фабриках женской красоты. Миллионы, сотни миллионов стоили их платья, драгоценности и автомобили, в которых они появлялись на балу, чтобы «помочь этим несчастным».

Сбор с этой «выставки богатства» был меньшим, чем стоил любой камень на любой из ее посетительниц. Но... «приличия» были соблюдены, и «тени прошлого ужаса» снова отодвигались в небытие, предавались забвению.

Париж веселился. Париж кипел, бурлил, жил полной жизнью мировой столицы. Из-за океана огромные белые пароходы привозили во Францию сотни тысяч американцев, «до отказа» набитых деньгами, которые они заработа-

ли на войне, в эпоху своего «просперити», за их доллар давали целых двадцать пять франков. Они платили весело, не торгуясь, тратили широко и непринужденно, совершенно не зная, куда девать сказочные капиталы, покупали все, что обращало их внимание в этой стране, в этом городе роскоши. Доходили до того, что, заметив какой-нибудь понравившийся им замок в провинции, какое-нибудь старинное «шато» XVII или XVIII века, покупали его и целиком, до последнего камня и дерева, перевозили на пароходах к себе в Америку. Элегантные лимузины летели, как пчелы, сплошными роями по асфальту парижских улиц, гигантские вывески сверкали миллионами огней, огромные кафе, переполненные публикой, расположились на широких тротуарах...

Князь Феликс Юсупов, высокий, худой, стройный, с иконописным лицом византийского письма, открыл свой салон мод. Салон назывался «Ирфе» — по начальным буквам «Ир» — Ирина (жена) и «Фе» (Феликс). Салон имел успех. Богатые американки, падкие на титулы и сенсации, платили сумасшедшие деньги за его модели, — не столько потому, что они были так уж хороши, сколько за право познакомиться с человеком, убившим Распутина.

Жена князя — бледная, очень молчаливая и замкнутая, с красивым и строгим лицом — принимала покупательниц. Она никогда не улыбалась, редко показывалась где-нибудь. Сам же Юсупов очень любил общество и особенно людей от искусства. В его доме я встречал и Куприна, и Бунина, и Алданова, и Тэффи, и художников, и артистов. Наше знакомство началось с моих концертов и моих песен, которые Юсупов очень приятно пел, аккомпанируя сам себе на рояле или гитаре. Когда в Париже появились мои пластинки, он покупал их комплектами, даря своим друзьям и знакомым. Вернувшись из Румынии, я показал ему «В степи Молдаванской». Песня произвела на него большое впечатление.

Как-то мы сидели в его кабачке «Мэзонетт русс», который он открыл для своих друзей, чтобы поддержать их материально, и пили вино.

— И вы видели Россию своими глазами, так близко? — спрашивал он.

Я рассказал ему о Днестре, о церковном звоне, о людях на том берегу...

Он разволновался.

— Мы потеряли Родину, — грустно говорил он, — а она есть. Живет без нас, как жила и до нас. Шумят реки, зеленеют леса, цветут поля, и страшно, что для нас она уже недостижима, что мы для нее уже мертвецы — тени прошлого! Какие-то забытые имена, полустертые буквы на могильных памятниках. А ведь мы еще живы! Но не смеем даже взглянуть ей в лицо!.. Вам страшно было смотреть на нее?

Я объяснил все, что чувствовал тогда.

— Я часто вижу Россию во сне, — сказал он, задумавшись. — И вы знаете, милый... если бы было можно тихо и незаметно, в простом крестьянском платье, пробраться туда и жить где-нибудь в деревне, никому не известным, обыкновенным жителем... какое бы это было счастье! Какая радость!

Оркестр заиграл что-то очень громкое, и мы переменили разговор.

Русская эмиграция жила главным образом за счет иностранцев. Как, впрочем, и весь Париж.

Разменяв доллары, иностранцы получали за них кучи франков, и поэтому все им казалось дешево. Отвыкшие у себя на родине от алкоголя, американцы быстро напивались, счета оплачивали не глядя, а иногда и по два раза один и тот же счет, «на чай» давали щедро, и за ними «охотились», как за настоящей дичью. Их передавали из рук в руки. Используя «гостя» в своем ресторане, метрдотель посылал его со «своим» шефом в другой, предварительно условившись по телефону, сколько он будет за это иметь процентов со счета. Их заманивали, переманивали при помощи женщин, перепродавали, просто грабили...

На Пигале, в «Каво Коказьен», смуглый и стройный Руфат Халилов танцевал лезгинку с кинжалами во рту. Каждую крупную ассигнацию, которые летели на пол, он прокалывал кинжалом. Легко плыл в танце, чуть раскачиваясь, то бешено вскрикивая, то замирая на месте, он, стоя на пуантах, вдруг прыгал, как тигр, и, подлетев к столу, где сидели женщины пошικарнее и побогаче, втыкал неожиданно кинжал между бокалами и бутылками вина. Француженки и англичанки взвизгивали от ужаса и сразу влюблялись в Халилова. Уходя, они совали ему в руки тысячи франков и назначали свидания.

В каждой кабачке был свой танцор лезгинки. Но, конечно, не такой, как Халилов. Он действительно танцевал

изумительно. Какая-то американка возила его даже в Америку, откуда он, впрочем, скоро вернулся, не сделав карьеры.

Вдоль стен по уголкам сидели так называемые «консоматорши» — женщины, с которыми можно было потанцевать, если гость пришел без дамы, и пригласить к столу. Тут был другой подход к гостю. Надо было «делать счет» побольше. Большинство из них разыгрывали из себя «дам общества», «ограбленных революцией», аристократок — княгинь, графинь, баронесс, все потерявших в России, — женщин, которые были так богаты, что их уже ничем удивить нельзя. Они принимали деньги и чеки от американцев небрежно и полупрезрительно, безжалостно «выставляя» их. Заставляли делать «счета» хозяину, давать музыкантам, лакеям, танцорам — до тех пор, пока у гостя не кончались деньги и пока в чековой книжке оставался хоть один листок. Мифические кавказские князья, служившие «танцорами», рассказывали старухам из Нью-Йорка о своих сказочных владениях на Кавказе и, увлекая «темпераментом» и внешностью, как по нотам «разыгрывали» их. Жили они очень неплохо. Одевались у лучших портных, имели «гарсоньеры», шикарные машины и брали крупно — большими чеками сразу. В свободное время широко кутили с молодыми французскими мидинетками и сорили деньгами. Женились на богатых американках, разводились, ссорились, но жили одной семьей, держась друг за друга.

Когда в Париже появилась картина «Путевка в жизнь», они ходили в кино по нескольку раз и, возвращаясь, пели:

**Там вдали за рекою
Сладко пел соловей.
А вот я на чужбине
И далек от людей.**

Пели тихо, усевшись в кружок, и на глазах у них часто можно было видеть слезы. Почти у каждого из них на Родине оставались близкие, которые жили там, работали, выдвигались иногда на очень большие посты, и бедняги с гордостью рассказывали о своих братьях и сородичах.

В «Казанове» — маленьком, но очень дорогом «буате», приютившемся у подножия монмартрского кладбища, был «венецианский» стиль. Стены были заставлены хрупким венецианским стеклом, светящимися аквариумами, столы тоже светились. Тут «подавали» бывшие гвардейские офи-

церы, затянутые в голубые казакины с золотыми галунами. Зарабатывали они бешено. Меньше пятисот—тысячи франков им «на чай» не оставляли. Это были люди из «общества», и дать меньше считалось неприличным. Почти все они приезжали «на работу» на собственных машинах, в частной жизни одевались, как лорды.

В «Казанове», где я пел, тоже бывали «сливки» Парижа. И не только Парижа — всего мира. Часто бывали вечера, когда за столами сидели такие персоны, как Густав Шведский, Альфонс Испанский, Принц Уэльский, Король Румынский, Вандербильдты, Ротшильды, Морганы. Приезжали и фильмовые знаменитости — Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс, Мэри Пикфорд, Марлен Дитрих, Грета Гарбо — в синих очках, чтобы ее не узнали..

Место было самое дорогое и самое «шикарное». Там играли лучшие оркестры мира, выступали лучшие артисты.

Была еще «Шахерезада» — голубая «коробочка» в восточном стиле, где бывала та же публика. Я пел в этих местах, и мне пришлось познакомиться с королями, магараджами, великими князьями, банкирами, миллионерами, ведеттами. И все они знакомились со мной только потому, что их интересовала русская песня, русская музыка. Много разговоров вел я с этими людьми, объясняя им, как строится моя необъятная Родина, как перековывают ее новые, совсем особенные люди — люди будущего, как мало похожи они на людей Запада, как далеки их идеалы от идеалов людей Европы.

К О Н Т Р А С Т Ы Б О Л Ъ Ш О Г О Г О Р О Д А

Бензиновый газ от сотен тысяч машин душным сиреневым облаком висел над Парижем. Поблескивали на солнце металлические радиаторы элегантных лимузинов, сверкали лакированные части. Как шум морского прибоя, день и ночь шелестели шины по асфальту широких авеню. В машинах сидели нежные, избалованные женщины, пахнущие острыми и томными духами. Из окон выглядывали холеные собаки каких-то особенных, экзотических пород.

Над Булонским лесом вставали и потухали зори, и был он весною нежный, светло-серый, с бледно-розовыми оттенками — точно нарисованный пастелью. До двенадцати дня в ресторанах на Порт Дофин, в саду нарядные дамы пили разноцветные аперитивы, флиртовали, сплетничали, обсуждали новые фасоны платьев, встречались со своими

«жиголо». По широким утрамбованным аллеям скакали длинные кавалькады женщин и мужчин в самых экстравагантных спортивных костюмах. По дорожкам гуляли те, у кого не было машин, и любовались карнавалом, выставкой роскоши и богатства.

Раз в неделю на улице Акаций, в определенном месте, собирались частные машины. Каждый, у кого был собственный автомобиль, мог стать в очередь за головной машиной. Когда набиралось двадцать машин, они уезжали за город. Отъехав километров сто или двести, вереница останавливалась где-нибудь в лесу, и начиналась оргия.

И все это были богатые люди, незнакомые между собой, искавшие острых, грубых наслаждений. На миг сближавшиеся в холодном, рассудочном разврате и потом расходившиеся навсегда.

Целые кварталы, такие как Бульвар Себастополь, знаменитая улица Шебане и другие были заполнены «домами свиданий», где за разные цены, от десяти до тысячи франков, показывались всевозможные извращения и уродства, от которых волосы шевелились на голове. Их посещали любопытные туристы, которым хотелось узнать Париж до самых глубин.

«Жить, жить, жить!» — кричали газеты, журналы, магазины, выставки... Жить во что бы то ни стало. Ни в чем себе не отказывать. А за Рейном, всего в нескольких стах километров от Парижа, в тиши и глубокой тайне, побежденные, но не разбитые немецкие генералы, стиснув зубы, уже оттачивали новый меч — меч реванша.

На улице Муфтар, в подвале на задворках, среди мусорных ям и развалин, помещался кабак, особенно посещаемый туристами, желавшими узнать «дно» Парижа. Их приводили туда «кукины дети» — гиды «Кук» — агентства для туристов. Там собирались апаши, воры, проститутки. Хозяйкой была старая, седая, бывшая светская «львица», опустившаяся до самого «дна», с манерами хозяйки публичного дома и хриплым голосом. Там танцевали под гармошку «жава», пили, хохотали, пели. Полуголые, растрепанные женщины извивались в непристойных телодвижениях, танцуя с сутенерами и ворами. Тусклые керосиновые лампы освещали грязные потолки, столы и грубые скамьи. Внезапно в разгаре веселья начинался скандал; бутылки, стаканы, столы — все летело в воздух; в руках у апашей сверкали ножи. Кто-то разбивал



А. ЧАЙКОВСКИЙ (Канада). Прибой.

бутылкой лампу. Наступала темнота, из которой неслись стоны и крики.

— Убили! Убили женщину!.. Полиция! Полиция!

Резкий свисток оглашал воздух. Испуганных англичан и американцев выводили тайком через задние дворы. Они были в восторге и ужасе. Они видели настоящее «дно». Когда они уходили — зажигался свет, и все эти «апаши», «воры» и «убийцы» спокойно разгримировывались и шли к «львице» — тоже разгримировавшейся — получать свой гонорар. Это были актеры из маленьких театров, а сама «львица» — актриса из «Одеона».

Так жил и веселился Париж. Но на окраинах, на заводах, шахтах и фабриках рабочие поднимали голос, требуя защиты труда и социальных реформ. Газета «Юманите» — орган коммунистов — угрожающе увеличивала свой тираж. Время от времени раздражался блестящей речью на выборах Марсель Кашен, громил буржуазию Торез. На демонстрациях пели «Марсельезу».

На окраинах люди не «жили», а существовали каким-то непонятным образом. По дороге в Нейи или Венсен тянулись целые кварталы жалких лачуг, сколоченных из ящичков, кусков ржавой жести, соломы, с дырками окон, заткнутых тряпками, оклеенных от холода старыми афишами и газетами. На веревках сушилось тряпье. Полуголые дети копались в мусорных кучах.

Дорогие лимузины равнодушно пронеслись мимо; сидевшие в них брезгливо морщились и недоумевали: как это можно было допустить в Париже, в самом центре столицы, «деревни нищих»?

В киосках на бульварах можно было купить советские газеты, «Правду» или «Известия». Шрифт был мелкий, убористый, деловой. Никаких сенсаций — люди строят, хлопчут, работа кипит. Пишут только о самом важном, деловом, необходимом. А развернешь парижскую газету — сенсация за сенсацией.

«Президент вылетел из окна вагона!», «Виолетт Нозьер отравила отца, чтобы получить страховую премию», «Семнадцатилетняя убийца содержала своего любовника», «Миллионер — спичечный король Ивар Крегер — бросился с аэроплана», «Какой-то русский — Иван Горгулов — пустил пулю в президента республики Поля Думера».

Дальше шли описания этого убийства, допросы свидетелей...

- Почему вы это сделали?
- Месть большевикам. Чтобы обратить внимание!..
- На что? На кого? Бред какой-то!

ТРУДНЫЕ ГОДЫ

«Берегите складку на брюках русской эмиграции!» — вещал, издеваясь, Аминадо. И — берегли. Тянулись из последнего. Покупали на распродажах женам расшикарные платья, обзаводились смокингами, засовывали гвоздички в петлички.

Писалось о России много. «Последние новости» и «Возрождение» ежедневно закатывали всякие «сенсации» о расстрелах, голоде, бунтах в армии...

Неутомимый Милюков — сухой и властный — крепко держал в руках «бразды правления» либеральной эмиграции. Он читал лекции о каких-то «сдвигах», «термидоре» и «неизбежном поправении» большевиков, обещая скорое возвращение домой...

Тонко и нудно жужжала «песья муха» — Кускова, рассказывая по «письмам очевидцев» и рижским сообщениям о недовольстве советской молодежи, о падении роста комсомола. Делала подсчеты, выводы, заклинала.

Но лекции не посещались. От Кусковой отмахивались. Керенскому не верили — не могли простить ему костюм сестры милосердия, в котором он бежал. Милюкова называли «сумасшедшим шарманщиком». И серьезно уговаривали меня, что эту песню я написал о нем. Ходили только на «вечеринки землячества» и на панихиды. И опять тот же Аминадо писал:

**Живем, бредем и медленно седеем...
Плетемся переулками Пасси.
И скоро совершенно обалдеем
От способов «спасения» Руси!..**

Шли годы, годы «изгнания», хотя, собственно говоря, нас никто не изгонял, а «изгонялись» мы сами. Шум великого вечного города на время как бы оглушил нас и, оглушив, успокоил. Так успокаивает страдающего бессонницей таблетка веронала. Шум в ушах, безразличие, забвение, сон. Но вот утром встаешь и чувствуешь, что не отдохнул, что это только суррогат отдыха, а настоящего сна, покоя нет. Чем дольше жили мы в эмиграции, тем яснее становилось каждому из нас, что никакой жизни вне Родины построить нельзя и быть ее не может. Особен-

но остро чувствовали свою оторванность поэты и писатели. Дмитрий Мережковский, маленький, легкий, высохший, как мумия, целиком ушел в мистику.

**Бедность. Чужбина.
Немощь и старость.**

**Четверо, четверо, все вы
со мной... —**

писал он незадолго до смерти, уже приготовившийся к ней.

**Скоро скажу я
с улыбкой сыновней:
Здравствуй, родимая смерть!**

Зинаида Гиппиус писала злые статьи. Криво улыбаясь, она язвительно «разоблачала» современное искусство. Молодежь она не понимала и не любила. Иван Бунин почти ничего не писал. Нобелевская премия, присужденная ему, поддержала на некоторое время его дух. Он съездил в турне по Европе, побывал на Балканах, в Прибалтике, на всех путях русского расселения. Эта премия вызвала большие толки.

Куприн вначале пробовал было писать рассказы, черпая материалы и сюжеты из окружающей среды. Но кого мог интересовать французский быт? Жить ему становилось все труднее. Зарботки в газетах были невелики, пришлось открыть переплетную мастерскую. Но дела в ней шли плохо, к тому же писатель стал плохо видеть и в конце концов почти ослеп. Его дочь Ксения, красивая, способная девушка, снималась немного во французском кино, помогая родным, мечтала о возвращении на Родину.

Когда Куприн уехал в СССР, поднялась целая буря. Одни ругали его, бесцеремонно называя предателем «белого дела». Другие, более сдержанные, лицемерно «жалели», ссылаясь в виде оправдания на его болезнь и «преклонный возраст». Третьи, товарищи по перу, говорили о нем, как о «дорогом покойнике», «не заплатившем по векселю».

Алексей Толстой поступил умно и благородно, вернувшись на Родину полным сил, в самом расцвете своего огромного таланта. И его голос, ясный и убедительный, загремел издали, из страны, в которую многим уже не было возврата, — окрепшим, молодым, сильным.

Иногда в Париж приезжали писатели из Советского Союза. Я помню в начале эмиграции приезд Владимира Маяковского, с которым в свое время в Москве мы были друзьями. Я мельком видел его несколько раз в «Ротонде» на Монпарнасе. Приезжали Всеволод Иванов, только что выпустивший в свет свои «Голубые пески», Лев Никулин, Борис Лавренев, рассказ которого «Сорок первый» в то время наделал много шума в эмиграции и особенно в ее литературных кругах. Проезжали мимо Ильф и Петров.

Все они сторонились нас, эмигрантов, и войти в общение с ними так и не удалось. Все же некоторые из них, с кем я начинал свою карьеру в Москве, разыскали меня, навестили и немного рассказали о жизни и стройке, которая шла на Родине. Их рассказы согрели мое сердце и заставили его биться еще сильнее от тоски по ней.

Редкие встречи с советскими писателями только подчеркивали нашу отчужденность. Мы уже потеряли общий язык с ними и плохо понимали друг друга, точно это были люди с другой планеты. От них веяло новой силой, новой энергией, которой у нас не было и не могло быть. Они посмеивались над нашим «гнилым Западом», который действительно оказался гнилым, и только сейчас мы в полной мере можем оценить это точное его определение, высказанное много лет назад.

«Эрмитаж» на Комартене был рестораном, где рано или поздно встречались все. Очень дорогой и шикарный, он был открыт исключительно для иностранцев, которых интересовало все русское. Конечно, «Эрмитаж» был русским «постольку поскольку», вернее таким, каким себе представляли «русское» иностранцы. Вроде тех «русских» фильмов, которые фабрикуются в Голливуде, с великими князьями в главных ролях, с «роковыми» женщинами, какими-нибудь «принцесс Сония» или «Тания» с «кавьяр рюсс» — русской зернистой икрой — и прочей развесистой клюквой.

«Князья» у нас были собственного завода; их было человек восемь, они служили танцорами — «жиголо» и на меньший титул не соглашались. Только один — самый маленький и захудалый, поступивший в «Эрмитаж» по протекции «хорошего гостя», согласился быть бароном. «Принцессы» сидели на красных бархатных диванах в

ожидании «клиентов». Балалайки заливались в руках у веселых парней, разодетых в малиновые, зеленые и желтые рубашки с золотыми позументами. Кроме балалаечников, было еще два оркестра — «джаз» и «танго».

Однажды я привез туда из маленького кабачка «Джокей» на Монпарнасе маленькую красивую француженку, которая пела там за двадцать пять франков в день. Мне понравился ее голосок и манера пения, и я уговорил хозяина «Эрмитажа» Рыжикова взять ее к нам. К сожалению, она не понравилась ему, и он скоро ей отказал. А через три года он сам платил ей двадцать тысяч за один гала-вечер в пользу каких-то благотворительных дел, которые устраивала Кьяп — жена префекта Парижа. Это была знаменитая впоследствии Люсьен Буайе.

Пел Юрий Морфесси — все еще жизнерадостный, хотя и поседевший. Пела одно время Тамара Грузинская, приезжавшая из СССР, пела Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел «забитым» мужем такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной нам показалась его загадочная роль в таинственном исчезновении генералов Кутепова и Миллера. Это было и потому еще странно, что и с семьей Кутепова и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала.

Среди танцоров «Эрмитажа», среди всех наших князей «на честное слово» был один настоящий князь — Николай Карагеоргиевич, двоюродный или троюродный брат сербского короля Александра. Он был красивый и неглупый молодой человек, уже скатившийся с верхних ступеней жизненной лестницы. Он получил образование в России, сербов не знал и Родиной своей считал Россию. Эта любовь к моей Родине и сблизила нас. Он был беспутный, но очень добрый и благородный юноша, которого страсть к наркотикам довела до положения «жиголо». Иногда Николая «спасала» на время какая-нибудь женщина, полюбившая его. Он бросал морфий, но через полгода-год срывался снова, и все продолжалось по-старому. С ним бывали невероятные случаи. Два или три раза он был женат на миллионершах. В Сербии несколько раз готовили заговоры, чтобы посадить его на престол, назначались дни его отъезда туда, все было готово, чтобы

начать «революцию». Но он неизменно «просыпал» эти моменты где-нибудь в кабаке — его не могли отыскать, и «революция» откладывалась до отрезвления короля, которое приходило иногда очень нескоро. Однажды зимой его подняли мертвым на улице и отвезли в морг. Служащие «Эрмитажа» собрали деньги на венки, и утром прочли в газете о часе и месте первой панихиды.

Вечером во время моего выступления открылась дверь, и «покойник», как ни в чем не бывало, вошел в зал. Я подавился словом песни и чуть не упал от испуга. Оркестр побросал инструменты. Оказалось, что его положили в морг — холодным и без признаков жизни. Ночью он пришел в себя.

— Просыпаюсь, — рассказывал он, — в каком-то месте и не могу понять — где я? На мне белая простыня, вокруг лежат какие-то люди и тоже спят. Я сел. Захотелось закурить. Папиросы нашел в кармане, а спичек нет. Я слез со своего «ложа», подошел к соседу, дернул за простыню.

— Дайте, говорю, спичку, пожалуйста. Молчание. Я — к другому. Сел на цинковый стол и вдруг понял, что я в морге. Бросился к окну. Смотрю — открыто. Прыгнул в сад — и бегом! А навстречу журналисты, фотографы: «Не знаете, где тут князь Карагеоргиевич лежит?»

— А вот, говорю, в том флигеле, направо. — И убежал.

Мы чуть с ума не сошли от его рассказа. Умер он все-таки по-настоящему года через два в Ницце от того же морфия.

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Артистическая богема была представлена в Париже очень ярко. Делилась она на профессионалов и любителей. В число профессионалов входили артисты оперы, балета и концертной эстрады, кроме того, была драматическая труппа, составленная из артистов МХТа, попавших за границу, известная под названием «Пражской труппы». Эта труппа одно время работала в Чехословакии, Болгарии и Сербии и субсидировалась даже чехословацким правительством. Затем труппа эта распалась. Часть артистов вернулась в СССР, часть разъехалась по другим странам.

В Париже эта труппа давала время от времени спектакли, которые охотно посещались публикой. Благодаря этим спектаклям мы смогли познакомиться с новейшими

пьесами советских драматургов, о которых мы даже не имели представления. Мы видели «Чужого ребенка» Шкваркина и от души хохотали; видели «Дни Турбиных» Булгакова — пьесу, которая заставила задуматься над своим положением многих отвоевавших и уже никому не нужных людей. Видели «Квадратуру круга» Катаева, «Враги» Лавренева, «Заговор императрицы» Толстого и Щеголева и много других пьес. Для молодежи театр ставил Островского, и вообще он вел полезную работу среди эмиграции.

Опера была ярко представлена рядом больших спектаклей, то в большом театре «Шан-з-Элизе» с участием Федора Ивановича Шаляпина, то в других театрах. Несколько лет подряд большая оперная труппа под руководством Церетели гастролировала по всей Европе, пожиная заслуженные лавры и потрясая сердца испанцев, французов, англичан красотой нашей русской музыки. Благодаря этому иностранцы смогли лучше воспринять Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина, Чайковского, которые до этого звучали для них совершенно иначе в исполнении иностранных певцов.

Огромное место в артистической жизни Парижа занимал балет. Вначале существовало несколько балетных группировок. Потом ярко определилась лидирующая труппа, известная под названием «Балета Монте-Карло». Эта труппа в течение нескольких лет субсидировалась муниципальными властями Монте-Карло. В составе ее были такие силы, как Леонид Мясин, Жорж Баланчин, Войцеховский, Немчинова, Маргарита Фроман, сперва долго выступавшая в Королевском театре в Белграде, и ряд очень сильных молодых танцовщиков и балерин, подготовленных уже в эмиграции такими педагогами, как Кшесинская, Николаева, Легат. Кшесинская создала изумительную Татьяну Рябушинскую, легкую, эфемерную. «Танцующий дух», как ее называла публика, «Вторую Тальони», как ее называла пресса. У Легата училась обаятельная Баронова, необыкновенно женственная и нежная Туманова. Появился очень яркий и характерный танцовщик Давид Лишин — гибкий и стройный, с лицом и прыжками юного фавна, талантливый Борис Князев и другие.

Кроме того, совершенно отдельно гастролировали, часто со своими собственными труппами, такие звезды, как Анна Павлова, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Вера Коралли, Александр и Клотильда Сахаровы. Их спектакли по-

коряжи Европу. Я посещал их все. Хорошо помню премьеру «Балета Монте-Карло» в Париже, где мое место случайно оказалось рядом с Кшесинской и князем Гавриилом Константиновичем — ее мужем. Спектакль был подлинным праздником искусства, большой художественной радостью. Начиная от декораций и костюмов, написанных Пикассо, до музыки Равеля, Стравинского и Прокофьева, — все было необычайно. Когда на сцене появилась с Мясиным юная Рябушинская в классической пачке с розовым венчиком на голове, точно сошедшая со старого медальона великая Тальони — легкая, бестелесная, неземная, — у меня захватило дыхание. От первых же ее движений зрители замерли. Она танцевала «Голубой Дунай». Когда она закончила и зал задрожал от аплодисментов, я обернулся; Кшесинская плакала, закрыв рот платком. Ее плечи содрогались. Я взял ее за руку.

— Что с вами?

— Ах, милый Вертинский... Ведь это же моя юность танцует! Моя жизнь. Мои ушедшие годы! Все, что я умела и чего не смогла, я вложила в эту девочку. Всю себя. Понимаете? У меня больше ничего не осталось.

В антракте за кулисами она сидела в кресле и гладила свою ученицу по голове. А Таня Рябушинская, присев на полу, целовала ей руки.

Многое могла бы рассказать эта женщина из своего необыкновенного прошлого. Но по вполне понятным причинам никто и никогда о нем не спрашивал, не смея касаться еще не заживших ран.

— Вы правы, милый! — как-то сказала она на одном из моих концертов. — «Надо жить — не надо вспоминать»!

И крепко сжала мне руку.

* * *

С Анной Павловой я встретился в «Эрмитаже». После своего спектакля в том же театре «Шан-з-Элизе» она приехала со своим менеджером ужинать.

— Я приеду к вам в «Эрмитаж», дорогой, — сказала она за кулисами, — чтобы удовлетворить мой духовный голод — послушать вас — и мой физический тоже, потому что я голодна: я ничего не ем в день спектакля.

Спектакль оставил у меня грустное впечатление. Правда, народу было множество и принимали ее восторженно, но аплодировали уже явно за прошлое. Павлова была не та. Как ни больно, как ни грустно, но все мы, смертные

люди — актеры, имеем свои сроки. Наши таланты, столь яркие порой, с годами гаснут, увядают, отцветают, как цветы. В этом большая трагедия актера. Правда, одно всегда остается с актером до конца его карьеры — это его мастерство. Но разве может мастерство, то есть рассудочность, техника, школа, заменить ушедший темперамент, вдохновение, взлет, восторг, интуицию?!

Актер — это вообще счастливое сочетание тех или иных данных и способностей. Актер — это аккорд. И если хоть одна нота в этом аккорде не звучит — аккорда нет и не может быть. Стало быть, нет и актера. Если бы у Шаляпина, например, был бы толстый живот и короткие ноги, он никогда не достиг бы той вершины славы, которая у него была. Актер должен быть по возможности совершенен. Во всяком случае, он должен обладать максимумом сценических данных. Когда актер стареет, у него стареет большей частью тело. Душа же часто остается такой же юной и горячей, как в дни его расцвета.

Из божественного аккорда сценических сочетаний великой Анны Павловой выпало несколько очень незаметных нот. Прежде всего — внешность. Она постарела, как бы усохла, ее фигура потеряла воздушность, «надземность». Это была уже скорее аскетическая фигура монахини, чем танцовщицы. Ее усталое, переработавшееся тело актрисы потеряло свою эластичность, свою невесомость и только привычно отзывалось на все посылы его обладательницы. Она как бы показывала, как нужно танцевать, но не танцевала. Кроме того, окруженная танцовщицами и танцовщиками, случайно подобранными на месте, не срепетированными и чужими, она очень проигрывала от своего ансамбля.

Я смотрел на сцену и вдруг вспомнил о полуувядшей камелии, которая плыла мимо меня по течению Сены, окруженная мусором, щепками. Это было однажды вечером, когда я стоял на набережной и любовался закатом. Было какое-то трагическое сходство между артисткой и этим цветком.

Мы ужинали втроем и сперва говорили о модных танцах.

— Это увлечение собственной походкой, — сказала Павлова. — Я совершенно не понимаю их. И не умею их танцевать, — улыбаясь, добавила она. — А вы умеете? — неожиданно задала она вопрос.

Я умел и предложил ей потанцевать со мной. Мы выбрали танго и сошли на паркет. Она держалась прямо, по-балетному, и старательно повторяла мои движения. Внезапно я рассмеялся.

— Чего вы смеетесь? — улыбаясь, спросила она.

— Мне странно, что я учу Анну Павлову танцевать.

Она рассмеялась.

— Не правда ли, странно?..

Мы сели за стол и продолжали разговор. Говорили об Англии. Павлова рассказывала о своем доме в Лондоне, о своем парке, о пруде, о лебедях в нем, о газоне, который стригут два раза в неделю.

— Я мерзну в этой холодной и чужой стране, — тихо сказала она. — Все, не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой или Петроградом.

— Вы тоскуете по России? — тихо спросил я.

— Ужасно, мой друг, ужасно. До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния! Вот наслушалась вас, и опять — к своим англичанам. Вы меня надолго отравили вашими песнями. Но спасибо вам за них.

На другой день она уехала в Англию. Вскоре после этого пришло известие о ее смерти.

* * *

Однажды во время моих гастролей в Варшаве появились афиши Тамары Карсавиной. До этого я видел ее афиши в Берлине и в Вене, но она покидала эти города до моего приезда, и повидать ее я не успел. Немцы называли ее «Ди Карсавина». Так пишут имена только великих людей — имена, ставшие уже нарицательными.

В Варшаве на ее гастроли моментально были раскуплены все билеты. Приехала она с Петром Владимировым, знаменитым в свое время танцовщиком — партнером многих петербургских балетных звезд. И с ним, и с ней я был знаком еще по старому Петербургу, и наша встреча была особенно радостной.

Она была еще красива, но годы скитаний уже наложили следы на ее прекрасное лицо. Усталость чувствовалась в ее голосе и танцах. Я заметил это на первом же спектакле.

За кулисами, только что переодевшись в костюм «Умирающего лебедя», она встретила меня бурно и радостно:

— Ну, наконец, хоть одно родное лицо. Я так рада, милый, что вы здесь. Надоели мне чужие лица. Ни одного человека с Родины!..

Она взяла меня за руки и, заглядывая в глаза, быстро заговорила:

— После спектакля вместе будем ужинать? Вы не уйдете? Пожалуйста. Вспомним Питер. А? Как жили! А теперь — ничего. Все потеряли... Ну идите, уже звонок...

* * *

В маленьком «Европейском» ресторане, устланном красными пушистыми коврами, мы сидели в углу за пальмами — я, она и Владимир — и говорили без умолку. О родных театрах, об актерах, о спектаклях, о живых и мертвых друзьях. Вереницы полузабытых лиц прошли у нас перед глазами.

Иногда она брала мою руку и держала ее, рассказывая о чем-нибудь нежном и дорогом для нас обоих, точно боясь, что я уйду, не дослушав ее рассказа.

Тихо потрескивали зажженные канделябры. Я нарочно выбрал такой «старомодный» и нешумный ресторан, чтобы никто не мешал нам разговаривать.

Где-то далеко, в конце зала, тихо звенели гавайские гитары.

Я тихонько напел ей стихи, на которые только что написал музыку:

Над розовым морем вставала луна...

Карсавина молчала. Слезы струились по ее лицу.

— Как вы думаете, Саша, вернемся мы когда-нибудь на Родину?

Получив уже два раза отказ на мои просьбы о возвращении, я не верил в него. Но мне не хотелось ее огорчать.

— Если заслужим! — серьезно сказал я.

— А как заслужить?

— Надо доказать Родине свою любовь к ней!

— Доказать? Чем?

— Надо думать только о ней! Вставать и засыпать с ее именем на устах. Понимаете? И стараться даже в этих условиях, у чужих людей, прославлять и возвеличивать ее имя!

Мы замолчали.

— Мне бы только в театр! — сказала она. — В наш театр!.. Хоть костюмершей. Хоть кассиршей.

— А мне бы хоть капельдинером, — попробовал пошутить Владимир.

Никто не улыбнулся.

Гасли свечи. Оркестр прятал инструменты. Рояль накрывали, как покойника, — чем-то черным.

Было невыразимо грустно... Я поцеловал ей руку, и мы расстались.

* * *

На парижском балетном горизонте самой яркой фигурой был, конечно, Сергей Лифарь. Богато одаренный сценической внешностью, талантливый, высококультурный, он сразу завоевал признание. Его балетные постановки в «Гранд Опера», где он был балетмейстером, всегда казались праздниками искусства. Он сгруппировал вокруг себя способную молодежь, учил ее, работая по шесть—восемь часов в день, и создал «французский балет». Работа Лифаря была высоко оценена правительством: он получил французское подданство и считался на государственной службе. Если не ошибаюсь, у него был даже орден Почетного легиона, как у Шаляпина. Его триумфальные гастроли по Европе часто субсидировались государством.

Меня познакомил с Лифарем Иван Мозжухин, и мы очень дружили, часто встречались. Сергей был начитан, образован, слыл пушкинианцем. Зарабатывая огромные деньги, он тратил их на покупку неопубликованных материалов о Пушкине, его писем, стихотворений, рисунков.

— Все это потом подарю Родине! — говорил он, показывая нам драгоценные рукописи.

Своим триумфом в других странах русский балет во многом обязан Дягилеву. Лифарь написал книгу «20 лет с Дягилевым», в которой шаг за шагом показал творческий путь этого интересного и смелого новатора. Книга была иллюстрирована рисунками лучших художников.

Лифарь любил искусство и бережно относился ко всему, что связано с ним. Как артист он был, пожалуй, ярче Фокина, даже ярче Нижинского. Его талант был, как пылающий факел. Каждое его выступление было чудо, горение. Унаследовав от матери цыганскую кровь, он унаследовал и цыганский темперамент. Этот темперамент, кстати, был причиной многих недоразумений в его жизни. Однажды на парадном спектакле в парижской «Гранд Опера» он отказался танцевать потому, что не поставили декорации, которые ему были нужны. На спектакле присутствовал президент республики, весь интерес был сосредоточен на выступлении Лифаря. Директор театра, торопясь начать спектакль, предложил танцевать в сукнах.

Лифарь категорически отказался. Тогда директор объявил об этом со сцены. Получился скандал. Лифарю грозила отставка. На другой день его вызвали к президенту.

— Почему вы отказались выступить? — спросил президент.

— Я слишком люблю и ценю свое искусство, чтобы унижать его такими халтурными выступлениями, на которые меня толкали.

— Но ваше выступление стояло в программе. На спектакле присутствовал весь дипломатический корпус. В какое положение вы поставили дирекцию?!

— Я готов понести за это любое наказание, — упрямо отвечал Лифарь и протянул президенту прошение об отставке.

— Что же вы намерены делать, если я приму ваше прошение? — спросил президент.

— Я буду работать шофером такси!

Президент улыбнулся. Прощение не было принято, а директору «Гранд Опера» объявили выговор.

Сергей Лифарь был прекрасным собеседником, любил общество друзей и товарищей. Он прекрасно играл на гитаре, знал старинные, уже забытые цыганские песни и мастерски пел их, держал в памяти особые староцыганские аккорды, которыми аккомпанировали когда-то Варе Паниной ее брата.

БОЛЬШОЙ АКТЕР

Незабываемые вечера проводили мы с Иваном Мозжухиным в обществе Лифаря. Иногда с нами объединялся Федор Иванович Шаляпин, и тогда наши дружеские беседы тянулись до утра — не было сил расстаться. Как пел и плясал по-цыгански Лифарь! Как рассказывал Шаляпин! Как смешил Иван Мозжухин, показывая немое кино и вспоминая всякие уморительные эпизоды!

Моя дружба с Иваном Мозжухиным началась еще в России. Мы познакомились с ним на кинофабрике Ханжонкова в Москве до войны. Кинематография была тогда в самом зачаточном состоянии, и актеры относились к ней презрительно, не считая кино искусством. Большие актеры не хотели играть в кино, а маленькие шли только из-за денег. Действительно, в те годы кино ничего не говорило ни уму, ни сердцу. В конце концов все сводилось к позированию перед аппаратом, причем главную роль играл

не талант актера, а его фотогеничность. Поэтому в кино попадали люди, ничего общего со сценой не имеющие.

Я был тогда никому не известным юношей, а Иван Мозжухин — актером Московского народного дома.

В Париж он приехал с труппой Ермольева из Ялты, где снимался во время гражданской войны, и сразу занял первое положение в фильмовом мире. В то время у французов кинематография была развита очень слабо, крупных артистических величин не было, вероятно, по тем же причинам бойкота кино артистами сцены. Мозжухин же был тогда, несомненно, лучшим актером кино. Ермольев работал с братьями Пате, и его знали в Париже. Поэтому, всю свою труппу, вывезенную из России, Ермольев влил в производство Пате. Русские актеры понравились. Французы сразу полюбили Мозжухина. За несколько лет он достиг необычайного успеха. Картины с участием Мозжухина делали полные сборы.

Наша встреча с ним в Париже была очень дружеской. Мы искренне обрадовались друг другу и уже не расставались все годы эмиграции.

Мозжухин питал ко мне особую слабость. Может быть, потому, что в годы нашей юности я нравился ему. Был я тогда футуристом — ходил по Кузнецкому с деревянной ложкой в петлице, с разрисованным лицом, «презирал» все старое, с необычайной легкостью проповедовал абсурдные теории, искренне считая себя новатором.

Благодаря Мозжухину я невольно втянулся в фильмовые круги Парижа. В свободное от концертов время снимался вместе с ним то в Париже, то в Ницце.

Тысячи людей прошли перед моими глазами. Однажды в Ницце во время съемки ко мне подошел невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и чалму (снималась картина «Тысяча и одна ночь»).

— Узнаете меня? — спросил он.

Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде и гриме я бы все равно его не узнал.

— Нет!

— Я — Шкуро. Генерал Шкуро.

В одну секунду в памяти всплыл Екатеринодар. Белые армии отступают к Крыму. Концерт, один из последних концертов на Родине. Он уже окончен. Я разгримировываюсь, сидя перед зеркалом. В дверях появляются два офицера в белых черкесках.

— Его превосходительство генерал Шкуро просит вас пожаловать к нему откушать после концерта!

Отказываться нельзя. Я прошу обождать. У подъезда штабная машина. Через пять минут вхожу в освещенный зал.

За большими накрытыми столами — офицеры. Трубачи играют встречу. Из-за стола поднимается невысокий человек с красным лицом и серыми глазами.

— Господа офицеры! Внимание! Александр Вертинский!

Меня сажают за стол генерала. Начинается разговор. О песнях, о «том, что я должен сказать», о красных, о белых...

Какая даль! Какое прошлое!..

Много крови пролил этот маленький человек. Понял ли он это хоть теперь? Как спится ему? Как можется?..

Я молчал. Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица. Но все же Шкуро почувствовал мое настроение и нахмурился.

— Надо уметь проигрывать тоже, — точно оправдываясь, протянул он, глядя куда-то в пространство.

Свисток режиссера прервал наш разговор. Я резко повернулся и пошел на «плато». Белым, мертвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти не видные при свете солнца. Смуглые рабы уже несли меня на носилках.

Шкуро тоже позвали. Он быстро шел к своей лошади, на ходу затягивая кушак. Всадники строились в ряды...

«Из премьеров — в статисты, — подумал я. — Из грозных генералов — в бутафорские солдатики кино. Воистину — «судьба играет человеком».

* * *

Теперь мне хочется вернуться назад, чтобы рассказать забавную историю. Это было в Москве в 1912—1913 году. Вскоре после смерти Л. Н. Толстого его сын Илья Львович задумал представить на экране кинематографа один из рассказов Льва Николаевича — «Чем люди живы». В рассказе, как известно, говорится об ангеле, изгнанном небом и попавшем в семью бедного сапожника. Илья Толстой ставил картину сам, и по его замыслу действие должно было происходить в Ясной Поляне. Средства нашлись, актеров пригласили, задержка была только за одной ролью — самого ангела. Оказалось, что эту роль никто не хотел играть, потому что ангел должен был по ходу картины

упасть в настоящий снег, к тому же совершенно голым. А зима была суровая. Стоял декабрь.

За обедом у Ханжонкова Илья Толстой предложил эту роль Мозжухину, но тот со смехом отказался.

— Во-первых, во мне нет ничего «ангельского», а во-вторых, — меня не устраивает получить воспаление легких, — ответил он.

Толстой предложил роль мне. Из молодчества и чтобы задеть Ивана, я согласился. Актеры смотрели на меня, как на сумасшедшего. Их шуткам не было конца, но я презрительно отмалчивался, изображая из себя героя.

Вечером мы уехали в Ясную Поляну. Утром на вокзале нас встретили сани-розвальни, на которых привезли и меховые шубы. В имении уже все было приготовлено для съемки, и мы, попив чаю с Софьей Андреевной, которую эта затея очень интересовала, отправились в поле, где должна была происходить съемка.

Я загримировался ангелом, надел парик с золотыми локонами и, раздевшись в маленькой карете догола, выпил полбутылки коньяку. Потом влез на крышу амбара и прыгнул оттуда в снег, спиной к аппарату. Прыгнув, я осмотрелся кругом (по роли!) и пошел по дороге вдаль.

Хорошо, что эту сцену снимали только один раз. Съемка заняла минут пять, но тело мое стало совершенно стеклянным от холода. Я окоченел. Меня положили в карету, укутали в шубы и вскачь повезли в деревню. В крестьянской избе оттирали снегом и отпаивали коньяком. Какая-то старуха лет семидесяти горько плакала надо мной, сокрушаясь и жалостливо причитая:

— И... бедненький... Как же ты так допился, сердешный?.. Кто же тебя ограбил, родименький? Догола раздели... Совести у людей нет!..

Ее не разубеждали.

Меня положили на полати, я выспался и к обеду, как ни в чем не бывало, сидел за столом с Софьей Андреевной, слушая ее рассказы о Льве Николаевиче.

— Как же вы решились на такую отчаянную роль? — с ужасом спрашивала она.

Утром я уехал. В Москве меня окружили журналисты, подробно расспрашивая о поездке. Я расписал ее, не жалея красок.

— Сколько же вы получили за эту роль? — спрашивали они.



А. ЧАЙКОВСКИЙ (Канада). Ущелье гор.

— Мало! Всего сто рублей. Дурак был! — деловито заключил я.

На другой день в газетах было напечатано подробное описание этого события. «Почему же так мало?» — спросили мы Вертинского. «Дурак был», — отвечал наш собеседник.

Мы не стали спорить с талантливым артистом и поспешили откланяться...»

Иван издевался надо мной после этой истории полгода.

* * *

Кино, быстро входившее в жизнь, интересовало всех. Актеры кино были более популярны, чем короли или президенты. Их узнавали всюду и все — от швейцаров и приказчиков магазинов до людей самого высокого общественного положения. Все двери открывались перед нами, все лица расплывались в улыбке при встречах. Знакомства заводились самые неожиданные. Утром на съемке мы познакомились, например, с профессором Эйнштейном, а вечером обедали с негритянской опереточной дивой Жозефиной Бекер или Дугласом Фербенксом.

Газетный магнат Херст звал нас к себе на яхту в Канны, восточный магараджа Омар Капуртала привозил нам на съемки коньяк, завтракал с нами, чтобы посмотреть, как мы играем какого-нибудь «Мишеля Строгова» или «Казанову».

Как-то на Кот д'Азюр в отеле «Негреско», где мы остановились с Мозжухиным, вечером в ресторане мы обратили внимание на скучавшего господина, который через своего приятеля выразил желание познакомиться с нами. Это был будущий румынский король Кароль, только что изгнанный своим отцом из Румынии за связь со знаменитой мадам Лупеску. Он жил за счет одного румынского банкира, субсидировавшего своего будущего монарха в ожидании предполагаемых благ. Кароль скучал и мечтал о возвращении в Румынию. Мы развлекали его в свободное время анекдотами, приглашали на свои интимные актерские «посиделки».

Иван любил королей. Особенно безработных. Из колоды европейской политической игры в то время было выброшено немало «фигур». Все эти «отыгранные короли», «королевы», «тузы» и «валеты» жили в Европе в ожидании, что народы «опомнятся» и позовут обратно своих «обожаемых монархов». Но народы молчали. Короли грусти-

ли и писали душераздирающие мемуары. Вскоре Кароль улетел в Румынию, где правительство Маниу посадило его на отцовский престол. Ненадолго, правда.

* * *

Карьера Ивана Мозжухина была поистине блестящей. Успех, популярность, которые выпали на его долю, редко достаются актерам. И все это он как-то не ценил. Я до сих пор не знаю, любил ли он свое искусство. Думаю, что нет. Во всяком случае, он тяготился съемками, и даже на премьеру его картин Мозжухина нельзя было уговорить пойти.

Живой, любознательный, необычайно общительный, веселый, остроумный, он покорял всех. Даже своих врагов, которых у него, как у каждого выдающегося артиста, было достаточно. Иван умел пятиминутным разговором «купить» человека, даже самого враждебного к нему. Он был щедр, очень гостеприимен, радушен и даже расточителен. Он как бы не замечал денег. Любил компанию, в частых кутежах платил за всех. Жил большей частью в отелях, и когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски, ножа или вилки, например, у него никогда не было. Сардины вытаскивали из коробки крючком для застегивания ботинок, а салат накладывался рожком от тех же ботинок. Вино и коньяк пили из стакана для полоскания зубов. Купить хоть одну тарелку, нож или вилку ему не приходило в голову. Он был неисправимой «богемой», и никакие мои советы и уговоры на него не действовали.

Иван буквально «сжигал» свою жизнь, точно предчувствуя ее кратковременность. Вино, женщины и друзья — это главное, что его интересовало. Потом книги. К остальному он был равнодушен. Он никого не любил. Может быть, только меня немного, и то очень по-своему. У нас было много общего в характере, и в то же время мы были совершенно различны. «Ты мой самый дорогой, самый любимый враг!» — полушутя-полусерьезно говорил он.

Из Парижа Мозжухин попал в Америку. В Голливуде, где «скупали» знаменитостей Европы, как товар, им занимались мало. Американцам важно было «снять» с фильмового рынка «звезду», чтобы пустить свои картины. Так они забрали всех лучших актеров Европы и сознательно «портили» их, проваливая у публики. Попав в Голливуд, актеры незаметно «сходили на нет». Рынок заполняли только американские «звезды».

Когда Иван приехал в Голливуд, его выпустили в двух-трех неудачных картинах. Американская публика, которая имеет привычку переносить на актера все личные качества лиц, роли которых он играет, невзлюбила его. Он вернулся в Европу. Здесь еще играл несколько лет — то во Франции, то в Германии, но его карьера уже шла к закату.

Несколько попыток сыграть в говорящем кино не увенчались успехом: голос его не был фоногеничен. Кроме того, от слишком «широкой» жизни на лице появились следы, спрятать которые уже не мог никакой грим. Иван старел. К тому же он был актером старой школы, и американские актеры забивали его своей нарочитой простотой и естественностью. Новая школа заключалась в том, чтобы не играть кого-то, а быть им. А этого он не мог усвоить.

К говорящему кино Мозжухин пылал ненавистью, которую не скрывал. Я расстался с ним в 1934 году, уехав в концертное турне по Америке. Расстались мы очень холодно, поссорившись из-за пустяка. Больше я его не видел.

* * *

Я очень любил Мозжухина, несмотря на все его недостатки и странности. Прожив с ним много лет вместе, я очень привязался к нему. Из длинной вереницы друзей, приятелей и знакомых он был для меня самый близкий, самый дорогой человек.

Однажды Иван играл Кина. Играл превосходно. Эта роль подходила ему, как никакая другая. Он словно играл самого себя, свою жизнь. Жизнь гениального и беспутного английского актера до мелочей напоминала его собственную. В последнем акте Кин умирал на широкой белой постели. За окнами его комнаты бушевал ветер. Старый суфлер — единственный друг — сидел у его ног на кровати. Жизнь постепенно покидала Кина. Силы его слабели.

— Дай мне это место из «Гамлета», — говорит он.

И старый суфлер, перелистывая книгу, тихо шепчет ему предсмертные слова датского принца.

Что это? Возвращенье Фортинбраса?

Судьба ему передает корону!

Горацио, ты все ему расскажешь! —

говорит умирающий Кин и навеки закрывает глаза.

Старый суфлер плачет. Слезы неудержимо бегут по его лицу. Он встает.

— Господа! — говорит он. — Первый актер Англии, великий Кин, скончался...

* * *

Я был в Шанхае, когда пришло сильно запоздалое известие о том, что у Мозжухина скоротечная чахотка, что он лежит в «бесплатной» больнице — без сил, без средств, без друзей...

Я собрал всех своих товарищей — шанхайских актеров, и мы устроили в «Аркадии» вечер, чтобы собрать Мозжухину деньги на лечение и переслать их в Париж. Шанхайская публика тепло отозвалась на мой призыв. Зал «Аркадии» был переполнен. В разгаре бала, в час ночи, из редакции газеты нам сообщили:

— Мозжухин скончался.

Продолжать программу я уже не мог. Меня душили слезы.

Я вышел на сцену и, поблагодарив публику, сообщил ей эту весть, как суфлер из его картины.

Умирал Иван в Нейи — в Париже. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников не было возле него. Пришли только цыгане, бродячие русские цыгане, певшие на Монпарнасе.

ФЕДОР ШАЛЯПИН

С Федором Ивановичем Шаляпиным я не был лично знаком в России. Во времена его расцвета я был еще юношей, а когда стал актером, то встретиться не пришлось: мое пребывание на российской сцене длилось меньше трех лет.

В 1920 году я был уже за границей, где и проходила моя дальнейшая театральная карьера. В 1927 году я приехал в Париж. Была весна. На бульварах цвели каштаны, на Пляс де ля Конкорд серебряными струями били фонтаны. Бойкие и веселые цветочницы предлагали букетики пармских фиалок. Огромные толпы фланирующих парижан заполняли тротуары и террасы кафе. Гирлянды уличных фонарей только что вспыхнули бледновато-голубым светом. Сиреневатое облако газолинового угара и острый запах духов стояли в воздухе.

Каждая страна имеет свой особый запах, который вы ощущаете сразу при въезде в нее. Англия, например, пах-

нет дымом, каменным углем и лавандой, Америка — газOLIном и жженой резиной, Германия — сигарами и пивом, Испания — чесноком и розами, Япония — копченой рыбой... Запах этот запоминается навсегда, и когда хочешь вспомнить страну, вспоминаешь ее запах. И только наша Родина, необъятная и далекая, оставила на всю жизнь тысячи ароматов своих лугов, полей, лесов и степей...

Я сидел на террасе кафе Фукье и любовался городом. Люди шумели за столиками. Неожиданно все головы повернулись вправо. Из большой американской машины выходил высокий человек в светло-сером костюме. Он шел по тротуару, направляясь к кафе. Толпа сразу узнала его.

— Шаляпин! Шаляпин! — пронеслось по столикам.

Он стоял на фоне заката — огромный, великолепный, ни на кого не похожий, на две головы выше толпы, и, улыбаясь, разговаривал с кем-то. Его обступили — всем хотелось пожать ему руку. Меня охватило чувство гордости. «Только Россия может создавать таких колоссов, — подумал я. — Он — точно памятник самому себе...»

Мне тоже захотелось подойти к Шаляпину и заговорить. Я выждал время, подошел, представился, и с того дня, почти до самой его смерти, мы были друзьями.

* * *

Выступления Шаляпина в Париже обставлялись оперной дирекцией с небывалой роскошью. Чтобы придать его гастролям национальный характер, была создана «Русская опера». Оркестр и хор специально выписали из Риги, декорации писали лучшие русские художники, находившиеся в то время за границей. Со всей Европы были собраны лучшие оперные и балетные артисты и дирижеры.

Первым шел «Борис Годунов». Каким успехом, какими овациями сопровождалось выступления Федора Ивановича! Они бушевали с того момента, когда Годунов впервые появляется на сцене, выходя из собора, ведомый под руки боярами и знатью, — огромный, величественный, в драгоценном парчовом кафтане, суровый и властный, мудрый и уже усталый, знающий цену власти и людской преданности.

Публика была покорена и зачарована. И все время, пока звучала музыка Мусоргского, пока на сцене развертывалась во всей своей глубине трагедия мятежной души,

огромная аудитория театра, затаив дыхание, следила за каждым движением гениального актера.

Как он пел! Как страшен и жалок был он в сцене с призраком убитого царевича! Какой глубокой тоской и мукой звучали его слова:

— Скорбит душа!..

И когда в последнем акте он умирал, заживо отпеваемый церковным хором под звон колоколов, публика дрожала. Волнение и слезы душили зрителей. Люди привставали со своих мест, чтобы лучше видеть и слышать.

Он умирал — огромный, все еще страшный, все еще великолепный, как смертельно раненный зверь. И публика рыдала, ловя его последние слова...

* * *

На авеню д'Эйла у Шаляпина был собственный дом. Три этажа квартир сдавались, а в четвертом жил он сам. Шаляпин очень гордился своим домом. Прямо при входе в гостиную висел его большой портрет — в шубе нараспашку, в меховой шапке — работы Кустодиева. В комнатах было много ковров и фотографий. В большой светлой столовой обычно после спектакля ждал накрытый стол. Федор Иванович неизменно угощал нас салатом с диковинным названием: «рататуй». Что значило это слово — никто не знал. Он любил волжско-камские словечки.

Его сыновья — Борис и Федор — редко бывали с нами. У них была своя жизнь. Борис был художником, а Федор увлекался кино и мечтал о Голливуде. Дочери уже выходили замуж и жили отдельно, и только самая младшая — Дася — жила с отцом и матерью. Она была любимицей отца.

Шаляпин любил семью и ничего не жалел для нее. Как-то вышло так, что почти все его дети не зарабатывали самостоятельно, не были устроены, и Федору Ивановичу приходилось помогать им. А семья была немалая — десять детей. Он работал для семьи. Три раза составлял состояние. Первый раз — в царской России — все оно осталось там после его отъезда. Второй раз за границей. Он составлял его около десяти лет и был уже почти у цели.

— Еще год-два попою и брошу, — говорил он мне.

Он работал, не щадя сил. Гонорары его в то время были велики. Как-то, возвратившись из Америки, он со смехом рассказывал нам о забавном эпизоде, происшедшем с ним,

кажется, в Чикаго. Один из местных миллионеров устраивал у себя в саду большой прием, на который были приглашены самые видные и богатые лица. Желая доставить гостям удовольствие, миллионер решил пригласить Шаляпина. Заехав к нему в отель, он, познакомившись, осведомился о цене. Шаляпин запросил за выступление десять тысяч долларов. Миллионера возмутила эта цифра: десять тысяч за два-три романса! Но, чтобы задеть и унижить Шаляпина, он заявил:

— Хорошо, я заплачу вам эту сумму, но в таком случае не смогу пригласить вас к себе в дом наравне с другими. Вы не будете моим гостем и не сможете сидеть за столом. Вы будете петь в кустах...

В назначенный вечер Шаляпин нарочно приехал в самом скромном и старом костюме (все равно никто не увидит) и пел как ни в чем не бывало — деньги с миллионера получил вперед.

Иногда Федор Иванович начинал мечтать вслух:

— Вот... землю я купил в Тироле. Хорошо! Климат чудесный. Лес, горы. На Россию похоже. Построю дом с колоннами, «дворянский». И баню, обязательно баню. Распарюсь — и в снег!.. А снегу там много. Ты с Иваном ко мне приедешь отдыхать, ладно? И бар у меня будет...

У него была вилла в Сен Жан де-Люс во Франции, но он не любил ее, его тянуло к родным берегам Волги, и он искал в Европе место, которое по виду и климату напоминало бы ему Россию.

Почти все свои деньги он держал в американских бумагах. Его состояние было огромно. Но в один день, очень памятный для многих, случился крах. Это была знаменитая «черная пятница» на нью-йоркской бирже. В тот день многие из миллионеров стали нищими. Потерпел крах и Шаляпин. Потерял он так много, что пришлось сызнова составлять состояние, чтобы обеспечить семью. Он начал в третий раз упорно работать.

Но годы брали свое. Федор Иванович устал. Сборы были уже не те, что прежде, и он пел подряд в любой стране, собирая все, что осталось для него. Только этим и объяснялся его приезд в Шанхай и Харбин.

Нельзя сказать, что Шаляпин любил деньги, но в нем наряду с настоящей широтой натуры прекрасно уживалось простое народное уважение к трудовой копейке. Это был хозяин, глава семьи, строгий и справедливый, знавший цену деньгам.

Однажды мы сидели с ним в Праге, в кабачке у Куманова после его концерта. С нами было несколько журналистов. После ужина Шаляпин взял карандаш и начал рисовать прямо на скатерти. Когда все расплатились и пошли, хозяйка догнала нас уже на улице. Не зная, с кем имеет дело, она набросилась на Шаляпина.

— Вы испортили мне скатерть! Заплатите за нее десять крон...

— Хорошо, — сказал он. — Я заплачу десять крон, но скатерть эту возьму с собой.

Хозяйка принесла скатерть и получила деньги. Но пока мы ждали машину, ей уже все объяснили.

— Дура, — сказал один из ее приятелей. — Ты бы встала эту скатерть в раму под стекло и повесила в зале как доказательство того, что у тебя был Шаляпин. И все бы ходили к тебе смотреть на нее.

Хозяйка поняла свою ошибку. Она вернулась к нам и протянула с извинением десять крон, прося скатерть обратно.

Шаляпин покачал головой.

— Простите, мадам. Скатерть моя. Я купил ее у вас. А теперь, если вам угодно получить ее обратно, — пятьдесят крон...

Хозяйка безмолвно заплатила деньги.

* * *

Я не мог понять, что заставило Шаляпина, столь любимого народом, столь ценимого правительством, получившего звание первого народного артиста республики, покинуть Родину. Много дней и вечеров провел я в обществе Федора Ивановича. Многие темы и вопросы затрагивались в наших частых дружеских беседах. Но никогда за нашу десятилетнюю дружбу он не раскрыл до конца передо мной или Иваном Мозжухиным своей души и не объяснил нам ясно причины своего поступка.

Родину он любил. В этом не могло быть никаких сомнений. Любил той крепкой, нерушимой любовью, которой может ее любить только тот, кто плоть от плоти, кровь от крови сын своего народа, чье существование до глубочайших корней связано с русской землей. В его яркой, незабываемой личности воплотились гениальность, мощь, величие русского народа — того народа, который сегодня, как маяк надежды и жизни, светит всему миру.

Только Россия могла родить такого гения! Только такой народ! Но как же мог он покинуть Родину?

В беседах с друзьями, в обществе Шаляпин не любил говорить на эту тему, и мне всегда казалось, что он боится говорить об этом потому, что сам не уверен в правоте и смысле своего поступка. Его мемуары «Маска и душа» — книга, которую он подарил мне, — не объяснили истинной причины его ухода из России, хотя и проливают на это некоторый свет.

Кумир дореволюционной молодежи, друг Горького, любимец передовой интеллигенции того времени, вышедший из самых недр великого русского народа, поднятый этим народом на самую вершину славы, он был близок революции. И все же не узнал ее лица. И, может быть, лишения, испытания, которые выпали в ту пору на долю каждого, как бы ошеломили, разочаровали Шаляпина. Его характер, твердый и устойчивый, его самолюбие актера-диктатора, его непререкаемый авторитет в искусстве не смогли и не хотели подчиниться духу нового времени.

«Шекспира понимаю, а тебя, подлеца, понять не могу!..» — в бешенстве кричал он какому-то спорившему с ним человеку из породы его «надоедателей». Но «не понимать» — еще не значит быть правым. И этого оправдания самому себе Федор Иванович так и не нашел в своих воспоминаниях, хотя вся его книга посвящена поискам этого оправдания. И все же, повторяю, Россию он любил горячо и нежно, настоящей сыновней любовью.

«Я сознавал, — пишет он в мемуарах, — что уехать отсюда, значит — покинуть Родину навсегда. Как же мне оставить такую Родину, в которой я сковал себе не только то, что можно видеть и осязать, слышать и обонять, но и где я мечтал мечты?..»

«В дни моей петербургской жизни я тосковал о свободной и независимой жизни... Я получил ее. Но часто, часто мои мысли несутся к моей милой Родине!..» — восклицает он в своих мемуарах.

«Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью...» — говорит он далее.

«Милая моя, родная Россия!»

Я думаю, что даже этих нескольких выписанных мною фраз достаточно, чтобы видеть, что Шаляпин любил Россию. А таких признаний в его книге множество. Не нам, оказавшимся на чужбине, судить этого величайшего, не-

повторимого артиста, который, как драгоценный камень, сиял в короне русского искусства, и если я попытаюсь объяснить читателю причину его «ухода», то только потому, что в личных встречах с ним, в наших разговорах и спорах я всегда инстинктивно чувствовал, как сожалел он в душе о том, что оставил Россию, какое недоумение, тоску и душевную боль вызывали в нем разговоры о России, как мучили они его.

«Всю свою жизнь я прожил в театре и для театра. И теперь я задаю себе вопрос:

— Где же мой театр?

И убеждаюсь, что он там, в России!..»

Так заключает Федор Иванович свои воспоминания.

Я мог бы написать целую книгу о его триумфах повсюду, свидетелем которых я был много раз, разъезжая по свету, часто встречаясь с ним в разных странах.

Без преувеличения можно сказать — ни один артист в мире не имел такого абсолютного признания, как Шаляпин. Все склонялись перед ним. Его имя горело яркой звездой. Тех почестей, тех восторгов, которые выпали на его долю, не имел никто. И только один раз за всю свою жизнь, уже в самом конце ее, за год или два до смерти, в Шанхае, он смог убедиться в том, чего раньше ему не приходилось знать, — в человеческой неблагодарности, злобе, зависти и бессердечности толпы, той толпы, которая, как зверь, лежала у его ног столько лет, покоренная им.

В Шанхай Шаляпин приехал из Америки в 1935 году. На пристани его встречала толпа. Местная богема, представители прессы, фотографы. В руках у публики были огромные плакаты: «Привет Шаляпину!»

Журналисты окружили его целым роем. Аппараты щелкали безостановочно. Какие-то люди снимались у его ног, прижимая лица чуть ли не к его ботинкам. Местные колбасники слали ему жирные окорока, владельцы водочных заводов — целые ведра водки. Длиннейшие интервью с ним заполняли страницы местных газет...

Он приехал с женой и дочерью, с менеджером, пианистом и секретарем. Интервьюировали не только его, но и всех его окружающих. Даже, кажется, его бульдога. Просили на память автографы, карточки...

Приехал Федор Иванович больным и сильно переутомленным, как и всякий артист в конце своей карьеры.

Естественно, что это был не тот Шаляпин, которого знали те, кто слышал его в России. Но это был Шаляпин!

За одно то, что он приехал, надо было быть благодарным ему.

Обыватели ждали, что он будет своим басом тушить свечи, они принесли с собой в театр вату — затыкать уши, чтобы предохранить барабанные перепонки от силы его голоса. И вдруг — разочарование!

— Поет самым спокойным голосом и даже иногда тихо...

— И за что только такие деньги берет?!

— А сборы какие?!

Роптали, но повышать голос боялись. Неудобно. Еще за дураков посчитают.

У местных благотворителей разыгрывался аппетит. Однажды к нему явилась делегация с просьбой спеть бесплатно концерт, а весь сбор отдать им. Шаляпин отказал. Артист, подписавший договор с антрепренером, не мог петь бесплатно. А расходы антрепренера? А пароходные билеты из Америки на шесть человек? А отели? А реклама театра, а все остальное? Но их это не интересовало. Им нужно было «рвануть сумму», а такой случай не часто бывает.

Вот тут-то и началось.

Верноподданные газеты, расстилавшие свои простыни перед его ногами, подняли невообразимую ругань. Целые ушатые помоев выливались ежедневно на его седеющую голову.

Около театра, на улице, прохожим раздавали летучки с заголовками:

«Русские люди!

Шаляпин — враг эмиграции!

Ни одного человека на его концерт!

Бойкотируйте Шаляпина!

Ни одного цента Шаляпину!»

Не знаю, читал ли эту летучку Федор Иванович, но на другой день он уехал.

Так «вымазал дегтем» его подножие «русский» Шанхай.

* * *

За день до отъезда Федора Ивановича я сидел у него в Катей-Отеле. Была ранняя весна. В открытые окна с Вампу тянуло теплым, ласковым ветерком. Было часов семь вечера. Кое-где на Банде уже зажигались огни. Шаляпин

был болен. Он хрипло кашлял и кутал горло в теплый шерстяной шарф. Большой, растрепанный и усталый, он полулежал в кресле и тихо говорил:

— Ты помнишь, у Ахматовой?

**Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы!..**

Своим обликом, позой он был похож на умирающего льва. Острая жалость к нему и боль пронзили мое сердце. Я будто чувствовал, что никогда больше его не увижу...

* * *

Париж — город заветных желаний очень многих, как Голливуд — мечта будущих актрис и актеров. Поэтому сюда со всех концов мира съезжались художники и артисты в надежде сделать карьеру или учиться. Но только очень немногие обращали на себя внимание публики. Париж трудно удивить чем-нибудь.

— На моей памяти, — говорил мне старый бельгиец-художник Ван-Донжен, — Париж «ахнул» только два раза: один раз, когда сюда привезли японские лаковые коробочки, и другой, когда из России привезли полотна Врубеля.

Русских художников в Париже было не так много. Был Константин Коровин, Борис Григорьев, Василий Шухаев, Александр Яковлев, приезжали Бенуа, Судейкин и Сомов. Григорьев выпустил книгу гравюр под названием «Рассея». Эта монография имела большой успех. В ней он мастерски изобразил иконописные древние лица русских стариков и старух, богомольцев, нищих и странников.

Александр Яковлев был приглашен дирекцией знаменитой автомобильной фирмы «Ситроен», организовавшей экспедицию-пробег в Африку. Его путевые альбомы и зарисовки показывали потом на выставке экспедиции, устроенной фирмой в Париже. Александр Бенуа оформил несколько балетных и оперных постановок. Константин Коровин — тоже. Последние несколько лет Коровин, между прочим, довольно удачно писал воспоминания. Этот его новый дар вызвал даже некоторую зависть у Шаляпина, результатом чего и явилась его книга «Маска и душа».

БЕЛОКУРЫЙ АНГЛИЧАНИН

Однажды в «Казбеке» — кабачке на Монмартре, где я выступал, неожиданно в дверях показался молодой белокурый англичанин, немного подвыпивший, веселый, улыбающийся. Следом за ним вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публика уже разошлась, и англичане были единственными гостями. Однако по кабацкому закону — «каждый гость дарован богом» — всю артистическую программу нужно было сначала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. Тем не менее по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет был совершенно дико, очевидно, из озорства, — на нем был серый свитер и поверх него... смокинг.

Музыканты старались — гость был, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского.

— Что вам сыграть, сэр? — спрашивал его скрипач румын.

Гость задумался.

— Хочу одну русскую вещь, — нерешительно сказал он. — Только я забыл ее название... Там-там, там-там...

Он стал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия».

Угадав ее, музыканты стали играть.

Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь.

Англичанин заставил меня бисировать.

После выступления, когда я сел на свое место, он перешел за мой стол и, выражая свои восторги, между прочим, сказал:

— Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Детердинг. Вы не знаете ее? Так вот. Эта дама имеет много пластинок одного русского артиста. — Он произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости. — Она недавно подарила мне пластинки с его песнями. Вот почему я и просил вас спеть знакомую мне вещь.

Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку. Его изумлению не было границ.

— Я думал, что вы поете в России! — воскликнул он. — Я никогда не думал встретить вас в таком месте.

Я терпеливо объяснил ему, почему я не пою в России, почему пою в таком месте...

Мы разговорились. Прощаясь, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в самом фешенебельном ресторане Парижа — «Сирос».

Ровно в девять часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метрдотель Альберт, улыбаясь, шел мне навстречу.

— Вы один, мсье Вертинский? — спросил он.

— Нет! Я приглашен...

— Чей стол? — заглядывая в блокнот, поинтересовался он.

Я замялся. Мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию.

«Мой стол будет у камина», — вспомнил я его последние слова.

Я сказал об этом Альберту. Метрдотель строго покачал головой.

— У камина не может быть.

— Почему?

— Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям.

Мы уже входили в зал. От камина, из-за большого стола с цветами, где сидели какие-то старомодные мужчины и старухи в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро пошел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке.

Он улыбался и протягивал руки.

— Ну вот, это же он и есть! — сказал я, обернувшись к Альберту.

Лицо метрдотеля изобразило священный ужас.

— Вы не знаете, кто это? — сдавленным шепотом произнес он.

— Нет, — откровенно сознался я.

— Несчастный! Да ведь это же принц Уэльский...

ЖИВЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Русских в одном только Париже было тысяч восемьдесят. Все они жили, группируясь преимущественно по профессиям. Но общего русского центра в городе не было. Все попытки организовать какой-нибудь клуб провалились в самом начале. Причиной этому было, конечно, разнообразие политических убеждений. Все кружки

ненавидели друг друга, пользуясь каждым удобным случаем для сведения личных счетов.

Единственным местом, куда сходились русские эмигранты, вне зависимости от своих политических убеждений, была русская церковь на Рю Дарю. Обычно по воскресеньям, во время утреннего богослужения, тут и происходили все встречи, главным образом деловые. Отыскав нужного человека, вы отправлялись с ним в какой-нибудь из маленьких ресторанчиков, которых было множество вокруг церкви, и там, за завтраком, спокойно вершили свои дела. В обычные же дни происходили только панихиды, молебны, свадьбы, крестины.

* * *

На Монпарнасе, в кабачке «Золотая рыбка», работала цыганская семья Дмитриевичей, с которой мы с Иваном Мозжухиным очень дружили.

Много цыганских звезд восходило и заходило на российских горизонтах. В свое время из-за цыганок немало гвардейских офицеров оставляло полки. Кровь русской аристократии была довольно заметно перемешана с цыганской кровью, все эти Долгорукие, Трубецкие и Голицыны были женаты на цыганках. Целые состояния сжигались в кутежах, целые состояния бросались к ногам Настей, Маш, Стеш...

Табор Дмитриевичей попал во Францию из Испании. Приехали они в огромном фургоне, оборудованном по последнему слову техники, с автомобильной тягой, который они получили от директора какого-то бродячего цирка в счет уплаты долга. Цирк прогорел, и директор чуть ли не целый год не платил им жалованья. В окончательный расчет они получили фургон.

Их было человек тридцать. Глава семьи — отец, человек лет шестидесяти — старый лудильщик самоваров, был, так сказать, монархом. Все деньги, зарабатываемые семьей, забирал он. Семья состояла из четырех его сыновей с женами и детьми и четырех молодых дочек. Попали они вначале в «Эрмитаж», где я работал. Сразу почувствовав во мне «цыганофила», Дмитриевичи очень подружились со мной. Из «Эрмитажа» они попали на Монпарнас, где и утвердились окончательно в кабачке «Золотая рыбка», поддержанные французской прессой и молодой публикой Латинского квартала.

Иван Мозжухин любил цыган не меньше меня и очень скоро также сделался другом этой семьи. Однажды ночью, после работы, цыгане попросили Ивана быть крестным отцом у одного из братьев. Иван согласился. Был приглашен и я.

На другой день, часов в пять вечера, мы приехали в церковь на Рю Дарю. Была зима. Церковь стояла нетопленной и пустой. Десяток восковых свечей освещал темные лики угодников. Дьячок хрипло кашлял в алтаре, прочищая голос. Цыгане пошли торговаться со священником, а мы с Иваном переминались с ноги на ногу, озябшие, плохо выспавшиеся.

Иван злился. Он не любил «семейных» праздников. Отказаться ему было неловко, но настроение у него было сильно испорчено. К тому же, пока мы разыскивали магазин, где можно было купить крестильную рубашечку младенцу и крест, окончательно замерзли.

Около нас крутился мальчишка-подросток лет четырнадцати.

— А где же ребенок? Кого крестить? — мрачно спросил Иван.

Подросток взглянул исподлобья и нехотя процедил:

— Я — ребенок. Меня и крестить!

Иван сразу развеселился.

— Водку пьешь? — неожиданно спросил он.

— Пью!..

Мы взяли «ребенка» за руку и пошли напротив, в ресторанчик «Петроград». Там налили три большие рюмки и дали пирожков. Подкрепившись, мы вернулись в церковь. Все было готово к обряду. Посреди церкви стояла купель, окруженная горящими свечами.

— Раздевайся! — приказал отец.

«Ребенок» нахмурился.

— Не лезу я в нее! — твердо заявил он. — Холодно!

Никакие доводы, увещевания и подзатыльники не помогли. Пришлось ограничиться окроплением головы и помазанием.

— А как же рубашечка? — ехидно спросил я Ивана.

— Останется для моих будущих детей! — серьезно ответил он и спрятал ее в карман.

Крестник, получив крест, долго его рассматривал, будто не веря, что он золотой. Для большей достоверности он даже попробовал его на зуб.

После крестин мы сели в машины и поехали домой к цыганам. Они жили за городом, снимая старый особняк где-то в лесу. На втором этаже в большой столовой был накрыт огромный стол в виде буквы «П». Стол ломился от яств и напитков. Я посчитал. Одних кур было сорок штук, индеек — тридцать, гусей — пятьдесят. Приглашенных было множество. Цыгане по широте души позвали всех знакомых. Тут были и гости, и музыканты, и художники, и журналисты.

Старый папаша, как патриарх с седой бородой, сидел посреди стола в старом, еще довоенном русском армяке, увешанный какими-то экзотическими медалями, скупленными «по случаю».

Приблизительно в то же время в Париже произошло событие, сильно взволновавшее всю русскую колонию, особенно украинцев. Тремя выстрелами из револьвера был убит на улице небезызвестный в свое время украинский атаман Симон Петлюра. Бежавший от народной расправы, он поселился в Париже, где и доживал свои дни, меняя золотые «карбованцы», награбленные во время своего лихого атаманства.

За неимением «вождей» немногочисленная украинская колония поддерживала его. Изредка в газетах мелькали небольшие заметки о том, что «атаман Петлюра прочтет доклад о несчастном украинском народе, страдающем от ига большевиков» и так процветавшем под его владычеством.

На эти доклады собиралась кучка «щирых самостийников» — человек тридцать, в вышитых крестиком сорочках, с усами а ля Тарас Бульба. Прослушав «батякин доклад», они усаживались тут же пить горилку, которую им заменял «в изгнании» французский кальвадос.

«Батько» садился с ними вместе и напивался до бесчувствия, закусывая «басурманскую» горилку соленым огурцом и сладкими воспоминаниями.

Выстрелы прозвучали неожиданно. Чувствуя себя в полной безопасности во Франции, «батько» свободно гулял по Парижу.

Убил его маленький тщедушный портной или часовщик не то из Винницы, не то из Бердичева — некий Шварцбард. Встретил на улице, узнал и убил. Судили его с присяжными. Надежд на оправдание, конечно, не было ника-

ких, потому что французский суд оправдывает только за убийство «по любви» или «из ревности». Однако на суде появилось много добровольных свидетелей этого маленького человека, которые развернули перед судьями такую картину зверств атамана на Украине, что французские судьи заколебались. Кто только не прошел перед глазами судей! Тут были люди, у которых Петлюра расстрелял отцов, матерей, изнасиловал дочерей, бросал в огонь младенцев...

Последней свидетельницей была женщина.

— Вы спрашиваете меня, что сделал мне этот человек? — заливаясь слезами, сказала она. — Вот!.. — Она разорвала на себе блузку, и французские судьи увидели — обе ее груди были отрезаны.

Шварцбард был оправдан.

Мои цыгане тоже были свидетелями.

Они кричали на суде и били себя в грудь, рассказывая о замученных двух братьях, об отнятых конях, о сожженных родственниках. Их гнев был страшен. Девчонки рыдали, вспоминая то, что они видели еще детьми. Братья показывали красные рубцы — следы пыток. Их еле увели из зала суда.

ГОД КРАХОВ

1933 год, последний год моего пребывания во Франции, был годом больших крахов. Кабинеты министров летели один за другим. Ряд видных лиц, начиная от общественных деятелей и финансистов и кончая министрами, попал в скандальные истории. Беспрецедентные по изощренности и садизму убийства совершались чуть ли не ежедневно.

Русский миллионер Леон Манташев, бывший «нефтяной король», договорился с английским «королем нефти» сэром Генри Детердингом, что его «компенсируют» как бывшего владельца нефтяных участков на Кавказе за нефть, купленную Детердингом у Советского правительства. Только пять процентов, выданных ему авансом, составляли несколько десятков миллионов. Манташев жил широко, славился своими кутежами на весь Париж. Кроме Манташева, были «короли» помельче, которые тоже получали от Детердинга субсидию за «свою нефть» на Кавказе.

Как-то в доме у Браиловских я познакомился с французским сенатором Клоцом — очень светским, чопорным стариком. В течение всего обеда я беседовал с ним о Советской России, доказывая ему преимущества и силу новой, советской морали перед старой, догнивающей моралью Запада.

Старичок иронически улыбался и отвечал мне так, как отвечают детям, задающим наивные вопросы, очень занятые люди. Через несколько месяцев очаровательный старичок сел в тюрьму за подделку векселей.

Вокруг всесильных «львиц» группировались финансисты, политики, темные дельцы, авантюристы. Знаменитая Марта Анно — директриса банка мелких вкладчиков — ограбила их, объявив себя банкротом. Сев в тюрьму, она оттуда грозила правительству Шотана разоблачениями и вскоре была выпущена под нажимом влиятельных лиц, у которых было рыльце в пуху.

Коммунистические газеты и листовки клеймили продажных министров и депутатов, доказывая, что они держат половину своих капиталов в Германии. Огромные толпы собирались у заборов, читая эти газеты и листовки. Народ кипел от негодования. В густой массе «беженцев», изгнанных Гитлером из Германии, незаметно была «импортирована» знаменитая «пятая колонна». И работала она вовсю. То в палате депутатов, то в сенате ежедневно вспыхивали скандалы.

Как-то в «Казанове» мне пришлось познакомиться с элегантным седеющим джентльменом, приехавшим со своей дамой. Дама была знаменитой опереточной актрисой Ритой Георг, с которой я был знаком по Вене. Джентльмен оказался весьма известным дельцом Александром Стависким. Говорили о его сказочном состоянии, о его крупной игре в Монте-Карло, о том, что он «работает» с самыми «большими» людьми в правительстве. Среднего роста, немолодой, он имел те подчеркнутые манеры, которыми отличаются очень опытные светские шулера и авантюристы. Его красавица жена совсем недавно взяла первый приз за самый красивый экипаж на карнавале в Ницце. Рита Георг познакомила меня с ним. Он немного говорил по-русски, потому что, очевидно, был выходцем из Польши. Наша беседа касалась исключительно театра. Ставиский «субсидировал» гастроль Риты Георг в парижской оперетте. Он выказал себя большим знатоком

театрального искусства и говорил, что, как только освободится от «дел», обязательно выстроит в Париже театр для иностранных артистов. Через месяц нарыв лопнул. Раскрылась величайшая афера с ломбардами. Войдя в контакт с дирекцией нескольких из них, он закладывал простые стекла под видом изумрудов и бриллиантов. За эти стекляшки ему выдавали миллионные ссуды.

В этом деле был замешан ряд таких высокопоставленных лиц, что доводить это дело до суда было невозможно. Ставиский бежал. Агенты Сюрте-женераль поймали его где-то на границе и предложили покончить с собой. Его нашли мертвым в тюремной камере.

ВИЗИТ БАРОНОВ

В конце 1932 года я приехал в Берлин, чтобы напеть граммофонные пластинки. У меня был контракт с концерном «Карл Линдштрем» для «Одеона» и «Парлофона».

Это была пора, когда Гитлер рвался к власти. Весь город был покрыт огромными полотнищами флагов со свастикой. По улицам непрерывным потоком маршировали процессии молодых людей в новенькой коричневой форме с повязками на руке. Они лихо козыряли друг другу и, подымая руку, салютовали: «Хайль Гитлер!» Обыватели испуганно смотрели на их револьверы и опасливо покачивали головами.

— Оружие-то зачем же давать такой молодежи? — недоуменно говорили они полусшепотом.

Но рассуждать уже было поздно. Молодые люди ходили по улицам, наклеивая на еврейские магазины плакаты с призывами не покупать ничего у «юде». Они заходили в рестораны и кафе, выбрасывая на улицу мирно сидящих там людей.

Многие бросились бежать из Берлина. Билеты на заграничные поезда были моментально раскуплены. Магазины спешно ликвидировались и закрывались.

Я приехал с намерением дать несколько обычных своих осенних концертов, но это уже не имело никакого смысла. Приехав на граммофонную фабрику, я застал в кабинете дирекции нациста с револьвером. Все двенадцать директоров этого огромного концерна уже бежали. Нацист, покачивая ногой в новом лаковом сапоге, презрительно щурясь, заявил мне, что никаких «иностранных» артистов им не надо, что у них есть достаточно своих, и подозре-

тельно спросил — не еврей ли я случайно? Получив заверение в моем русском происхождении, он успокоился и немного сбавил тон.

— Вы можете подать в суд, если у вас есть контракт с ними, — посоветовал он. — Мы заставим этих «юде» заплатить вам все, что следует!

* * *

Приблизительно дня через три после этого ко мне в пансион-отель, где я остановился, пришла несколько странная делегация. Состояла она из трех-четырех дам и такого же числа мужчин.

Меня ждали в холле. Названные пришедшими фамилии были явно балтийско-немецкого происхождения: три барона, остальные графини и баронессы.

Предложив им сесть, я осведомился о цели визита.

Дамы начали с комплиментов моему искусству и популярности. Это была, так сказать, «артиллерийская подготовка». Затем началась атака. Один из баронов, протерев очки и тщательно рассматривая свои холеные руки в родовых дворянских кольцах с гербами, осторожно подыскивая слова, заговорил.

Дело в том, что по примеру национал-социалистской партии они решили объединить здесь, в Германии, всех «национально мыслящих» русских людей во что-то вроде союза или «русского отдела» этой партии. Правительство сочувственно отнеслось к этой идее и уже отвело целый дом, обещав в дальнейшем субсидию.

— Дом шестиэтажный, с чудными квартирками! — не выдержав, вставила одна из баронесс.

— Уже утвержден даже проект формы! — добавила другая.

— Мы будем иметь казачьи фуражки, но только коричневого цвета, и такие же, как у всех «наци», рубашки. И повязку со знаком свастики на левой руке.

Я ничего не понимал.

— Но, простите, чем я могу быть вам полезен? — спросил я.

— Немного терпения. Сейчас вам все станет ясно.

Высокий худой барон закурил сигарету и, чуть-чуть улыбаясь, медленно и терпеливо стал объяснять мне:

— У нас, понимаете ли, есть некоторые препятствия, то есть, вернее, затруднения в этом направлении... Нам нуж-

но имя... Я хочу сказать, нам нужен человек с именем, который был бы известен всей нашей русской публике и в то же время репутация которого была бы, так сказать, незапятнанна! Ну, «нейтральный», что ли...

Я начинал понимать.

— И что же, у вас в Берлине не нашлось ни одного человека с «незапятнанной» репутацией? — не выдержав, спросил я.

Барон неопределенно развел руками.

— Очень трудно найти подходящее лицо, — уклончиво ответил он. — Различие взглядов... Политическое прошлое... Возникают возражения.

— Ваше имя нас устраивает. Вы, так сказать, достаточно лояльны и из другого мира, — поддержал другой барон.

— Что же вы от меня хотите конкретно? — спросил я. Бароны переглянулись.

— Мы предлагаем вам возглавить наш союз! — твердо сказал один из них.

Тут наперебой заговорили дамы:

— У вас будет чудная квартирка. Мы отведем вам бельэтаж.

— Весь этот дом наш.

— Работы особенно никакой не будет.

— Просто подписывать несколько бумаг в день, и все...

— Ну, и официальное представительство, так сказать! — добавил один из баронов.

Я уже все понял. Они искали дурака. Вот эту честь они и решили предложить мне. Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, я поблагодарил их и встал.

Бароны тоже поднялись.

— Я советую вам подумать над этим. Это будет для вас и полезно, и приятно в одно и то же время, — сказал один из них.

Нотка угрозы едва уловимо прозвучала в этих словах.

— И это нисколько не помешает вашей артистической деятельности, — добавил другой.

— Разрешите мне дать вам ответ в пятницу, — попросил я.

Бароны молча поклонились. После их ухода я упал в кресло и стал хохотать, обдумывая, какой анекдот я сделаю из этого разговора и как я буду его рассказывать моим приятелям в Париже.

Потом взял телефонную книгу, позвонил в бюро и заказал себе билет на парижский экспресс.

В ту же ночь я покинул Берлин.

ТАМ, ЗА ОКЕАНОМ

Была осень 1934 года. На пароходе «Лафайет» я отправился в Америку. Тогда еще не была готова знаменитая «Нормандия», и он считался одним из лучших после «Ильде-Франс». Со мной ехало несколько французских артистов, приглашенных в Голливуд, множество туристов, возвращавшихся домой, да еще трое чикагских гангстеров со своими подругами. Подруги меняли туалеты по десять раз в день и появлялись к обеду в умопомрачительных вечерних платьях моделей лучших парижских домов, с бутоньерками из живых орхидей каждый раз в цвет платья.

Огромные залы гигантского парохода были заполнены праздной и шумной толпой людей, которые положительно не знали, что им с собой делать, и думали только о том, как повеселее убить время.

Бесконечное количество прислуги, мужской и женской, целые дни бегало взад и вперед по отелю-пароходу, удовлетворяя малейшие желания и прихоти каждого пассажира.

На третий или четвертый день путешествия начался шторм. Огромное туловище парохода медленно и плавно то вползало на вершину водяной горы, то опускалось в бездну. Казалось, что летишь на каких-то гигантских качелях, очень широко и ровно раскачиваемых.

Пассажиры сразу исчезли. Огромный пароход опустел. Все лежали в своих кабинах, и к обеду и ужину выходило не больше десятка человек, мужественно облаченных в вечерние туалеты и смокинги, как полагалось по этикету. В большинстве это были англичане, которые даже в колониях, в тропиках, к обеду надевают смокинг, несмотря ни на какую температуру и обстоятельства.

...После обеда я сидел в салоне и перечитывал парижские журналы. Кроме меня, в пустом зале никого не было. Большой радиоприемник стоял на электрическом камине, где тлели искусственные угли. Я повернул кнопку и включил аппарат. Поискав Францию, нашел Париж.

Политические новости... Люсьен Буайе в новой песенке... Еще что-то. И вдруг:

Понс, направлявшаяся в Голливуд, играл возвращавшийся домой скрипач Яша Хейфец и еще кое-кто.

Пришлось выступать и мне. Я спел несколько веселых русских песен с припевами, заставляя публику подпевать мне. Это очень понравилось пассажирам, хотя ни одного слова, разумеется, они не поняли.

* * *

Задолго до прихода к пристани вместе с чиновниками, проверяющими паспорта, прибыл катер с журналистами и фотографами. Эти жующие, орущие и бегущие куда-то люди обращались с нами довольно небрежно.

— Эй, вы!.. Садитесь! Да не сюда!.. В это кресло! Вы Лили Понс? Нет? А что вы делаете? Играете? На чем? Ну все равно! Возьмите ваш журнал в руки! Так! Смотрите на меня! Выше голову!

Фотограф хватает вас за лицо и поворачивает в сторону.

— Снимаю!

Щелк аппарата...

— Вы кто? Вертинский? Рашен крунер? Как наш Бинг Кросби?.. Да? Мы знаем уже о вас! Станьте здесь! Обопритесь о перила! Так! Улыбайтесь! Да снимите вы эту шляпу, черт возьми! Так! Ваше первое впечатление об Америке?..

Я сразу разозлился.

— Первое впечатление, что здесь слишком развязные журналисты! — ответил я.

Встречавшего меня менеджера я спросил:

— Послушайте, неужели они у вас все такие?

— Все! — вздохнув, ответил он. — Это стиль такой. Они показывают, что их никем и ничем не удивишь! И что им некогда.

— Ну, тогда снимайтесь сами, а я не желаю, чтобы меня дергали, как манекен, — заявил я и удрал в каюту.

Остановиться мне было предложено в отеле «Ансония». Это был «артистический» отель. Там останавливался Шалляпин, жили пианист Зилоти, Никита Балиев со своей «Летучей мышью», Рахманинов, скрипач Иегуди Менухин, Тосканини... Менеджером там служил бывший московский миллионер булочник Борис Филиппов, с которым мы были в Москве приятелями. Особой чистотой и роскошью отель не отличался, но находился в удобном районе, и главное, там жило много русских.

В тот же вечер, не дав опомниться, мои менеджеры решили показать мне Нью-Йорк.

— У вас будет сразу полное впечатление от ночного города, — сказали они.

По-видимому, эти люди рассчитывали сразу же подавить меня величием города. Покатав по широким улицам и показав знаменитое Пятое авеню, они отвезли меня в кино, только что открытое в нововыстроенном билдинге в сто два этажа.

Зал был рассчитан на пять или семь тысяч человек. Шло «Воскресение» Толстого с Анной Стэн в роли Катюши Масловой. Картину ставили тщательно. Ассистентами режиссера были приглашены такие авторитеты, как художник Судейкин и Илья Толстой, сын Льва Николаевича. Анна Стэн — русская по происхождению, которой очень «занимались» в Голливуде, готовя из нее «звезду» первой величины, — чудесно играла Катюшу. Картина стоила миллионы, реклама — тоже миллионы. Перед началом картины из-под земли поднялся оркестр в сто двадцать человек, составленный из лучших музыкантов города. Многие из них были лауреатами консерваторий.

И что же они играли? «Очи черные»... Это у них считалось «русской музыкой»! Переделанная на все лады, искусно аранжированная, банальная и незатейливая мелодия, не переставая, звучала все время по ходу картины.

Как это типично для американцев!

Голливуд потрафляет вкусам среднего обывателя, а кто же из этих обывателей не знает «Очи черные» и не считает их «шедевром» русской музыки!..

Меня это возмутило. Неужели же они ничего не могли выбрать из Мусоргского, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского? Из народных песен, наконец!

* * *

Театров в Америке почти нет. Во всяком случае такой роли, какую театры играли в прежней России и какую играют сейчас в СССР, они не имеют. Есть одна опера в Нью-Йорке и одна — в Чикаго. Драматических театров очень мало, и «сезонами» они не существуют. Зато в большой моде «ревю» и всякого рода массовые постановки с сотнями «герлс», с дорогими костюмами фигурантов и фигуранток, с разными оркестрами, летающим балетом и прочими чудесами. Такие постановки обычно бьют только

на роскошь, размах и стоят огромных денег. Рекламируют их приблизительно так: «Великий вальс!» Ревю. Постановка обошлась дирекции в 2 500 000 долларов! Спешите все! Такой роскоши вы никогда больше не увидите!»

Кто автор этой пьесы? Кто режиссер? Какие актеры играют в ней? Об этом не говорится. Все это вы узнаете потом, когда купите билет и посмотрите пьесу. Рекламируется только он, «царь доллар». Только цена.

— Дорогая! — говорит внимательный и любящий муж своей жене. — Я купил сегодня билеты на два спектакля! В воскресенье мы пойдем на постановку, которая стоит миллион долларов, а во вторник — на два миллиона! По порядку, так сказать. Сначала дешевле, потом дороже. Чтоб не перепутать.

Меня бросало в дрожь от американских театральных вкусов. Конечно, в Америке любят и ценят больших, настоящих артистов. Там выступали и Рахманинов, и Крейслер, и Шаляпин, и Тосканини. Есть прекрасные оркестры, широко известны имена Кусевицкого и Леопольда Стоковского, Хейфеца, Лоренса Тибет, Иегуди Менухина, Владимира Горвица и других. Но все это для «хайкласса». Обыкновенный же, рядовой обыватель, воспитанный на кино, серьезного искусства не любит и им не интересуется. Его вкус, так называемый «вкус Бродвея», — весьма ограничен.

Я помню, один из наших соотечественников выступал в лучшем театре Бродвея со своей труппой, получая чуть ли не сто тысяч долларов в неделю. Его имя светилось над театром огромными буквами и делало большие сборы.

Как-то, познакомившись со мной, он пригласил меня в свой театр с просьбой после представления обязательно зайти к нему за кулисы — сказать свое мнение о спектакле. В ложе было пять мест. Я пригласил Балиева, Судейкина и знаменитого режиссера Гордона Крэга, который когда-то у нас в России ставил «Гамлета» в Художественном театре. Мы едва досидели до конца. Это было что-то невыразимое. Такой халтуры я никогда не видел. Я был настолько убит зрелищем, что не пошел за кулисы после спектакля, рискуя остаться в глазах Аполлона невежливым и невоспитанным человеком.

Публика, однако, была в восторге и аплодировала без конца.

КОНЦЕРТ В «ТАУН-ХОЛЛ»

Для моего первого концерта в Нью-Йорке был снят «Таун-холл» — один из двух больших и самых популярных концертных залов города. Больше его только «Карнеги-холл», который рассчитан на четыре тысячи человек. Я не захотел петь в таком огромном помещении, боясь, что от этого концерт потеряет свою интимность и выйдет слишком уж помпезным.

В день концерта я, естественно, волновался больше, чем обычно.

«Кому нужны в этом огромном, чужом, деловом, вечно спешащем городе мои песни? Такие русские, такие личные и такие печальные! Что им до меня?» — думал я.

Вечером в кассе был аншлаг. На концерте был буквально весь цвет артистического мира — от милого Федора Ивановича, который ободряюще подмигнул мне из крайней ложи, до ничего не понимающего по-русски Бинга Кросби, которому сказали, что я «рашен крунер» и что ему нужно меня послушать. Тут были и знаменитые музыканты, и художники, и режиссеры, и актрисы кино, и наши русские артисты, застрявшие в Америке. Был Рахманинов, Зилоти, Балиев, Болеславский, Рубен Мамулян, Марлен Дитрих, с которой я познакомился еще в Париже. Много балетных артистов — Мясин, Баланчин, Фокин, Немчинова. Кроме того, была также вся русская колония «второго» приезда.

Оставалось только хорошо петь, что я и старался делать по мере своих сил.

Окончательно мы подружились с публикой на «Чужих городах». Я тогда еще не был особенно тверд в этой песне, так как написал ее перед самым отъездом из Европы и не имел случая «попробовать» ее на публике. Очевидно, она задела самую больную струну в их сердцах: реакция на нее была подобна урагану.

За кулисами в антракте меня окружили друзья. Шаляпин звал ужинать и шутил, что «много не пропьем — только то, что сегодня у тебя в кассе!»

Болеславский познакомил меня с Бингом Кросби и переводил мне его слова.

— Россия — великая страна, — взволнованно говорил он. — Мы здесь ничего не умеем! Я вас понял, маэстро. Вот. — Он показывал мне либретто моих песен по-английски. — Мы не умеем так петь!

Марлен Дитрих расспрашивала о «Казанове» и парижских друзьях.

Десятки дружеских рук тянулись ко мне. Приветствия, приглашения, улыбки...

Мои менаджеры сияли.

— Мы победили Нью-Йорк! — было написано на их лицах.

Закончил я концерт песней «О нас и о Родине». Когда я спел: «А она цветет и зреет, возрожденная в огне», то думал, что разнесут театр.

Таких аплодисментов я еще никогда не слышал. Никогда в своей жизни. Относились они, конечно, не ко мне, а к моей Родине...

* * *

Если от Австрии остается на всю жизнь в памяти музыка вальсов, от Венгрии — чардаши и страстные волнующие напевы скрипок, от Польши — мазурки и краковяки, от Франции — легкие напевы уличных песенок, то от Америки остается только ритм, вечный счет какого-то одного и того же музыкального шума, мелодию которого вы никак не можете запомнить и который вам в то же время надоел до ужаса. Происходит это потому, что джазовая музыка необычайно монотонна, несмотря на все свое разнообразие и богатство аранжировок, и в конце концов от нее у слушателя ничего не остается ни в голове, ни в сердце. Звучать она начинает с утра по радио и преследует вас, где бы вы ни находились, до самой ночи. Под нее взрослые делают свои дела в офисах и магазинах, под нее дети готовят уроки и засыпают.

Самые лучшие джазовые музыканты, конечно, негры. У них врожденное исключительное чувство ритма и абсолютная музыкальность. А поют они просто восхитительно. Особенно в дуэтах, трио и квартетах, где их гармонизация поражает своей оригинальностью.

Если ваша песенка или вообще какая-нибудь вещь понравилась и стала популярной у толпы, вы уже обеспеченный человек. А если вам удалось создать «шлаггер», то вы можете разбогатеть на нем. Помимо того, что за исполнение вашей вещи вы получаете авторский гонорар по всей Америке, она еще может попасть в музыку какого-нибудь фильма, и тогда Голливуд покупает у вас все права на нее

оптом и платит огромные деньги — до 200—300 тысяч долларов сразу. Поэтому мечта каждого композитора — попасть в фильм. За мотив «Титина, ах Титина», попавший в фильм Чаплина «Огни большого города», автор ее, француз, получил миллион франков.

Но хотя композиторов в Америке много, вы почему-то на всех нотах читаете обычно ряд одних и тех же фамилий авторов. В Нью-Йорке, например, почти все «шлагеры» принадлежат «творчеству» некоего Эрвина Берлина. Не думайте, что он написал все эти вещи сам. Нет. Но он купил их у неизвестных авторов за гроши, переделал и выпустил под своей фамилией и со своим портретом. Если вещи «пошли», — он заработал, если нет — немного потерял, ровно столько, сколько стоит бумага и печатание. Но зато если из ста купленных вещей «пойдут» только две или даже одна, то и это уже такой огромный доход, который покрывает все и дает большую прибыль. У этого же Эрвина Берлина или Руди Валле на Бродвее целые офисы, в которых сидят десятки машинисток и других служащих и работают целые дни — контора по покупке и продаже музыки.

Купить и продать можно, а воровать музыку нельзя. Для этого есть музыкальные детективы, которые следят за новыми произведениями, и если дело доходит до суда, уличают автора в плагиате, так сказать, официально. Но эти правила касаются только американской и европейской музыки, зарегистрированной в союзах композиторов. Что же касается музыки русской, например, то воровать ее можно сколько угодно. Очевидно — за дальностью расстояния.

Американские джазовые композиторы сплошь и рядом черпают свое «вдохновение» из цыганских и других романсов и довольно беззастенчиво пекут из них свои «шлагеры». Очень часто, прислушиваясь к какой-нибудь песенке, узнаешь в ней знакомые куски или даже целиком заимствованные мелодии. Возьмем, например, хотя бы модный напев «Иес, май дарлинг дотер». Разве это не наше украинское «Ой не ходи, Грицю, тай на вечерниці»? Но это еще пустяки: джаз не стесняется ни с какой музыкой вообще, ни с какими музыкальными величинами. В Америке переделывают на фокстроты все: Шопена и Бетховена, Чайковского и Рахманинова — кого угодно, если только он не записан у них в союзе.

* * *

Некоторые наши балетные артисты — Фокин, Баланчин и другие пытались создать в Америке постоянный балет, наподобие того, который был в свое время создан во Франции под названием «Балет де Монте-Карло». Но все попытки проваливались. Идея создания американского национального балета не нашла отклика*. Это потому, что в Америке был когда-то «великий Зигфильд», создавший тип американских «бьюти-герлс» — одинакового роста и пропорций длинноногих девушек, танцующих или, вернее, ходящих по сцене, разделенной на квадраты, группами по сто человек, одинаково, точно по линейке, поднимающих и опускающих ноги и руки и делающих одно и то же групповое движение, как дрессированные лошадки в цирке. Это и есть национальный американский балет, и другого им не нужно.

Работают эти несчастные герлс, как машины. Обычно выступления их бывают во всех кино между сеансами. Кино начинается в 12 часов дня, а кончается в 12 часов ночи. Все это время девушки находятся в театре, в костюмах и гриме, там же едят и дремлют на кушетках в ожидании своего номера. При театрах есть кантины и артистические уборные. Но в театр девушки должны являться в 8 утра, потому что до 12 дня они репетируют, готовя программу на следующую неделю. Таким образом, рабочий день каждой такой девушки составляет шестнадцать часов. Получает она сто долларов в месяц. Она не видит солнца, не дышит свежим воздухом и, проработав так лет пять, уходит обычно из театра сильно подурневшей и часто больной. Карьера ее кончена. На смену ей идут другие девушки — свежее и моложе. Выйти замуж она тоже не успела, потому что провела пять лет своего расцвета фактически взаперти.

* * *

Кино занимает умы многих людей, особенно тех, кто надеется сделать в нем карьеру. Да и вообще в Америке ничем так сильно не интересуются, как кино.

Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думают только о том, как привлечь внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встречаете совершенно незнакомую вам жен-

* В настоящее время положение несколько изменилось. (Ред.)

щину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем:

— Ай-ай-ай! Нехорошо не узнавать знакомых!

— Простите, — удивленно бормочете вы. — Я не могу вас припомнить.

— Ах, вот как? Не можете припомнить? А еще ухаживали. Цветы посылали, — издеваясь, продолжает она.

Дама наконец называет фамилию женщины, с которой действительно когда-то вы были хорошо знакомы. Но... но ведь это же не она. Вы вглядываетесь в ее лицо и с трудом начинаете отыскивать в нем когда-то знакомые черты. Постепенно начинаете соображать в чем дело. Она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы быть «еще красивее». Она спилила горбинку носа и укоротила его. Подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие и блестящие, вшила себе в веки длинные и черные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить ее форму. Вы можете смотреть на эту женщину целый год, и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая — какая-нибудь Любочка или Олечка, которую вы знали хорошенькой всего два-три года назад где-нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она! Какие только жертвы не приносят на алтарь искусства! И самое обидное — «проклятое искусство» даже не ценит жертв. До операции Олечку приглашали иногда знакомые режиссеры на небольшие рольки и даже обещали выдвигнуть, а теперь, как назло, никто не приглашает.

В ГОЛЛИВУДЕ

Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско, а оттуда в Голливуд.

Кто только не встречал меня здесь на вокзале! Бывший адмирал, бывший журналист, бывший прокурор, бывший миллионер, бывший министр, бывший писатель... Бывшие потому, что генерал держит теперь ресторан, адмирал — фотографию, прокурор — комиссионный магазин, журналист служит поваром, а миллионер отпустил черную бороду, в кавказской черкеске с кинжалами стоит у дверей ресторана и открывает гостям двери.

Зачем приехали в Голливуд эти люди? Чего искали они в нем? Каким ветром занесло их в такую даль, на край света? Какой путь проделали все эти московские, ростовские, новороссийские жители, прежде чем попали туда? Трудно ответить на этот вопрос. Русский человек, потерявший Родину, уже не чувствует расстояний. Кроме того, ему нигде не нравится, и все кажется, что где-то лучше живется. Поэтому за годы эмиграции мы стали настоящими бродягами. Раз не у себя дома, так не все ли равно где жить? Мне вспомнились слова Марины Цветаевой:

**Мне совершенно все равно —
Где — совершенно одинокой!**

Все эти русские, которых я видел в Голливуде, группируются вокруг фильмового мира. Все их интересы вращаются вокруг него. Большинство работает статистами, остальные — в костюмерных, фотографиях и гримировочных.

Вообще русские одно время были в большой моде в Голливуде. Особенно во времена немого фильма, когда в студии попало много русских музыкантов и артистов.

* * *

Однажды мой менеджер влетел ко мне очень взволнованный и сообщил, что я удостоился редкой чести — получил приглашение в знаменитый «Голливуд-Морнинг-Бракфест-Клуб». В руках он вертел толстый конверт, который торжественно протягивал мне. Я вскрыл его. На великолепном куске александрийской бумаги были нарисованы примитивные козлики с лошадками и курочки с петушками. Дальше было написано, что правление Г.М.Б.К. просит меня почтить их своим посещением и выступить у них такого-то числа во время утреннего завтрака.

Я равнодушно повертел конверт и осведомился:

— На кой шут мне это приглашение?

Менеджер был возмущен.

— Безумец! — патетически восклицал он. — Он еще спрашивает — зачем... Да знаете ли вы, что в этом клубе — все нью-йоркские и чикагские миллионеры?

— Ну, а дальше что? — не сдавался я. — Миллионов своих они же нам не оставят. На кой они мне леший!

— Как на кой? А реклама? А честь какая? Ни один русский не переступал порога этого клуба, — возмущался менеджер. — Они приглашают только мировых знаменитостей. Понимаете? Вы — форменный самоубийца.

Он потрясал письмом в воздухе и кипятился. Я понял, что сопротивление бесполезно. Надо было ехать. Самое противное было то, что явиться туда нужно было в семь часов утра. Это меня приводило в отчаяние.

«Что за дурацкая идея приглашать артиста в семь утра? — думал я. — Никогда в жизни я еще не пел на рассвете». Но выхода не было.

На другой день за мной заехала машина клуба, и ровно в семь я уже сидел за длинным столом, за которым было человек двести, и беседовал с какими-то упитанными личностями. Напротив меня сидела французская кинозвезда Даниель Даррье, моя парижская приятельница, и делала мне «страшные глаза», вся искрясь смехом. Французженка, да еще парижанка «пюр-сан», не могла перевернуть американских чудачеств.

Время от времени поднимался какой-нибудь толстяк и рассказывал невероятную ерунду из области своих семейных или любовных переживаний, пересыпая ее грубыми шуточками и словечками бродвейского «арго». Почему эту ерунду надо было говорить именно по утрам?

Потом все положили руки на плечи своих соседей и, раскачиваясь в такт, как шаманы, стали нудно петь свой клубный гимн, восхваляя утреннюю яичницу.

— О хэм энд эггс! — пели они. — Ты очищаешь наши мысли по утрам.

Рядом со мной сидел губернатор Гавайских островов и усиленно приглашал меня приехать к нему в гости на Гонулулу — охотиться на кроликов. Я терпеливо объяснял ему, что в такую даль за кроликами не ездят. А львов у него нет, да я их и боюсь, кстати.

Потом оркестр сыграл какую-то индейскую песню. Потом был зачитан небольшой доклад, разъяснявший публике мой жанр и творчество, после чего мне пришлось выступать.

Не будем говорить о том, как я пел. Меня слегка поташнивало от этих качаний, разговоров, от вида яичницы, которой я терпеть не могу, от папирос натоцак и всего этого

добродушного кретинизма. Аплодировали тем не менее щедро. В вечерних газетах были приведены фамилии всех финансовых тузов, бывших на этом завтраке, и среди этих тузов робко серела моя скромная фамилия.

* * *

Вторым событием, произведшим на меня неизгладимое впечатление, были голливудские похороны.

Как-то на одном из «партí», устроенном моими друзьями по случаю моего приезда, мне пришлось познакомиться с молодой красивой американкой М. Жена одного из «магнатов» кинопромышленности, богатая, избалованная и по-американски «независимая», она положительно не знала, что с собой делать. Актрисой она не была — муж не позволял ей сниматься, и ее время не было заполнено ничем, кроме портных, парикмахеров и покупок в магазинах. Обычно она устраивала у себя «партí», или ее приглашали на них почти ежедневно. Как большинство таких «свободных» американок, она пила с утра до вечера джин и носилась по Голливуду на своей машине, которой правила сама. Ездил она очень смело, чтобы не сказать больше.

Однажды сев с ней в машину, я дал себе слово никогда больше этого не делать. Она мчалась, как гонщик на состязаниях.

— Вы когда-нибудь убьетесь, дорогая! — сказал я ей.

М. только рассмеялась.

— Это будет самым лучшим выходом из моего положения.

Она была «разочарована». Пустая, бессмысленная и бесцельная жизнь богатой и ничем не занятой женщины, по-видимому, тяготила ее. Иногда я рассказывал ей о Советской России, о том, как трудятся там женщины. Она слушала, полуоткрыв рот, и, мечтательно вздыхая, наивно спрашивала, не мог бы я взять ее с собой в Россию.

Однажды ночью, после одного из таких «партí», она, находясь под сильным влиянием алкоголя, села в машину и разбилась.

На другой день ее хоронили. Я послал ожерелье из гардений и поехал в «Фенераль бюро», где были назначены похороны.

В большом, похожем на католический собор сводчатом зале собрался весь Голливуд. Артисты, писатели, худож-

ники, директора — все, кто был так или иначе связан с деятельностью ее мужа, — пришли отдать М. последний долг. Люди разместились на дубовых скамьях и тихо разговаривали, обсуждая происшедшее. Перед нами было что-то вроде сцены или эстрады, задернутой толстой бархатной занавесью. Минут через десять раздался удар гонга. Занавес раздвинулся, и перед моими глазами предстала... живая покойница!

Она сидела, заложив ногу на ногу, на табурете за стойкой бара и держала в руке бокал. Сзади стоял живой бармен и наливал что-то в коктейльницу. Она была причесана, нарумянена, напудрена, в длинном вечернем платье, с широко открытыми глазами и улыбалась страшной неживой улыбкой. На шее ее было мое ожерелье. Я окаменел от ужаса.

Потом, много позже, мои друзья объяснили мне, что в Америке, когда похоронное бюро берется за похороны, оно спрашивает родственников:

— В каком виде вы хотели бы видеть покойницу в последний раз?

Если женщина была хозяйкой, ее показывают в домашней обстановке, если она была хорошей матерью и любила детей — в детской и т. д. В данном случае киномагнат, привыкший видеть свою жену всегда за стойкой бара, хотел, чтобы именно в таком виде предстала она перед ним в последний раз.

Была мертвая тишина. Я слышал, как стучит мое сердце. И вдруг с хор полились звуки музыки. Оркестр, приглашенный из ее любимого ресторана, играл любимые вещи покойницы. Сперва «Очи черные», потом «Две гитары», и, наконец, фокстроты.

Я был близок к сумасшествию. Через несколько минут появились лакеи, которые разносили гостям на подносах ее любимый коктейль и сэндвичи.

— Танцуйте, танцуйте! — истерически выкрикивал ее муж. — Она так любила танцы!

Это было уже чересчур. Мои нервы больше не могли выдержать. Я выскочил из зала и побежал прочь.

* * *

Был конец октября. Я решил уехать в Китай.

Огромный японский пароход «Чичибу Мару» увозил меня из Сан-Франциско. Публика состояла исключительно

но из японцев, возвращавшихся на родину: кроме меня, европейцев не было. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать многое. Я был рад одиночеству.

На Гавайях в Гонолулу я любовался бирюзовой прозрачной чистотой океана, смотрел, как ныряют в воду смуглые, великолепно сложенные туземцы, когда им бросают монету. Смотрел на красивых гавайских девушек, увешанных ожерельями из роз, гвоздик и магнолий, слушал прелестную, тоскующую музыку гавайских гитар, смотрел их чувственные и в то же время стыдливые танцы, рассматривал диковинных рыб в морском музее.

Через день мы уже плыли дальше, в таинственный, оранжевый, известный мне только по сказке Андерсена, далекий Китай.

* * *

...Многих простила наша великая Мать-Родина. В том числе и меня. В Шанхае, после многочисленных просьб, мне, наконец, дали советское гражданство.

То были дни войны, когда новые великие испытания переживала наша Родина.

Тысячи рук ее детей тянулись к ней из разных углов нашего рассеяния, умоляя простить их и пустить домой, чтобы помочь ей, чтобы отдать свою жизнь за нее!

Я верил, что из огня войны наша Родина выйдет еще более могучей, что она станет еще более цветущей и прекрасной, будет для нас еще дороже, еще любимей...

СОДЕРЖАНИЕ

М. ВЕГА — РОССИИ	5
Е. ЯКОНОВСКИЙ — ХЛЕБ ИЗГНАНИЯ — рассказ	9
Ю. СОФИЕВ — СТИХИ	35
И. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ — СТИХИ	39
А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ — ФИШБОРН — рассказ	45
Л. ГОЛОВАТЕНКО — СОЛНЦЕ ВЗОШЛО НА ВОСТОКЕ — повесть	55
В. А. — СТИХИ	91
С. ВОСТОКОВА — ВСТРЕЧА С РОДИНОЙ — из дневника	95
Е. СИТНИКОВА — ЮЛЕНЬКА — повесть	109
М. ВЕГА — СТИХИ	191
А. ВЕРТИНСКИЙ — ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ РОДИНЫ — воспоминания	197

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Ваши отзывы о сборнике просим высылать по адресу:

Берлин, W 8, Беренштрассе, 64/65 • Berlin, W 8, Behrenstr. 64/65

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Художественное оформление Д. Исеева.

Цена 60 коп.